

**Софья Тарханова**



**Воспоминания  
о воспоминаниях**

**Издательство Триумф  
Москва  
2016**



**Софья Тарханова**



**Воспоминания  
о воспоминаниях**

**Публикация, вступительная статья,  
подбор иллюстраций и комментариев В.Я. Файна**

**Издательство Триумф  
Москва, 2016**

УДК 76.03+86.372  
ББК 654.197:271.22  
Т22

### **Софья Тарханова**

Воспоминания о воспоминаниях. Публикация, вступительная статья, подбор иллюстраций и комментариев В.Я. Файна.  
М.: Издательство Триумф, 2016 – 242 с.

Софья Аркадьевна Тарханова (1923-2013) прожила долгую и яркую жизнь. Родилась в Таганроге, детство провела в Париже, Берлине, Осло и Москве. Судьба сделала её носителем четырех языков – русского, французского, немецкого и норвежского. Учёбу начинала в лицее Пастера в Париже, школу окончила в Москве в июне 1941 года. В Москве училась в Немецкой школе имени Карла Либкнехта, разгромленной в январе 1938-го как «шпионское гнездо». Многие ученики этой школы, включая её близкую подругу, их родители, учителя были репрессированы. Трудовую жизнь начинала в эвакуации в Пермской глуши, где потом были развёрнуты лагеря ГУЛАГа. Работала в 7-м отделе Главного политического управления Красной Армии, ведущего работу среди войск противника, откуда добровольцем ушла на фронт – фронтовым переводчиком. Окончила филфак МГУ. Работала в «Литературной газете». Прославила себя как переводчик западноевропейской литературы. Жизнь окончила в провинциальном немецком городке Фульда, где активно славил русский язык и русскую культуру.

Воспоминания Тархановой – увлекательный рассказ о своём заграничном детстве. О жизненном подвиге отца – Аркадия Семёновича Тарханова, советского торгпреда в европейских странах. О деде – таганрогском враче Моисее Ефимовиче Гутмане, сгоревшем на своём посту во время эпидемии тифа. О родственниках и ярких людях, которых она знала. И необычный, нетривиальный взгляд на войну и её участников. Она умела написать так, чтобы это было легко и интересно читать.

© Тарханова Софья Аркадьевна  
© Файн Виктор Яковлевич

## Яркая жизнь замечательного человека

В детстве этой маленькой танцовщице рукоплескал Париж, но балериной она так и не стала.

Пример Жанны д'Арк позвал на борьбу с гитлеровцами, но она не заблуждалась: её вклад в победу над фашистской чумой не был решающим.

Она участвовала в выступлениях популярного ансамбля, но сцена её не прославила.

Судьба наградила её литературным даром и блестящим знанием языков, и она достойно распорядилась ими, обогатив литературу замечательными переводами западноевропейских писателей.

Софья Тарханова родилась в Таганроге 19.06.1923 и закончила свой жизненный путь в Фульде (Германия) 05.04.2013. В промежутке были Берлин, Париж, Осло, Москва, эвакуация на Урал и фронтовые дороги Великой Отечественной.



1946 г.

Наш общий с ней дед, Моисей Ефимович Гутман (1868-1920), таганрогский врач, совершил подвиг: во время эпидемии сыпного тифа возглавил противотифозный госпиталь и погиб на своём боевом посту.

Подвигом была вся жизнь её отца. Аркадий Семёнович Тарханов (1894-1946) руководил марксистскими кружками, воевал в составе Первой конной армии Будённого, где нажил туберкулёз, был директором предприятия в Таганроге. Советским торгпредом в Берлине, Париже и Осло обеспечивал СССР передовыми западными технологиями и оборудованием, без чего индустриализация нашей страны была бы невозможна. Строитель, созидатель, он нестарым сгорел от туберкулёза, работая до последнего своего дня.

Её мужем был Валентин Александрович Островский – блестящий журналист-международник, писатель и переводчик, полиглот, знавший 16 языков – не только основных европейских, но и индонезийский, японский и суахили.

В жизни Софьи Аркадьевны Тархановой были люди с громкими именами. В детстве она встречалась с Александрой Михайловной Коллонтай, советским послом в Швеции, выдающимся деятелем международного и российского революционного движения. Её принимал на работу Дмитрий Захарович Мануильский, советский государственный деятель, секретарь Президиума Исполкома Коминтерна. В годы войны она служила вместе с Фридой Рубинер, одним из основателей Коммунистической партии Германии, и Юрием Андреевичем Ждановым, позднее ставшим выдающимся организатором науки на Северном Кавказе. Её близкой подругой и соавтором была Юлиана Яковлевна



Яхнина, награждённая шведским королем за переводы, племянница Мартова – лидера меньшевиков, друга, а потом политического противника В.И. Ленина. В Союз советских писателей её рекомендовала известный переводчик западной литературы Лилиана Зиновьевна Лунгина.

С. Тарханова окончила школу накануне войны – в июне 1941 года. Работала в Главном политическом управлении Красной Армии, откуда добровольцем ушла на фронт. Фронтовым переводчиком.

Женщина на войне... Широко известно о врачах, санитарках, лётчицах, партизанках, разведчицах, снайперах, артистках. О буднях переводчиц знают куда меньше. Софья Тарханова сумела рассказать о них щемяще ярко, самоиронично, правдиво, не приукрашивая негативные и даже жестокие стороны войны, без ура-патриотических сцен.

В «Записках младшего лейтенанта» есть такой эпизод. Возвращаясь ночью в свою часть после похорон близкого друга, 20-летняя Соня пересекла большую поляну и на выходе из неё увидела табличку «заминировано». Такую же табличку при входе она не заметила. Пересекла минное поле и не подорвалась! Знаковый образ: сколько таких «минных полей» ей довелось пересекать в своей жизни! Пересечь и суметь не подорваться.

Красивая женщина, она прожила долгую нелёгкую жизнь, полную труда и потерь, оставив после себя двух талантливых дочерей, яркий след в литературе, до сих пор не осмысленный литературоведами, неопубликованные воспоминания. И добрую память о себе всех, кто её знал.

В наш компьютерный век любую информацию можно найти в Интернете. Но что может узнать в Интернете человек, интересующийся, кто такая Софья Тарханова? В поисковиках он найдёт сотни тысяч ссылок. Если у вопрошающего возникнет желание копаться в таком массиве сайтов, он узнает, что в Интернете засветились до 90 человек по имени Софья Тарханова. Узнает, что Софья Аркадьевна Тарханова родилась в 1923 году, была переводчиком художественной литературы, членом Союза советских писателей с 1977 года, участником Великой Отечественной войны и награждена орденом Красной Звезды. Может найти списки её переводов, самый представительный из которых содержит 27 произведений 14 авторов.

В разделе «Жизнь Замечательных Людей» за 2013 год сообщается, что Софья Аркадьевна Тарханова – русская переводчица произведений А. Моруа и У. Кушера. Однако почему только двух этих писателей? Я составил перечень опубликованных переводов Тархановой, наверняка не исчерпывающий. В этом списке, обнародованном в моей книге «По следам Таганрогских родичей», М.: издательство Триумф, 2015, насчитывается 38 авторов, но к нему уже добавились семь имён (они выделены курсивом):

**С датского:** Г. Банг, Х.-К. Браннер, Й. Йенс, *Х.Л. Йенсен*, Й. Йоргансен, Л. Пандуро, Х. Шерфиг, К. Этлар.

**С немецкого:** Б. Арним, Б. Брехт, И. Древиц, К.О. Конради, П. Ланштейн, П.Г. Фрайер, Х. Хартунг, А. Швейцер.

**С норвежского:** Б. Берг, Ю. Борген, К.Э. Борхгревинк, К. Гамсун, У. Кушерон, Г. Нюквист, К. Сандель, Т. Стиген, Ф. Хавревол, С. Хопп, О. Эйдем, М. Юхансен.

**С французского:** Ж. Ануй, *А. Барбюс*, М. Бютор, *Ж. Веркор*, А. Моруа, А. Перрюшо, Х. Семпрун, Р. Эсколье.

**С шведского:** *Д. Андерссон*, С. Арнэр, *Я. Бергман*, М. Грипе, П. Лагерквист, Х. Мартинсон, С. Сивертц, А. Стриндберг, Л. Юлленстен, Э. Юнсон.

А уж если считать переводы разных произведений каждого автора... Их количество с трудом поддаётся подсчёту по опубликованным данным – я насчитал более 80. Многие переводы издавались неоднократно. Например, новеллы Андре Моруа в переводах Тархановой издавались 30 раз, роман Августа Стриндберга «Одиноким» – 7 раз, а «Жизнь Ренуара» Анри Перрюшо – 9 раз.

О Тархановой говорят её переводы. Благодаря ним русскоязычный читатель получил возможность ознакомиться с произведениями, вошедшими в золотой фонд мировой культуры, подробно узнать о жизни многих выдающихся людей: Альберт Швейцер, Виктор Гюго, Гёте, Шиллер, Ренуар, Ван Гог, Беттина фон Арним... Популярностью пользуются переводы произведений для детей, таких как «Приключения маленькой трески» Улафа Кушерона или «Волшебный мелок» Синкен Хопп. Три сказки из «Волшебного мелка» включены в программу литературного чтения во 2-м классе, опубликована методическая разработка специального урока по одной из этих сказок.

Некоторые произведения в переводах С.А. Тархановой записаны артистами в виде аудиокниг. Лучшие из них рекомендованы детям.

Пьеса Жана Ануя «Орнифль» в переводе Тархановой дважды ставилась в московских театрах. Сергей Юрский поставил её в Театре имени Моссовета, сыграв в ней главную роль. А спектакль Сергея Арцыбашева в Театре сатиры уже 15 лет не сходит со сцены, став визитной карточкой блистательных артистов Александра Ширвиндта и Веры Васильевой. Зрители знают и его двухсерийную телеверсию 2004 года.

Языки – это тот инструмент, с которым она шла по жизни. Немецкий, французский и норвежский ей, по собственному выражению, «преподнесли на блюде». Она освоила их в детстве, постоянно общаясь с носителями языка, и знала их со всеми тонкостями.

Нужно очень хорошо знать литературу соответствующих стран, чтобы отбирать произведения, достойные быть переведёнными на русский. Нужно очень хорошо знать и чувствовать язык, чтобы переводить с него художественные произведения. Наконец, нужно очень хорошо владеть русским языком, чтобы суметь ярко и красочно донести до читателя не только фабулу переводимого произведения, но и музыку образной речи его автора. Всеми этими качествами обладала Софья Тарханова, полиглот и блестящий стилист, умевшая написать так, чтобы читать это было легко и увлекательно.

В новелле «О Лилиане Лунгиной» Тарханова пишет: «Во власти переводчика донести до читателя авторский талант во всём его блеске. Но с тем же успехом переводчик может попросту «убить» автора». И вспоминает о том, как скандинавистка Брауде сумела убедить Астрид Линдгрен, что переводы Лунгиной её произведений, включая знаменитых «Карлсона, который живёт на крыше» и «Пеппи Длинныйчулок», сделавшие шведскую писательницу любимицей русскоязычных читателей, исказили её творчество. Издательство «Вагриус» издало Линдгрен в переводах Брауде, но дети не хотели читать эти книги, считая их «самыми скучными на свете». Тарханова способствовала тому, чтобы Линдгрен вновь была издана в переводах Лунгиной.

Софья Тарханова сохранила стихотворения А. Оршанина, брата нашего деда. Их публикации (например, <http://orshatut.by/kultura/tvorchestvo-a-orshanina/>) возрождают имя этого поэта «серебряного века» в истории отечественной культуры. В юности она и сама писала стихи. А. Оршанин хвалил их. Она делала стихотворные переводы немецких поэтов-антифашистов, которые использовались во время Великой Отечественной войны. Эти переводы не сохранились – поэтом она себя не считала. Но сохранились два её стихотворения, обращённые



к любимому мужу, с которым она счастливо прожила более полувека. «Если от всех моих писаний, да и от меня самой, останутся только эти два «документа», я уже буду счастлива», – писала она. Да, они очень личные, эти стихотворения. Но ведь вся лирика всех великих поэтов адресована конкретным любимым. И нет причин замалчивать поэтическое творчество Тархановой.

В январе 1991 года Островский и Тарханова уехали в Германию. Ещё до путча ГКЧП и развала СССР. Годом раньше они отправили туда детей и внуков.

Почему они уехали?

В конце перестройки в России подняли голову фашисты и антисемиты. Пресловутое общество «Память» пропагандировало существование мифического «жидомасонского заговора» против России и русского народа. Открыто призывали к еврейским погромам. Эта деятельность не находила отпора у власть имущих. В мае 1987 года «Память» провела на Манежной площади митинг протеста против «угнетения русского народа». Участники митинга добились встречи с тогдашним Первым секретарём Московского горкома КПСС Ельциным, который внимательно их выслушал и обещал учесть их пожелания.

В истории России было немало жестоких еврейских погромов. Тот, кто прочитает воспоминания Тархановой, увидит, что у неё были веские основания, при всей её лояльности, опасаться возможных действий советских карательных органов. Уже в нашей жизни были травля Аркадия Тарханова, «борьба с безродными космополитами». Лишь смерть Сталина не позволила осуществить запланированную массовую депортацию советских евреев в отдалённые районы страны.

Как «работали» антисемиты С. Тарханова испытала и на собственном опыте. В 1951 году она поступала в аспирантуру, но её, в совершенстве владевшую немецким языком (немцы её от своих не отличали), *завалили* на вступительном экзамене... по немецкому языку.

История этого экзамена настолько поучительна, что достойна подробного описания. О дате экзамена сообщили лишь накануне, за день. Чтобы подготовиться не успела. Когда стало ясно, что к её немецкому не придаться, на ходу внесли поправку в тему экзамена: дескать, экзаменуем не по одному языку, а по нескольким. И перешли к французскому, а затем и к английскому. Но оказалось, что и этими языками она владела лучше тех, кто её экзаменовал. Экзаменаторы оказались в затруднительном положении: был заказ *завалить*, не исполнить который они не могли. Пришлось опять по ходу экзамена вносить коррективы в его программу: не только по языкам, но и по общей филологии.

В те годы вся страна изучала труд Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». В нём Сталин, в частности, критиковал взгляды академика Виноградова (позже арестованного), после чего его труды перешли в разряд запретных, их не выдавали в библиотеках. Вот и стали экзаменовать Тарханову... по этим трудам. Ах, Вы не смогли их прочитать? Кто очень хотел, тот смог! Предлог был найден, заказ исполнен: двойка! Кто ищет, тот всегда найдёт.

В истории СССР были ГУЛАГ, расстрел в Новочеркасске, принудительное переселение целых народов, преследования «инакомыслящих». Поэтому Островский и Тарханова восприняли призывы «Памяти» как серьёзную угрозу и решили, что нужно спасать детей. Однако в Москве их держала мама Островского, прикованная к постели. 6 декабря 1990 г. её не стало. Быстрейший отъезд был предпринят.

Кто-то из покинувших Родину влился в ряды хулителей России. Тарханова не была в их числе. В Германии она активно славил русский язык и русскую культуру. Много лет она вела занятия в Народном университете г. Фульда. А с лучшими «студентами» занималась ещё и дома – безвозмездно. Некоторые из них стали её друзьями. Бургомистр Фульды прислал ей письмо с благодарностью «за укрепление русско-немецкого взаимопонимания в сфере культуры».

Когда в 1991-92 гг. в России, даже в Москве, были серьёзные перебои с продовольствием, Тарханова и её немецкие друзья организовали отправку продуктовых посылок по известным им адресам.

Невозможно сухо писать о Тархановой только как о литературном переводчике. Она была ярким живым человеком. С обычными для женщины заботами и тревогами. Писала мне из Фульды: «Строго замечу тебе..., что мать семейства обычно не **раскачивается**, а просто **не успевает** делать профессиональное, потому что нужно покупать продукты, готовить, мыть посуду, стирать, гладить, убирать etc. Хорошо знаю это по себе. Рвёшься к работе, но... времени нет никогда». Её письма – в основном, не о себе, а о детях, внуках, муже, друзьях и «студентах». О себе она пишет так: «Я впервые в жизни читаю обидно мало, потому что надо готовить, мыть посуду и т.п., да и разбитый сон калечит день, который медленно набирает темп, а набрав, очень скоро кончается. Но жаловаться не приходится, наши друзья все моложе нас и болеют серьёзно. Так что на твой постоянный вопрос «Как ты себя чувствуешь?» честнее ответить: «Пока... не чувствую». И «чувствовать» очень не хочется».

«Воспоминания о воспоминаниях» – название принадлежит самой Тархановой. Это не цельное произведение, созданное по строгому плану, а отдельные воспоминания, написанные в разное время. Отсюда многочисленные авторские отступления, послесловия и даже некоторые повторы. Простим их автору, она не собиралась издавать свои рассказы. И не редактировала их так же тщательно, как свои переводы. Но практически все, кто их читал, сошлись в едином мнении: это интересно, это документ эпохи, который не должен остаться только в семейном архиве.

С.А. Тарханова была скромным человеком, сомневающимся в том, что её жизнь может интересовать даже родственников. Но она действительно была замечательным человеком. Её имя должно найти достойное место в истории культуры – в когорте выдающихся переводчиков.

**Виктор Файн**  
vfain@mail.ru



## Мэри Карловна

### Спасительница

Этому человеку я многим обязана.

Она появилась в нашем доме, когда мне было года три с половиной, т.е. в конце 1926-го или в начале 1927-го года.

Родители тогда работали в советском торгпредстве в Берлине, и жили мы, по всей видимости, в Берлин-Груневальде, во всяком случае, именно это территориальное обозначение чаще всего слышалось дома, адреса я по малолетству не запомнила.

Дом был большой, многоэтажный и многоквартирный, и одну из квартир снимали мы у его владелицы – фрау Агнессы Пниовер.

В квартире было три комнаты, вдобавок в конце коридора поднималась вверх небольшая лесенка, – и там была ещё одна, четвёртая, просторная и светлая комната.

В эту комнату однажды внесла свои вещи Мэри Карловна и первым делом повесила на стену икону. Увидев незнакомую пожилую женщину в нашей квартире, я сразу же затопала вслед за ней по ступенькам вверх и, движимая любопытством, стала осматриваться.



~1926 г.

– Деточка, я Мэри Карловна. Можешь называть меня «тётя Мэри», – сказала женщина.

Конечно, я уже видела её раньше, но словно во сне, смутно, как в чад. Дело в том, что я только что перенесла жестокое воспаление лёгких, с сильным жаром, и в этом чад сновала, вместе с мамой, она, и обе укутывали меня тёплыми горчичными обёртываниями, которые казались мне, отбивающейся, ледяными.

Оказывается, и родители то ли до, то ли после этого, переболели тяжёлым гриппом:

– Мы все слегли, – рассказывала мне потом мама, – и она пришла в наш дом как спасительница. И осталась.

Осталась на целых 5 лет. Всего на пять лет...

Я и раньше видела иконы – у няни в Таганроге. Но те были маленькие, тёмные. А икона Мэри Карловны, висевшая теперь над её кроватью, поразила меня своим великолепием: прекрасный Спас в венце сияния...

– Кто это? – спросила я, показывая на Спаса.

– А это наш господь Иисус Христос, деточка! Одним словом – Бог.

– Но ведь Бога нет! – удивленно возразила я, бездумно повторяя многократно услышанное ещё в Таганроге.

Мэри Карловна рухнула на колени и, сложив молитвенно руки, зашептала, обращаясь к Христу:

– Прости, Господи, дитя малое, неразумное! Не ведает ведь, что лопочет...

И повернувшись ко мне, уже громче:

– Деточка, никогда больше такое не говори! Это грех. Бог есть, и он всё видит, всё слышит.

И тут вдруг, как в кинофильме, flash back...

В таганрогском доме моя няня Ксюша беседует с папой:

– Вот хочу я спросить, зачем вы грешите? Вы люди хорошие, а дитё не крестили и в церковь не ходите. Бог-то он есть, небось, он всё видит.

И неожиданно мягкий ответ папы, человека бесконечно доброго, но в обиходе часто резкого, вспыльчивого:

– Но ведь это, Ксюша, научно не доказано!

С вызовом глядя в глаза Мэри Карловне, я торжествующе повторила:

– Но это научно не доказано!

Не вставая с колен, Мэри Карловна расхохоталась так, что я, вконец разобиженная, тут же начала торопливо спускаться вниз по ступенькам на наш, привычный мне, уровень...

Впрочем, этот богословский диспут не отразился на наших последующих отношениях. Родители, как всегда, уходили на работу. Мы же с тётёй Мэри в положенное время уходили гулять.

Мы выходили из большого дома, с неизменной надписью на фасаде: «Betteln und hausieren verboten» (попрошайничать и разносить по дому товары запрещено) и направлялись к маленькому зелёному скверику, где на скамейке сидели старики и старухи в чёрном, неприязненно оглядывавшие всех проходивших мимо. В этом сквере не разрешалось играть детям, они даже сюда не допускались.

И наш путь лежал в другой, обычный сквер неподалёку – здесь были песочницы и качели и, главное, были другие дети, с которыми даже можно было поиграть в мяч. Да и скакалка всегда была у меня с собой.

А иногда... иногда мы с Мэри Карловной пробирались в кинотеатр. Немое кино в ту пору, как известно, переживало расцвет. И мы смотрели фильмы с Мэри Пикфорд, Дугласом Фэйрбенксом, Гарольдом Ллойдом. Была ещё умнейшая собака по имени Рин-тин-тин. Она мне нравилась больше всех.

Титры поясняли действие, я к тому времени уже научилась читать и вопросы задавала редко.

Один сюжет помню до сих пор: богатый пожилой человек женится на молодой красивой женщине. Друзья отговаривают его от женитьбы: «Не любит она тебя, ей просто нужны твои деньги!» Но он снисходительно отмахивается: «Где уж вам понять: у нас любовь».

Новобрачные приходят домой. Сняв пиджак, он располагается в кресле, она садится к нему на колени. Вдруг у него начинается сердечный приступ. Она вскакивает... и садится на соседний стул. Он задыхается, жестом указывает



ей на пиджак, где, видимо, в кармане лежит лекарство («нитроглицерин», – впоследствии объяснила мне тётя Мэри). Его глаза умоляют: «Спаси меня...». Но она, жёстко сжав губы, остаётся на месте. А он уже хрипит. Следующий кадр: в кресле бездыханное тело.

Всё это произвело на меня жуткое впечатление. И не только впервые увиденная, пусть мнимая, смерть, хотя до этого я не понимала, что все люди смертны...

Страшнее всего показалось мне предательство.

Увидев мою реакцию, Мэри Карловна невозмутимо заметила:

– Успокойся, деточка, наш герой – жив, здоров, это же просто кино. А вообще – не то ещё бывает...

Тут она сразу помрачнела и, взяв меня за руку, быстро повела домой.

Мама рассказывала мне впоследствии, что Мэри Карловна прибилась к нам, расставшись с семьёй Пешковых. Екатерина Павловна Пешкова, бывшая супруга основоположника социалистического реализма<sup>1</sup>, с внучками Дарьей и Марфой жила где-то под Берлином, тогда как сам основоположник жил в Сорренто уже с новой женой Марией Будберг. Мэри Карловна была гувернанткой Марфуши и Даши, теперь же с ней хотели расстаться, и Екатерина Павловна всячески уговаривала моих родителей взять её к себе. Как я потом поняла, уже само по себе это настойчивое стремление избавиться от Мэри настораживало против неё маму, и она не спешила приглашать её к нам, хотя потребность была: родители уходили вдвоем на работу на целый день, – стало быть, надо было и меня пристроить, и на кого-то возложить ведение хозяйства.

Скорее всего, Екатерина Павловна торопилась отдать Мэри Карловну в хорошие руки просто потому, что предстоял переезд внучек с мамой Тимошей в Сорренто, где из горьковской виллы открывался красивейший вид на Везувий, но для гувернантки уже не было места.

Так или иначе, но родители колебались. А потом, как рассказывала мама, «мы все слегли, она пришла как спасительница и осталась...».

Для меня это было благом.

Родители обрели надёжного помощника, и сама Мэри Карловна была устроена. По крайней мере, на время.

Под влиянием того жуткого кинофильма я поняла: нет ничего страшнее предательства близких и любимых людей. Я и сейчас, стоя уже у берегов Леты, так считаю.

А Мэри Карловна... Какую страшную беду, какое непоправимое горе должна была она пережить, что – пусть вымышленное – предательство киногероини её не тронуло?

Дочь немецкого управляющего имением русского помещика, она прожила всю жизнь в России. Мать её была наполовину англичанка, наполовину русская. Она рассказывала: «По утрам мы все вместе с отцом верхом объезжали поместье, проверяя, всё ли в порядке. Отец руководил всеми работами, которые велись в имении».

Я написала: «Она прожила всю жизнь в России»... Не знаю, когда она стала фрёбеличкой и скольких детей ей удалось по Фрёбелю<sup>2</sup> воспитать. Только, увы, не меня... Поделки ко дням рождения родителей, сколько я ни старалась, получались у меня только с её помощью (на 90%). Зато дочери мои потом,

---

<sup>1</sup> А.М. Горький. В.Ф.

<sup>2</sup> Фридрих Вильгельм Август Фрёбель (1782-1852) – немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания, создатель понятия «детский сад». В.Ф.

без всякого Фрёбеля, могли сотворить что угодно из шишек, травы, картона. Разве что милая Александра Михайловна, к которой Надюха<sup>3</sup> ходила в детскую группу на улице Левитана, многому в этом плане могла научить...

Мэри Карловна была женщиной образованной, начитанной, знала три языка: немецкий, французский, английский, рисовала, работала акварелью, умела выжигать по дереву. Она исповедовала православие, была, как мне кажется, глубоко религиозным человеком.

Видимо, пережила страшное. Она рассказывала: «Большевистские солдаты (так она называла красноармейцев) подожгли имение, разграбили всё, перебили скот, отрезали языки лошадям...».

Что стало с её семьей – родителями, сестрами, мужем? Как и когда выехала она из России? Не Пешковы ли её вывезли?

Её взрослый сын жил в Румынии и за «наши» пять лет ни разу не приезжал к матери. Изредка она получала от него письма. Редко приходили они, я знала это потому, что марки тётя Мэри отдавала в мою коллекцию. Больше ни от кого она писем не получала, я бы знала: ведь марки достались бы мне.

Позднее, уже в Париже, я поняла, что она поддерживает отношения с кем-то из эмигрантской среды, в целом относившейся к ней плохо: «служит у большевиков». Слишком уж часто Мэри Карловна сообщала мне, как ей безразлично, что говорят о ней за её спиной. Вдобавок она сохраняла советское подданство и в положенные сроки наведывалась в советское посольство – продлевать паспорт.

Неблагодарная, я не помню, кто научил меня читать – она ли, мама или Зина<sup>4</sup>, или, может быть, все вместе? У меня было 2 комплекта кубиков, с русскими и латинскими буквами, и на большом ковре в гостиной я складывала из них слова и фразы. Всё это произошло так легко и быстро, что скоро я уже смогла подобраться к книгам.

И тут только началась для меня настоящая жизнь.

«Черничный дедка и брусничная бабушка»<sup>5</sup>, по-немецки и по-русски, «Заячья школа»<sup>6</sup>, “Die Hasenschule” по-немецки. В 1991 году, когда наши немецкие друзья показывали нам окрестные городки, я увидела на двери кафе в Лаутербахе<sup>7</sup> афишу с картинками из “Hasenschule”...

### Она отучила меня ныть

После того памятного воспаления лёгких, когда «все мы слегли» и в нашем доме появилась Мэри Карловна, у меня сделалось в правом лёгком затемнение. Перепуганные родители по совету врачей отправили меня с тётей Мэри в горы, а именно в Schreiberhau<sup>8</sup> (Riesengebirge<sup>9</sup>).

Там мы поселились в маленьком домике под красной черепичной крышей, на вершине холма. Тётя Мэри взялась за дело, как сказали бы теперь, круто.

---

<sup>3</sup> **Надя** – младшая дочь автора Надежда Васильевна Фишер (Мамонтова). В.Ф.

<sup>4</sup> **Зина** – Зинаида Моисеевна Гутман, тётя автора, моя мама. В.Ф.

<sup>5</sup> «**Черничный дедка**» – шведская сказка (Э. Бесков, 1921 г.). В.Ф.

<sup>6</sup> «**Заячья школа**» – переложённая в стихи сказка о том, как зайчата провели один день в школе, вышла в свет в 1924 году и приобрела популярность благодаря замечательным иллюстрациям художника Фритца Кох-Готы (1877-1956) и стихам Альберта Сикстуса (1892-1960). Переведена на многие европейские языки и относится к классике европейской детской литературы. В.Ф.

<sup>7</sup> **Лаутербах** (нем. Lauterbach) – город в Германии, расположен в земле Гессен. В.Ф.

<sup>8</sup> **Шрайбенхау**, ныне Шклярска-Поремба – город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство. В.Ф.

<sup>9</sup> Riesengebirge — Исполиновы горы, самая высокая часть Судет. В.Ф.



Мы проводили в горах целый день, бродя по сосновым лесам. С тех пор я полюбила вереск. Мы рвали цветы, плели венки, а из шишек тётя Мэри выделывала смешных человечков. Всё было бы замечательно, если бы я не боялась Рюбецаля, легендарного местного лешего, о котором мне поспешили рассказать. Я всё озиралась, не крадется ли он за нами. Впрочем, чаще всего я о нём забывала, так хорошо было вокруг. Сидя на каком-нибудь поваленном бревне, мы наскоро перекусывали. Только дома, перед сном ждал нас ужин. А до этого мы всё бродили и бродили, шагали и шагали, по лесным тропам, среди вереска.

Возвращались домой только под вечер. Иногда, особенно в первые дни, я от усталости еле передвигала ноги и принималась ныть:

– Тёточка Мэричка, я устала...

Тётя Мэри в ответ сразу переходила на «вы» (это означало, что она сердится) и на «так-с», «да-с» и «ну-с». Это всегда меня очень пугало, – не знала же я тогда, что это зловещее «с» – просто рудимент от слов «сударь» и «сударыня».

– Так-с, – говорила тётя Мэри, – что же вы предлагаете?

Естественно, я ничего предложить не могла, и оставалось только идти дальше, пока мы не доберёмся домой.

Так она отучила меня ныть. На всю жизнь.

Через несколько недель мы вернулись в Берлин. Горы, сосны и наши ноги сделали своё дело. Я выздоровела.

Спасибо родителям, пославшим меня в Schreiberhau, в этот, как я впоследствии узнала, дорогой курорт, и Мэри Карловне, – за спартанское воспитание.

Ещё перед нашим отъездом из Шрайберхау произошёл инцидент, запечатлённый в рисунке Мэри Карловны. Несколько лет назад (чудесным образом он у меня сохранился) я отдала его на дальнейшее хранение дочке Наде.



Лидия Моисеевна и Соня Тархановы в Берлине. 18 марта 1928 г.

У хозяйки домика под черепичной крышей был курятник. Там жила курица, которую я каждый день навещала и подкармливала. Курица сидела на яйцах и благосклонно принимала мои подношения.

И вот однажды утром, когда я сидела за завтраком, дети за окном закричали:

– Die Küken sind da!

Что означало: «Вылупились цыплята!».

Схватив кусок хлеба, я ринулась к курятнику, толкнула дверь и... навстречу мне вылетела разъярённая курица и принялась клевать меня в голову. Я с криком побежала назад, к дому, но курица не отставала, а злобно кудахча, продолжала меня клевать. По моему лицу струилась кровь, я кричала, а она всё клевала и клевала. Наконец, подбежали и отогнали курицу.

Тётя Мэри обмыла меня и тщетно пыталась успокоить. Я рыдала. Не столько от боли и страха, сколько от острой обиды. «Я её любила, я её кормила, а она...».

Наверно, это судьба тогда послала мне знак. Но я его не поняла...

Я вернулась в Берлин здоровая. А родители? Как они оправились от болезни? Для отца, сумевшего выдержать бой с туберкулёзом, тяжёлый грипп был, наверно, ещё опасней, чем для меня. Конечно же, я тогда этого понять не могла. Но помню: родители показались мне вполне бодрыми. Мама тогда ещё не была такой, какой вскоре стала. Очень красивая, она одевалась скромно, но с изяществом. И улыбалась, хоть и не часто.

А папа окреп настолько, что к нам даже изредка стали приходить гости. Папа танцевал с дамами под граммофон, но больше всего любил приглашать на танец меня. Он гордился тем, что научил меня танго и фокстроту, вот только с вальсом у нас не заладилось. Тётя Мэри как-то сказала, когда мы остались одни:

– Вальс так не танцуют. Вальс надо танцевать в три такта.

И легко и стремительно провальсировала по гостиной.

Мое увлечение танцем она поощряла. Говорила:

– Хорошо, конечно, танцевать в паре, особенно когда тебя ведёт родной отец. Но надо уметь и танцевать соло. Выражать собственную индивидуальность, свободно импровизировать...

Она заводила граммофон, ставила танцевальную пластинку и коротко приказывала:

– Импровизируй!

Не знаю, кому я была обязана таким благоволением – Песталоцци<sup>10</sup> или Фрёбелю, кажется оба они проповедовали свободное развитие творческих способностей ребёнка.

Однако моё страстное желание стать балериной Мэри Карловна не одобрила. Мне ведь уже исполнилось четыре года, – пора было задуматься о будущей профессии.

## Весёлое детство

Сначала я хотела стать кучером, – такие красивые кареты разъезжали в то время по Берлину, правда, постепенно их вытесняли автомобили. Потом моё внимание привлекла царица подземки: молодая женщина в мундире и фирменной фуражке, с жезлом в руках, она повелевала в метро поездами – отогнав пассажиров от вагонов, взмахом жезла посылала состав в туннель...

Но потом в Берлин приехала Анна Павлова. Все ходили смотреть, как знаменитая балерина танцует «Умиряющего лебедя». Меня, конечно, на её концерт не взяли, но мы с Мэри Карловной увидели в кино фильм, ей посвящённый. Потому что наши походы в кино – легальные или нелегальные – продолжались.

---

<sup>10</sup> Иоганн Генрих **Песталоцци** (1746–1827) – швейцарский педагог, один из крупнейших педагогов-гуманистов конца XVIII – начала XIX века. В.Ф.



Мэри Карловна догадалась о моей мечте, хоть я её и не высказывала:

– Почти каждая девочка хочет стать балериной, – сказала она. – Это слишком банально. Зачем миру столько балерин?

Правда, хоть я твёрдо решила стать знаменитой танцовщицей, мне совсем не хотелось танцевать «Лебедя».

И Мэри Карловна сразу же поняла, почему обычно именно трёх-четырёхлетние дети начинают страшиться смерти.

– К тому времени, как ты состаришься, уже обязательно изобретут эликсир бессмертия, – сказала она. – И ты не умрёшь. Наука так быстро развивается. Она даже может доказать существование Бога, – добавила она, намекая на наш с ней при первом знакомстве богословский диспут. – А вообще существование Бога доказывать не нужно, каждый ведь чувствует его присутствие. Надо просто верить и стараться делать добро.

Весёлое детство продолжалось. Прогулки, походы в замечательный берлинский зоопарк. Новые книжки – русские, немецкие.

А по улицам уже маршировали фашисты.

Они маршировали под звуки труб и барабанов. Когда они проходили мимо нашего дома, я с радостным криком «Пионеры идут!» выбегала на балкон, откуда меня поспешно уводили перепуганные взрослые. Сам этот факт я отлично помню, но интерпретация, разумеется, более поздняя, мамина. (А консонантная<sup>11</sup> и даже слоговая редупликация в словах, насколько я знаю, характерна не только для детского языка, но и для языков многих народов. Отсюда и «пионеры»<sup>12</sup>).

В предрождественские дни одна советская дама – общественница из посольских – устроила для советских детей праздник ёлки в своей большой квартире, куда по непонятным мне тогда причинам весьма неохотно отвела меня тётя Мэри.

Нас, детей, было не так уж много, мы все поместились в большой, залитой светом, комнате, и ползали по ковру, осваивая интересные игрушки, предоставленные нам ненадолго «напрокат». Вдруг хозяйка грозно спросила:

– Кто это сделал?

Все оглянулись: на середине ковра лежала маленькая, аккуратненькая «колбаска».

– Я спрашиваю: кто это сделал? – повторила хозяйка.

И маленькая, прехорошенькая, с золотыми кудряшками, девочка рядом со мной горько разрыдалась.

Раньше всех нашлась тётя Мэри. Она схватила «преступницу» и, ласково приговаривая что-то, вынесла её из комнаты, где бережно передала на руки матери. Мне тоже было жалко эту крошку, и всё же я слегка приревновала к ней тётю Мэри.

После чая она сразу же увела меня домой и по дороге сказала:

– Мы дома сами устроим у себя настоящую ёлку!

И, правда. 1928-й год мы встречали с ней вдвоём у нас дома. Родители ушли куда-то встречать Новый год с другими взрослыми.

---

<sup>11</sup> **Консонантный** – (*лингв*). относящийся к согласным звукам. В.Ф.

<sup>12</sup> Никто не догадался расспросить Тарханову, каким образом консонантная или слоговая редупликация в словах привела её к пионерам. Целый консилиум дипломированных филологов, проведенный моей дочерью Светланой, не смог выдвинуть какого-либо объяснения. В.Ф.



~1928 г.

Я сидела в кресле в гостиной и читала «Телефон» Корнея Чуковского.

Мэри Карловна хлопотала вокруг ёлки, которая и без того была прекрасна: всё добавляла новые украшения. Мне пока не разрешалось к ней подходить.

– Смотри, – сказала тётя Мэри, держа в руках палочки бенгальских огней, от которых пучками рассыпались искры.

Вдруг по стволу ёлки побежал синий огонек. Никогда не забуду, как тётя Мэри хлопала по нему, тщетно пытаясь его потушить, голыми руками. Но огонёк упорно полз кверху, вспыхнула, уже жёлтым пламенем, одна из верхних веток.

– Пожар! – закричала я и ринулась в ванную за водой.

Тилимбом, тилимбом,  
Загорелся кошкин дом,  
Бежит курица с ведром,  
Заливает кошкин дом...

Кажется, мой вопль вывел тётю Мэри из оцепенения. Она схватила с дивана плед и, накинув его на ёлку, потушила огонь. Но пламя уже успело перекинуться на оконную занавеску. Тётя Мэри окатила её водой из лейки, которую я принесла. Но этой воды оказалось мало. Занавеска по-прежнему горела, шипела, чернела. Только, когда тётя Мэри окатила её из ведра, которое сама притащила, пламя погасло. Оно уже успело подобраться к самому потолку...

От пережитого страха я разревелась.

Тётя Мэри заторопила меня:

– Скорей ложись спать!

– Но ведь скоро Новый год! – упиралась я.

Тётя Мэри только рукой махнула.

Утром в квартире ещё пахло гарью, но обгоревшей ёлки в гостиной уже не было. Не было и «пострадавшей» занавески на окне. В большой вазе стояли ёлочные ветки с уцелевшими игрушками на них.

Было видно, что тётя Мэри очень расстроена.

Не знаю, как прошёл её разговор с родителями, когда они вернулись.

За завтраком мы о пожаре не говорили.

А после завтрака тётя Мэри сказала:

– Скорей одеваться!

Вместо прогулки мы поехали в KaDeWe – Kaufhaus des Westens – самый фешенебельный берлинский универмаг.

Я очень любила поездки в KaDeWe. Там было так много интересного – например, эскалаторы между этажами, огромные аквариумы, в которых плавали диковинные рыбы. Некоторые подплывали к стеклу и смотрели мне в глаза. Но самое замечательное: в витринах нижнего этажа «жили» куклы, да, именно, жили. В комфортабельных домиках они пили чай, принимали гостей, танцевали, музицировали. В других витринах куклы мололи зерно или пахали, шагая за плугом. Куклы купались в море, катались на лодках, а в «зимних» витринах – катались на коньках и на санках. И все они двигались непрерывно...

Но на этот раз тётя Мэри не пустила меня ни к рыбам, ни к куклам, хотя очень долго выбирала что-то в отделе тканей, где перед ней без числа громоздились матерчатые валуны...

Дома Мэри Карловна после обеда, с забинтованными от ожогов руками, села за свою швейную машинку «Зингер», а меня услала спать.

Когда я проснулась, на «пострадавшем» окне висела новая занавеска, в точности такая же, как прежняя...

### Париж

Скоро отца перевели на работу в Париж, и тётя Мэри поехала туда с нами. Прощайте, Бранденбургские ворота – я увижу вас снова через 20 лет!

В Париже мы поселились в Нейи-сюр-Сен, на рю Пьерре, 22. Дом этот дважды запечатлен на фото: в 1929-м году и в 1996-м. На первом фото можно ещё увидеть меня шестилетнюю – наш консьерж тогда учил меня кататься на велосипеде. На втором снимке меня нет. Это мой дорогой Валька<sup>13</sup>, в очередной раз залетев в Париж, взял на себя труд отыскать нашу былую обитель на рю Пьерре и сфотографировал дом. Я же оставалась в Фульде, где остаюсь до сих пор. И Париж больше никогда не увижу.

А тогда... Тогда был Булонский лес, совсем недалеко от рю Пьерре. И мы с тётей Мэри ходили туда почти каждый день.

Там можно было гонять серсо<sup>14</sup> по аллеям, играть в мяч, крутить скакалку. Но главное – там было много детей, которые сразу приняли меня в своё сообщество. Должно быть, я не показалась им чужестранкой. Хотя, наверно, и это в Париже тех лет, славящемся своей интернациональной атмосферой, мне не поставили бы в вину.

Но я уже свободно говорила по-французски. Процесс освоения языка произошёл так быстро, что я никакого процесса не заметила. Тётя Мэри дала мне несколько уроков, научила меня читать и писать по-французски, по-немецки я ведь уже умела. Появилась толстая книжка – азбука, она же (на немецкой основе) словарь, и тоненькая тетрадка с текстами – буквами печатными и письменными – которую зрительно я помню до сих пор. А потом появились и другие книжки, по преимуществу сказки, за которыми последовали повести графини де Сегюр, урождённой Ростопчиной, дочери Фёдора Васильевича Ростопчина, московского генерал-губернатора, прославившегося своими патриотическими деяниями в войну 1812-го года против наполеоновских войск. Эти повести, в твёрдых переплётах малинового цвета, с золотым теснением,

---

<sup>13</sup> Валентин Александрович Островский. В.Ф.

<sup>14</sup> **Серсо** – игра, заключающаяся в перебрасывании друг другу лёгкого тонкого обруча, который следует поймать на палку. В.Ф.



составляли знаменитую «Розовую библиотеку»<sup>15</sup>: «Сонины проказы», «Примерные девочки», «Прекрасные каникулы» и ещё много, много других. Интенсивное чтение произведений мадам де Сегюр, наверно, способствовало расширению французского словаря, но также и развитию «розового» менталитета, того настроя, который мама всю жизнь «любовно» именovala моим «идиотским» идеализмом.

Вообще, все дети, как известно, легко и быстро осваивают любой язык, и в моих достижениях не было ничего удивительного.

В доме на рю Пьерре, предельно скромном, даже убогом в сравнении с импозантным берлинским особняком мадам Агнессы Пниовер, мы снимали квартиру на втором этаже. К ней вела крутая винтовая лестница из тёмного дерева, по которой маме, с её больной ногой, наверно, нелегко было как подниматься, так и спускаться. Я же поднималась и спускалась по ней бегом, за что однажды жестоко поплатилась: оступившись, кубарем скатилась вниз и распласталась у консьержской будки, еле живая.

Дело было в том, что родители подарили мне велосипед, и наш консьерж учил меня на нём кататься. У меня плохо это получалось: велосипед купили «на вырост», как тогда всё покупалось, и поэтому, усевшись на седло, я почти не доставала до педалей. Надо было учиться ездить стоя, и я научилась, но не сразу, и это меня очень огорчало. Мне бы почаще тренироваться, но консьерж был очень занятой человек и не мог уделять мне много времени.

И вот он вдруг позвал меня на урок, я от радости разлетелась, и... кажется, я даже на миг потеряла сознание, и консьержка, жена моего ментора, подняла крик.

Ничего, выжила...

Впрочем, всё это будет потом, когда мне исполнится шесть лет, а сейчас мне только пять, и мы с тётёй Мэри спешим в русскую православную церковь, где в одном из приделов находится русская библиотека.

– Там много книг, – говорила тётя Мэри, – и даже детских...

Всё это было очень заманчиво. Я вырвалась вперед, первой толкнула тяжёлую дверь и вбежала в библиотеку, где за книжным прилавком сидела немолодая женщина с бледным, испитым лицом.

Резкий окрик пригвоздил меня к месту:

– Маша!

Наверное, мне следовало сказать той женщине, что меня зовут по-другому, а моя внучка Маша ещё не родилась, но...

– Маша! – снова крикнула библиотекарша. – зачем ты привела сюда этого еврейского ребёнка?

– Тише, Настя! – отозвалась тётя Мэри и обняла меня за плечи, словно бы стремясь от чего-то защитить. – Соня не помешает нам. Она сядет вон за тот столик (с этими словами тётя Мэри отвела меня к столику у окна) и будет читать. Дай ей какую-нибудь хорошую книжку!

Как странно... Никто тётю Мэри никогда Машей не называл. И что такое «еврейский ребёнок»? И вообще... за что эта злая женщина меня ненавидит?

Библиотекарша швырнула мне на столик «Сказку о царе Салтане».

– «Салтана» она знает наизусть, – сказала тётя Мэри, – что-нибудь другое дай!

---

<sup>15</sup> Немецкие и французские детские подарочные издания для лучшего распространения публиковались сериями. «Розовая библиотека» – для детей младшего возраста. В.Ф.

– Сама поищи! – огрызнулась та. – Я это племя обслуживать не нанималась!

Тётя Мэри торопливо подошла к полке, сняла с неё, думаю, наугад, томик Пушкина и положила передо мной. Я раскрыла его и прочитала: «Пиковая дама».

– Зря ты, Марья, воображаешь, что сможешь научить эту девчонку хорошему русскому языку. Она будет говорить так, как говорят её родители. Мамаша, чай, из одесских торговков? – не унималась библиотечка.

– Лидия Моисеевна – дочь врача, – холодно ответила тётя Мэри. – Окончила гимназию с золотой медалью. Училась в консерватории. Знает три языка. Мало тебе?

– Допустим... Ну, а папаша, из шинкарей или из менял?

– Аркадий Семёнович, кажется, из бедной семьи. Его мать, вдова, служила, как и ты в библиотеке. Не знаю, что он кончал, но он начитан, образован, умён. По-моему, он самородок.

– Видала я этих самородков! – прошипела Настя. – Чтобы они все пропали!

Мне было очень приятно, что тётя Мэри защищает моих родителей. До этого мне казалось, что обе мои наставницы друг друга недолголюбивают, хоть внешне это никак не проявлялось.

Но тут тётя Мэри, оставив меня наедине с «Пиковой дамой», решительно под села к Насте, и они вполголоса завели какой-то непонятный мне и, судя по всему, неприятный разговор.

Впрочем, я и не прислушивалась. Я начала читать «Пиковую даму» и, конечно же, мало что понимала. Видно, тётя Мэри впопыхах выбрала для меня первый попавшийся томик.

Не знаю, как долго они говорили. Мне показалось, что очень долго. Наконец, тётя Мэри встала, взяла меня за руку и коротко бросив «Прощай, Настя!», заспешила к выходу. Я не сделала библиотечка реверанса, как тогда полагалось, даже не сказала ей «До свидания!», и тётя Мэри меня за это не упрекнула.

На улице я сразу накинулась на неё с вопросами:

– За что эта злая тётка меня ненавидит? И что такое «еврейский ребёнок»?

Тётя Мэри вздохнула:

– Настя не злая, она – озлобленная. Потому что слишком много страдала. А «еврейский ребёнок»... Знаешь, есть просто русские, а есть русские евреи. Так называют тех, чьи предки в своё время пришли в Европу с Востока. И некоторые недобрые и неумные люди за это не любят их. А это нехорошо – все люди ведь равны. Кстати, Господь наш Иисус Христос тоже был еврей. И вообще, я думаю, не обязательно рассказывать о нашем визите к Насте твоим родителям. Ничего ведь не случилось, но они могут огорчиться.

Я кивнула. Этого она могла мне не говорить. Я хорошо знала, что о некоторых наших с тётей Мэри походах лучше промолчать.

Всё же я не утерпела и в тот же вечер, забравшись к папе на колени, принялась излагать ему всё, что узнала. Как потом рассказывал мне папа, я заявила:

– Знаешь, папа, есть люди просто русские, а есть русские, которые евреи. Они пришли с Востока, и некоторые неумные люди их за это ненавидят. А ведь все люди равны. Иисус Христос тоже был русский еврей.

Кажется, папа был вполне удовлетворен тем, как тётя Мэри (больше ведь было некому) разъяснила мне суть еврейского вопроса.

Сложнее оказалось с «Пиковой дамой». Хотя я мало что поняла в повести Пушкина, но с того вечера стала её бояться. Утром, проснувшись, боялась открыть глаза: вдруг ОНА стоит у кровати... И долго не вставала.

А ведь обычно тётя Мэри залёживаться мне не давала. Она входила в комнату с огромным кувшином воды в руках, ставила его на комод и раскрывала настежь окно – в любое время года.

И мне предлагалось тут же, в одних трусиках сделать у окна зарядку. Само собой, этой гимнастике обучила меня тётя Мэри.

После гимнастики я становилась в таз, и тётя Мэри обливала меня водой – холодной водой из кувшина. Я визжала, но тётя Мэри непоколебимо проделывала всё то же самое каждый день. Затем после обливания она быстро растирала меня жёстким мохнатым полотенцем, и мне сразу же становилось жарко, легко и вообще – весело на душе.

Мэри Карловна проделывала эту процедуру каждое утро, даже в воскресенье – единственный свой выходной день. Мы завтракали вдвоём, и только после этого она уходила. Должно быть, жалела маму, старалась дать ей поспать подольше, – ведь и для мамы это был единственный выходной день.

Прогулка в Булонский лес на этот день отменялась, но я о ней не жалела, – зато мне можно было сколько угодно читать. А папа жалел маму: чтобы избавить её от приготовления обеда, он в этот день обычно водил нас в маленькое кафе неподалёку, где мне очень нравилось.

Всё же родителям было трудно без тёти Мэри: вечером никуда не пойдёшь, когда ребёнок дома.

А тут приехала на гастроли в Париж Жозефина Бейкер, известная негритянская танцовщица и певица. В тот вечер она давала концерт в маленьком зале театра в Булонском лесу. Родителям очень хотелось туда пойти, и они решились взять меня с собой. Мне было велено вести себя хорошо, разговаривать тихо и непременно только по-французски, «чтобы не привлекать к нам внимания».

В зале маленького театра нам достались лишь боковые места, что впоследствии обернулось большой удачей.

Зал гудел, жужжал – зрители с нетерпением ожидали начала. Наконец, занавес поднялся, и на сцену вышла рослая, статная, голая Жозефина – на её великолепном теле цвета красного дерева, была лишь короткая, правда, трёхслойная юбчонка из аппетитнейших бананов.

Зал замер, окаменел.

А я обожала бананы. Родители покупали их сравнительно редко, считая, что яблоки и апельсины полезнее.

В восторге я соскочила с места и воскликнула:

– Oh, quelles bananes! Quelles bananes! (О, какие бананы! Какие бананы!).

Зал грохнул. Очевидно, в молитвенной тишине после выхода коричневой богини мой детский голос прозвучал неожиданно громко.

Зрители хохотали, оборачивались к нам, аплодировали... мне. Кто-то даже бросил мне пучок фиалок, изначально, видимо, предназначавшийся Жозефине.

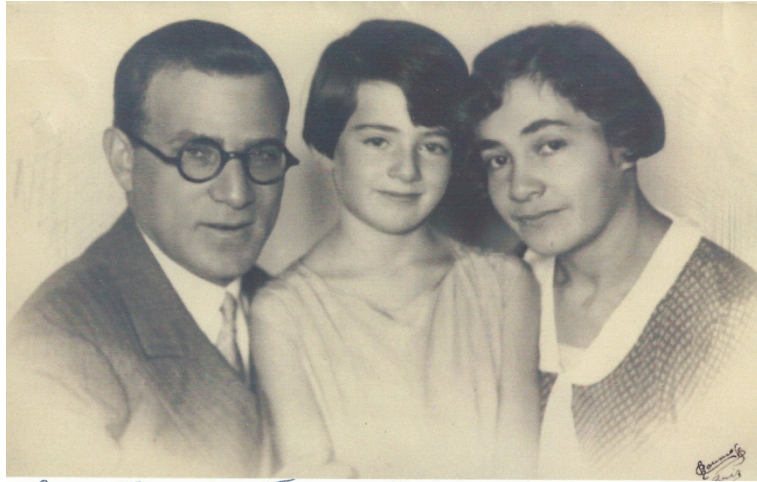
Мама схватила меня за руку и помчалась к выходу. От волнения она сильнее обычного припадала на больную ногу. Папа быстро последовал за нами. Зрители по-прежнему аплодировали, но нам вдогонку раздались и свистки: видимо, не все одобряли наше бегство.

По дороге к такси мама повторяла:

– Я же говорила тебе, говорила... С этим ребёнком никуда нельзя пойти!



Папа молчал. Но уже в такси, откинувшись на спинку сиденья, он расхохотался так же громко, как те люди в театре. Мама только качала головой.



Семья Тархановых. Париж, 1930 г.

Дома мы уже застали тётю Мэри, вернувшуюся из своих воскресных походов. Мама, всё ещё негодуя, рассказала ей о случившемся.

Тётя Мэри вежливо улыбнулась и увела меня спать.

Надеюсь, Жозефина простила мне, что я невольно сорвала ей эффект от первого «явления народу». Знай она, что через сорок лет я напишу и опубликую в «Литературной газете» хвалебную статью о ней, – наверно, простила бы.

А она заслуживала похвалы: в своём имении на юге Франции она устроила семейный детский дом для детей-сирот всех национальностей и рас. Эти дети, усыновлённые и удочерённые ею, в количестве двенадцати человек, были её семьёй. Она стала для них заботливой матерью.

### Уроки музыки

По-прежнему меня преследовала Пиковая Дама. Наконец, даже тётя Мэри заметила необычность моего поведения по утрам. Она видела, что я не сплю, но я не раскрывала глаз, пока она со мной не заговорит. Я нехотя призналась ей, что боюсь Пиковой Дамы. Она вздохнула. Наверно, она давно корила себя за то, что там, в библиотеке, дала мне такое неподходящее чтиво. А я ведь даже не прочитала повести Пушкина, просто пролистала её, пока не увидела ужасный конец. Тётя Мэри первым делом заверила меня, что привидений на самом деле не бывает: их выдумывают писатели, чтобы заинтриговать читателя. И Пушкин хорош: сделал своим главным героем русского немца. А немцы вовсе не склонны к азартной игре. Как правило, они отличаются здравым смыслом.

Зато Чайковский написал на этот сюжет прекрасную оперу. В гостиной тётя Мэри извлекла из шкафа граммофон, который в парижской квартире заводили редко. Она поставила пластинку с записями «Пиковой дамы». И мне очень понравилась ария старой графини («Et c'est mon cœur qui bâte, qui bâte...»), исполняемая, как известно, по-французски. Из страшного привидения Дама превратилась в обыкновенную древнюю старуху (даже старше меня нынешней). А бедный Герман: «Пусть неудачник плачет...». Конечно, он нехорошо поступил с Лизой, а потом и с самой графиней, но он же из-за этого лишился рассудка...

Однажды вечером тётя Мэри прошла к маме в гостиную и робко предложила, что, мол, не пора ли обучить девочку основам музыкальной грамоты или даже игре на пианино?

– К сожалению, сама я сделать этого не смогу, у меня образование рудиментарное<sup>16</sup>... – сказала она.

– Это вообще бесполезно, – недовольно ответила мама. – У неё нет никаких способностей.

– Так, может быть, именно поэтому...

Мама была явно недовольна этим разговором.

Всё же в воскресенье, в отсутствие тёти Мэри, мама позвала меня в гостиную, усадила рядом с собой у пианино. Потом она заиграла, запела. Это было так замечательно, – я сидела, как замороженная. Раньше я знала о маминых талантах только понаслышке. Мама улыбалась, видя мой восторг. Потом она показала мне ноты, научила находить их на клавишах. Долго что-то объясняла, задавала вопросы. Кажется, я отвечала на них невпопад. Мне только хотелось, чтобы она играла и пела. Скоро она отпустила меня со вздохом.

Это был первый – и последний – урок музыки, преподанный мне мамой.

Когда вернулась Мэри Карловна, мама коротко бросила ей:

– С музыкой у нас ничего не выйдет. Она совершенно бездарна. Да она и не хочет учиться играть.

Это была правда. Я сочувствовала маме: наверно, ей было очень неприятно иметь такую дочь, которой, по её выражению, «слон на ухо наступил». И я действительно не хотела учиться играть: мама объяснила мне, что на пианино надо упражняться часами.

Но тётя Мэри огорчилась за меня. Ей мало было того, что она меня закаляла, гимнастикой и прогулками укрепляла моё здоровье. Песталоцци и Фрёбель, а за ними и Рудольф Штайнер, основатель антропософских школ (и в Фульде у нас есть такая, в ней учатся дети одного из моих «русских» студентов), предписывали гармоничное развитие ребёнка, творческие занятия искусством, в ущерб книжной грамотности. Может быть, тётя Мэри жалела, что слишком рано приобщила меня к чтению (хотя, думается, тут не было её «вины», я приобщила сама; должно быть, предки, корпевшие над Талмудом, передали мне соответствующие гены). Её беспокоило, что я, умеющая быстро бегать и прыгать, а также быстро учиться, была так неловка и медлительна в самых простых бытовых операциях.

– Капуха, неряха, – говорила мама. А папа:

– Что скажет твой муж, если ты будешь так медленно поворачиваться!

Но тётя Мэри сокрушенно констатировала:

– Церебральный тип<sup>17</sup>, чистый церебральный тип! Фабий Кунктатор<sup>18</sup>...

А уж это звучало совсем не обидно, очень интеллигентно и научно, как-то даже лестно.

Что было делать? Как потенциальный музыкант я провалилась. К изобразительным искусствам склонности не обнаруживала, равно как и способности, несмотря на все старания тёти Мэри.

---

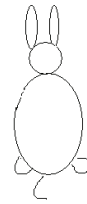
<sup>16</sup> **Рудиментарное** – недоразвитое, находящееся в зачаточном состоянии. В.Ф.

<sup>17</sup> **Церебральный тип** личности характеризуется преобладанием мыслительной, творческой, но физически неактивной деятельности. В.Ф.

<sup>18</sup> Квинт **Фабий Максим Кунктатор** – древнеримский полководец, пятикратный консул. Кунктатор означает «Медлитель». В.Ф.

Как-то я пожаловалась ей, что не умею рисовать животных, и она научила меня рисовать зайца. Вот так:

Это и осталось моим высшим достижением в сфере изобразительных искусств – на всю жизнь.



### Танцевальные радости и огорчения

Но тётя Мэри не унималась. Разузнав где-то адрес школы детского пластического танца, она с разрешения родителей записала меня туда.

И тут, наконец, нас ждал полный успех. Мне было тогда шесть лет, а меня триумфально переводили из класса в класс, пока я не очутилась в самом старшем, вместе с восьмилетними. Тётя Мэри гордилась мной.

Задним числом я поняла, что, как еврейка, т.е. южанка, да ещё «пришедшая с Востока», я просто развивалась быстрее моих сверстников и, наверно, впоследствии они бы меня опередили, но тогда... тогда все меня хвалили, и я изрядно задирала нос. Я сказала «хвалили все», да, все... кроме родителей. Они лишь вежливо улыбались, когда тётя Мэри докладывала о моих успехах. Впрочем, эйфория, в которой я тогда жила, не позволяла мне из-за этого огорчаться.

Милая тётя Мэри... Наконец-то она нащупала для меня стезю к гармонии. Спасибо ей за это. Но я всю жизнь благодарна ей за закалку, за то, что она научила меня терпеливо переносить физические нагрузки и не ныть.

А бояться Пиковую Даму я скоро перестала.

Нашу школу пластического танца лихорадило. Все знали, что владелица школы, француженка, собирается замуж за русского балетмейстера, владельца известного парижского балетного училища. Школа пластического танца закрывается. Но её владелице будущий муж разрешил взять с собой в его училище 25 лучших учениц. А нас было около сотни. И все хотели в балет.

Было решено устроить прощальный концерт. Кто-то сочинил танцевальное действо, идею которого, как я много лет спустя догадалась, частично «слямзили» у Глиэра, – я имею в виду балет «Красный мак». Может, русский балетмейстер её подсказал?

Действо интенсивно репетировали. Финальную – самую главную – сольную партию отдали мне. “Le petit coquelicot” («Маленький Мак» – так это всё действо называлось) – это была я. Тётя Мэри из больших лепестков красной материи сшила мне отличный костюм.

И вот настал день, точнее, вечер концерта. Зал был набит битком: родители, родственники, подружки артистов. Под звуки рояля наш пластический кордебалет демонстрировал своё мастерство. В финальной сцене он вдруг расступился, и на сцену выбежала я, «Маленький мак». Я самозабвенно оттанцевала свою партию, потом старшие девочки на руках подняли меня вверх, оттуда, с высоты, я посылая воздушные поцелуи зрителям (довольно пошлая идея).

Раздался гром аплодисментов. Нас много раз вызывали, особенно меня: “Petit coquelicot! Petit coquelicot!”

Потом мы уселись на сцене, и наша хозяйка зачитала список счастливиц – будущих учениц Балетного Училища. Последней была названа моя фамилия. Снова посыпались аплодисменты.

Мы спустились в соседний зал, служивший нам раздевалкой. Я уселась на стул, блаженно закрыла глаза и мгновение наслаждалась мировой славой... Но где мои родители? Наконец, ко мне сквозь толпу зрителей пробилась тётя Мэри.



– Молодец, Софи! – начала она, но я её перебила:

– Где папа? Где мама?

– Они, к сожалению, не смогли придти. У них какие-то важные дела на службе, – пряча глаза, ответила тётя Мэри.

Только бы не разреветься...

Дома я сразу вбежала в гостиную, где родители уже сидели за ужином, и с порога:

– Почему вы не пришли на концерт? Я так хорошо танцевала!

– Очень рада за тебя, – будничным голосом сказала мама. – Поди вымой руки и садись ужинать!

Но ужинать я не хотела. С порога крикнула ещё:

– Завтра начнется запись в Училище! Кто из вас утром поедет со мной?

– Завтра решим! – сказали они.

Спала я плохо. Утром собралась непривычно быстро, надела праздничную матроску и побежала в гостиную, где родители уже сидели за завтраком. Против обыкновения, они в этот день не пошли на работу.

После завтрака папа сказал:

– Доня, сейчас придёт врач. Он должен тебя осмотреть.

– Зачем? Я здорова!

– Так полагается перед поступлением в балет.

Врач пришёл – симпатичный человек в пенсне. Внимательно осмотрев меня, сказал:

– Деточка, говорят, ты вчера хорошо танцевала. Станцуй, пожалуйста, для меня! Твой вчерашний танец.

Польщённая, я ринулась в детскую – переодеться в «маковый» костюм. Сейчас и родители увидят, как я танцую.

И снова я танцевала, на этот раз под «ля-ля» Мэри Карловны: мама за пианино не села.

Доктор похвалил меня:

– Очень хорошо! А теперь послушаем сердце.

Потом меня усадили в детскую. Я снова надела матроску и вернулась в гостиную.

Врач уже ушёл.

Папа усадил меня к себе на колени и сказал решительно:

– Вот что, доня, ничего у нас с балетом не выйдет. У тебя не балетное сердце. Дома можешь танцевать, сколько захочешь. Но в балетную школу тебе нельзя!

– Я же здорова! Здорова! – закричала я, оглушённая приговором.

– Да, конечно, – согласился папа, – ты здоровая девочка. Но в балет ты всё равно не годишься. Ты же задыхаешься после танца! Неужто ты сама не заметила?

– Все задыхаются! Все!

– Только не артисты балета. Доня, не спорь, – решение принято. Мы сейчас уедем на службу. А Мэри Карловну попросим сходить с тобой в кино. На Чарли Чаплина!

Я ринулась к себе в комнату, бросилась на кровать и рыдала, рыдала...

Мэри Карловна присела рядом со мной на кровать. Но она и не думала утешать меня.

– Cessez de vous lamentis et écoutez – moi (перестаньте стелать и выслушайте меня)! – строго сказала она. – Отказ от балетного училища – не трагедия. Сказал же тебе отец: дома танцуй, сколько хочешь!

– В Союзе дети голодают, толпы беспризорных повсюду. Да что там! Скольких людей большевики отправили на тот свет! Красные спалили наше имение, перебили скот, лошадям языки поотрезали, я же тебе говорила!

Она распалялась всё больше и больше.

– А тут мадемуазель трагедию разыгрывает! Подумаешь, лишилась балета! Я всё в жизни потеряла, скиталицей стала, и то не стенаю. Да подумала ли ты, сколько стоит обучение в такой школе? Этот русский плясун большие деньги берёт. По силам ли это твоим родителям? Они же оба больные люди, работают с утра до вечера, оплачивают эту дорогую квартиру в плюгавом доме, меня держат, сёстрам своим в Союзе помогают. Да ещё каждый год посылают нас с тобой к морю. Ценить надо! А ты: подай ей балет, – и всё тут.

– Ты уже большая девочка. Сейчас же перестань реветь, и пойдём в Булонский лес. А потом в кино.

Так тогда закончился этот эпизод. Для меня это было моё первое большое детское горе.

Спустя четыре года в основных чертах повторился тот же сценарий. Это было уже в столице Норвегии Осло, где мы тогда жили. Я упростила родителей записать меня в балетную школу, где уже танцевали две девочки из советской, как тогда говорили, «колонии».

Но каково было моё разочарование... Четырёхлетние пигалицы с годичным учебным стажем умели много больше меня. У меня ведь не было до этого никакой балетной подготовки. И вдобавок я была «старуха» – 10 лет... Были, конечно, в школе девочки ещё старше меня, но все сплошь уже мастера!

Мне, привыкшей к похвалам в школе пластического танца, всё это показалось особенно обидным.

Дома я упорно тренировалась. Часами повторяла балетные па. Возвращаясь после работы домой, папа обычно заставлял меня в коридоре у зеркала в балетках и пачке, что вызывало у него крайнее раздражение.

Но тут случился донос «товарищ–Беляевой», которая вела у нас, в детском кружке при советском посольстве обществоведение. Это была типичная для тех времен совпартбаба, с короткой мужской стрижкой и мужским галстуком на блузке. Не знаю, какой пост она занимала в посольской иерархии, но её боялись...

Словом, товарищ Беляева донесла в партбюро, что консул Ананов и замторгпреда Тарханов дают своим дочерям буржуазное воспитание: позволяют им танцевать в местной балетной школе.

И папа мгновенно извлёк меня оттуда.

Впоследствии он признался, что сделал бы это и без доноса Беляевой:

– Я боялся, что ты станешь балериной и угодишь в порочную среду.

И на этот раз я огорчилась, но уже не так, как тогда в Париже. Я стала старше, сдержанней.

И рядом не было уже тёти Мэри, чтобы отругать меня и увести в Булонский лес.

### **«Ты даже не понимаешь, как тебе хорошо живётся»**

А тогда, в Париже, филиппика тёти Мэри заставила меня впервые (ненадолго!) задуматься о жизни.

Я, конечно же, понимала, что у меня добрые и заботливые родители, что мне хорошо живётся. Тем более, что мама часто напоминала мне об этом:

– Как тебе хорошо! Ты даже не понимаешь, как тебе хорошо!

Всё чаще и чаще звучал этот рефрен, и всё отчетливей проступал в нём укор. Словно я неправомерно отняла у мамы что-то причитавшееся ей одной и алчно присвоила себе.

Я старалась отогнать от себя это ощущение, уговаривала себя, что мне это только кажется. Но мама была, несомненно, права в одном: я принимала всё хорошее как должное.

Точно так же принимала я, как должное, и красоту Парижа, сам факт проживания в этом неповторимом городе. Я любила мой Булонский лес, меньше – парк Тюильри, куда меня иногда водила тётя Мэри, с почтением относилась к химерам на Соборе Парижской Богоматери, и Монмартр нравился мне больше Версаля. Но уже в Лувре я вела себя, как типичный среднестатистический ребёнок, и донимала тётю Мэри вопросами типа: «А почему у этой женщины нет рук?» (Венера Милосская).

(Не то, что моя внучка Маша: когда я водила её на экскурсию в Кремль, как перебегала она из одного храма в другой, с каким вниманием слушала объяснения гида!.. А ведь было ей тогда тоже не больше пяти – шести лет.).

Наверно, мама тогда завидовала моей беспечности, благо меня сознательно держали в неведении относительно всего, что творилось в Париже. А творились тогда поистине зловещие дела.

Я, естественно, об этом не знала и ничего этого не понимала, но всё же чувствовала постоянную тревогу родителей, мучительное напряжение, в котором они жили.

Как-то раз вечером сидели мы с тётей Мэри на кухне, – мне было дозволено перебирать горох.

Вдруг папа отпер входную дверь ключом и торопливо прошёл мимо нас в столовую:

– Лида! Они похитили Кутёпова!

Тётя Мэри всплеснула руками.

– Кто это – Кутёпов? – начала я...

Но тётя Мэри молча приложила палец к губам.

Папа резко захлопнул дверь в столовую.

Выждав несколько минут, тётя Мэри деликатно постучалась в эту дверь и спросила, можно ли уже подавать на стол.

За ужином царило подавленное молчание.

Когда мы с тётей Мэри снова очутились на кухне, я опять начала:

– А кто это – Кутёпов?

– Кутёпов – русский генерал, – нехотя ответила тётя Мэри.

– А кто его похитил?

– Не знаю. Откуда мне знать? – совсем уже сердито отмахнулась от меня моя наставница.

Но я видела, что она очень взволнована, а правды нипочем мне не скажет.

Только спустя много лет я узнала, что русский генерал Александр Павлович Кутёпов, командовавший корпусом в Деникинской армии и ставший в 1928-м году главой антисоветского «Русского общевоинского союза», был в 1930-м году вывезен агентами ОГПУ из Парижа. При похищении его оглушили хлороформом и засунули в деревянный ящик, который затем



доставили на фрахтовое судно, плывшее в Новороссийск. На пути в этот порт генерал задохнулся в ящике и умер<sup>19</sup>.

Франция стала центром русской эмиграции, и агенты ОГПУ сделали её своим преимущественно оперативным полем.

Всего этого, даже частицы этой истины я по малолетству знать не могла, но хорошо ощущала повседневную нервозность в доме.

В другой раз папа снова вернулся домой в большом волнении. Из нескольких брошенных им фраз я поняла, что покончил с собой его коллега. Естественно, от меня опять отмахнулись, когда я попыталась задавать вопросы...

Летом 1963-го года я гуляла с Лианой<sup>20</sup> и Евгенией Иосифовной<sup>21</sup> в городском парке в Паланге, где мы все тогда отдыхали. К нам подошла женщина, коротко поговорила с ними, потом, вдруг зашепав, кивнула и ушла.

– Кто это? – спросила я.

– Это некая Ф..., – сказала Лиана. Она назвала фамилию, врезающуюся в моё сознание в последний год моего парижского детства, – фамилию того самоубийцы...

– Ты не знаешь, – спросила я с волнением, – она не была в Париже в тридцатые годы?

– Как же, была, – ответила Лиана, – но...

Но я уже бежала вслед за той женщиной, догнала её.

– Скажите, скажите, пожалуйста, наверно, Вы знали моего отца, Аркадия Семёновича Тарханова?

– Да, мы хорошо знали Аркадия Семёновича, – ответила она с какой-то демонстративной торжественностью, но при этом холодно.

Разговор у нас явно не клеился. Я извинилась за свой наскок и ушла.

– Ну, зачем ты за ней понеслась? – укорила меня Лиана, когда я вернулась к ней. – Она дурная женщина. Говорят, что она упростила мужа покончить с собой, когда над ним нависла угроза ареста. Чтобы избежать последствий для себя и дочери.

«Говорят»... Но это... Была в этой женщине какая-то стальная холодность. Но и это ещё и вообще не доказательство...

Зато известна общая ситуация в те парижские годы. Советские агенты заполонили столицу. Ещё до похищения Кутёпова французская «Сюрте» арестовала свыше ста агентов ОГПУ. Но судить их не стали – Франция была слишком заинтересована в сохранении и развитии выгодных для неё торговых связей с Советским Союзом.

А пристальное внимание эмиссаров ОГПУ было обращено не только на эмигрантов, но и на командированных в страну советских работников посольства, торгпредства...

Как, должно быть, трудно было родителям жить в этой атмосфере. Только мне хорошо жилось, как часто повторяла мама. Булонский лес, Версаль, Лазурный Берег... Какой-то детский пир во время гёпэушной чумы...

Раза два тётя Мэри водила меня на ярмарку.

Там у меня глаза разбегались. Качели, карусели – это было мне не в диковинку. Но салтимбанки<sup>22</sup> на ходулях, акробаты, канатоходцы, клоуны, плясуны... На обочине ярмарочного царства стояли цыганские фургоны. Цыганки

---

<sup>19</sup> Это одна из версий места гибели генерала. Документы об обстоятельствах, месте и времени смерти до сих пор являются секретными. В.Ф.

<sup>20</sup> **Лиана** – Юлиана Яковлевна Яхнина, переводчик, подруга и соавтор С.А. Тархановой. В.Ф.

<sup>21</sup> **Евгения Иосифовна** Цедербаум – мать Юлианы Яхниной. В.Ф.

<sup>22</sup> Салтимбанки (Saltimbanco) – фирменное шоу цирка Дю Солей. В.Ф.

плясали в кругу зевак. Какой-то незнакомый мальчик подбежал ко мне, шепнул на ухо:

– Смотри, не убегай никуда – украдут!

Тётя Мэри крепко держала меня за руку.

Мы прошли в павильон кривых зеркал, оттуда в другой павильон, где показывали уродов. Женщина с бородой поставила у своих ног тарелку, и ей кидали туда монетки. Безрукая девушка вышивала скатерть, держа иголку пальцами ноги. В углу павильона сидел печальный карлик – на него почти никто не смотрел. Мне захотелось поскорее уйти.

И мы прошли к площадке, где показывали «гиньоля». Так назывался французский Петрушка. Этот Петрушка то кого-то дубасил палкой, то дубасили его самого. Чаще всего дубасили его. Мальчишки, да, и взрослые парни, плотным кольцом окружавшие будку кукольника, гоготали. Весело ведь, когда кого-то бьют.

Это зрелище меня не увлекло. Хотя сама по себе ярмарка мне очень понравилась – праздничность была неподдельная.

Куда изящней ярмарочного гиньоля были спектакли итальянского театра марионеток «Пикколо», который в это время давал гастроли в Париже. Марионетки двигались в романтических декорациях. Коломбина пела:

Au clair de la lune  
Mon ami Pierrôt,  
Prête – moi ta plume,  
Pour écrire un mot.  
Ma chandelle est morte,  
Je n'ai plus de feu,  
Ouore – moi ta porte  
Pour l'amour de Dieu...

По-русски это звучит примерно так:

При луне, пусть бледной,  
Мой дружок Пьеро,  
Одолжи мне, бедной,  
Ты своё перо.  
Уж погасла свечка,  
В доме нет огня, –  
Написать словечко  
Приюти меня...

(Да простят мне потомки – слабый перевод. Когда-то, очень давно, я именно так перевела эти классические строчки, и сейчас уже поздно исправлять).

Потом появлялся Арлекин... Он мне не нравился. Порода наглых «победителей» мне никогда не импонировала, и я горячо сочувствовала побеждённому Пьеро.

Театр «Пикколо» так хорошо запомнился мне ещё и потому, что туда возили меня родители. Обычно у них не находилось времени для таких забав. Всюду водила меня тётя Мэри.

Это я говорю не в укор родителям. Ведь их не только угнетала общая атмосфера. Обоим приходилось сражаться с серьёзными недугами: папе – с последствиями лёгочного туберкулёза, маме – с деформирующим артрозом тазобедренного сустава, мучительными болями в ноге и хромотой.

Парижские врачи устроили консилиум и отправили маму «на грязи», в знаменитый курорт. Но это лечение привело к обратному результату. Хромота

и боли в ноге лишь усилились. Отныне мама могла ходить, только опираясь на палку.

## **О детских эмоциях и любовных письмах Марины Цветаевой**

Как только мне исполнилось семь лет, меня определили в лицей (Lycée Pasteur)<sup>23</sup>. Я поступила в 10-й класс, т.е. в 3-й класс по российскому счёту. В пять лет поступали в 12-й, т.е. в 1-й класс, затем переводились в 11-й класс, т.е. второй, и так дальше. Учиться мне было легко, – ведь я уже свободно читала и писала по-французски (тётя Мэри научила!), а здесь прибавились три предмета: история, география, естествознание. Тоненький учебник истории я подарила внучке Ленке, а учебник географии по-прежнему лежит у меня на полке. И по-прежнему я эту географию знаю очень плохо...

Писала я по-французски грамотно, но с ужасающими каракулями и кляксами. Гораздо меньше каракуль получалось у меня в тетрадах по арифметике, расчерченных в какую-то особую клетку, не просто квадратики, как в русских тетрадах.

Спустя 35 лет, в 1965-ом году, листки из таких же французских тетрадей, – ворох листков, исписанных знаменитой рукой – легли на мой рабочий стол в редакции «Литературной газеты».

Автором запечатлённых на них страстных любовных излияний, адресованных женщине, была Марина Цветаева – мой любимый поэт. Сходные экзальтированные объяснения в любви писала и Беттина фон Арним<sup>24</sup> (её биография оказалась моей последней переводной работой, увидевшей свет), но она посылала их мужчинам...

Цветаева, жившая в Париже в 30-е годы, писала в таких же тетрадках, какие были в ходу у нас в лицее Пастера, и, понятно, также и в лицее, где учился её сын Мур. Писала она по-французски, в совершенстве владея этим языком, и в этом странном «отсеке» своей эпистолярной прозы тоже оставалась мастером.

Сотни листков исписала она, обращаясь к подруге, жившей в другом городе Франции. Как только умещалась эта страсть в сердце измученной женщины, обожавшей свою семью и страдающей острой тревогой за неё, постоянной заботой о куске хлеба. Загадка.

Письма Марины приносил мне двадцатилетний Слава Бачко, упитанный розовощёкий Купидон, с головой в золотистых кудряшках, как и приличествует Купидону. Он служил курьером в «ЛИЖИ» («Литература и жизнь»), «братской» (на самом деле глубоко презираемой нами, сотрудниками «ЛГ», за ещё бóльшую, чем у нас, реакционность) газете, помещавшейся под одной крышей с «Литературкой».

Но вопреки глупым подозрениям моих коллег, Слава приходил ко мне отнюдь не в своей функции курьера, и я не работала «налево», чтобы урвать для себя какой-то гонорар.

Дело в том, что Купидон из «ЛИЖИ» был коллекционером, страстным коллекционером литературных памятников, так, по крайней мере, он говорил. Письма Марины предназначались для его частной коллекции, а в дальнейшем – для цветаевского музея, который он мечтал создать.

---

<sup>23</sup> Лицей Пастера – один из престижных лицеев Парижа. В.Ф.

<sup>24</sup> Беттина фон Арним (1785-1859) – немецкая писательница и одна из основных представительниц романтизма. В.Ф.

Ко мне его привело то, что Марина на французских листках, как известно, писала по-французски, а он этого языка не знал.

Слава всякий раз кидал мне на стол очередную охапку этих листков, я торопливо переводила ему «с листа», и он столь же торопливо записывал.

Письма Марины к неизвестной подруге были далеко не единственным его приобретением, и коллекция разных литературных «памятников», рукописей, документов, видимо, была у него довольно обширная. Он рассказывал, что покупает всё это по преимуществу у старого и некогда знаменитого, а в последствии «запрещённого» поэта-футуриста Крученых<sup>25</sup>. Тот, мол, лежит вечно пьяный на кровати, под которой стоит огромная корзина, битком набитая «памятниками». Там вроде бы и письма Пастернака были и многих других поэтов. Когда появлялся посетитель – многие знали об этом литературном Клондайке и использовали его, как могли – Крученых просто запускал руку под кровать и вытаскивал наугад пачку листков, причём он наотрез отказывался что-либо отбирать или подбирать, – и продавал тут же каждую охапку за пятёрку. Можно было заплатить и натурой – бутылкой водки, вина, коньяку...

До сих пор не знаю, разумно ли было переводить столь интимные письма Цветаевой с тем, чтобы впоследствии они стали предметом литературного (!) исследования и достоянием гласности<sup>26</sup>.

Но что было – то было.

Да простят меня потомки (если дочитают до этого места) этот бросок в будущее, которое, впрочем, сейчас, спустя столько лет, в свою очередь уже стало для меня далёким прошлым... Бррррр...

Но давно уже пора вернуться из редакции «Литературной газеты» в 12-й класс лицея Пастера, где мы решаем арифметические примеры и задачи в тех самых, впоследствии освоенных Цветаевой, тетрадках в продолговатую клетку.

Наша учительница восседала за кафедрой, перед ней, наряду с учебными материалами, всегда лежала стопка открыток и стояли баночки с леденцами. И тем, и другим она награждала нас за успехи в учении. И то, и другое выдавалось торжественно, прилюдно. Мне часто доставались эти премии – дома у меня был целый альбом лицейских открыток.

Однако на столе у учительницы лежали не только «премии» – там была и линейка, большая и длинная.

Такой в других школах больно били в чём-то провинившихся учеников по рукам, – разные дети рассказывали мне об этом. Но наша учительница никогда не дралась.

Была здесь в ходу лишь одна педагогическая мера, которая всегда вызывала у меня отвращение, хоть мне и не приходилось испытывать

---

<sup>25</sup> **Крученых Алексей Елисеевич** (1886-1968) – основатель «заумного» языка: написал из «неведомых слов» стихотворение «дыр бул щил», ставшее его визитной карточкой:

Дыр бул щил  
убещур  
скуп  
вы со бу  
рлэз.

Кручёных утверждал, что «в этом пятистишии больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина». Его сочли безобидным юродивым от поэзии и перестали замечать. В.Ф.

<sup>26</sup> См., например, Диана Л. Бургин. Мать-природа против амазонок. Марина Цветаева и лесбийская любовь (<http://www.litcentr.ru/person/?id=4>). О публикации переводов писем Марины Цветаевой, выполненных С. Тархановой, мне ничего не известно. В.Ф.



эту педагогику на себе: на голову плохому ученику надевали «bonnet d'âne», т.е. «ослиный колпак», и остальным ученикам разрешалось и даже рекомендовалось дразнить «осла».

Мэри Карловна не удивилась, когда я рассказала ей об этом – практика эта была ей хорошо известна. Само собой, она решительно осудила подобную «педагогику», основанную, по её выражению, «на унижении ребёнка».

Но в целом в лицее жилось привольно, хоть учебная нагрузка – для нас, семилетних, была немалая. Мы учились с 8-ми утра до 12-ти дня, потом уходили домой обедать и отдыхать, а к трём часам снова возвращались в лицей – на два часа. Утренние уроки прерывались большой переменной, во время которой нас выпускали во двор, огромный лицейский двор, окружённый чугунной решёткой.

Съев булочку с шоколадкой (в ту пору традиционный завтрак французского школьника), мы как угорелые носились по двору, играя в салки или в прятки, а не то ещё во что-то в этом роде.

Как-то раз, увёртываясь от преследователя, пытавшегося меня засалить, я с такой скоростью понеслась к ограде, что не смогла затормозить и со всего размаху ударились лбом о толстый чугунный прут. Упала. Встала.

По нынешним правилам (такие сюжеты теперь часто обыгрываются в российских СМИ), мне полагалось бы сразу заговорить на 120 вымерших языках, но нет! – не изумила мир, не заговорила. Зато на лбу у меня вскочила уродливая шишка, и я долго-долго её стыдилась.

Как-то раз, когда я из-за простуды осталась дома, в лицей отправилась мама – сказать учительнице, что я простужена, и заодно справиться о моих успехах. Она подошла к лицу как раз во время большой перемены (что вообще было небезопасно), и тут... Дома мама рассказала нам об этом со смехом, и вообще вернулась весёлая (состояние для неё крайне редкое).

Оказывается, у ворот лица к ней подбежал какой-то мальчик, «с такой же чёлкой, как у Сони» и заявил:

– J'adore votre Sophie et je veux l'épouser, quand je serai grand! (Я обожаю вашу Соню и хочу жениться на ней, когда вырасту!).

– «С такой же чёлкой, как у Сони», – повторила тётя Мэри. – Наверно, это Тотó. Он славный мальчик.

Этого Тотó она хорошо знала. Он всегда пасся на том же участке пляжа в Жуан-Ле-Пене, что и мы. Поэтому мы познакомились с ним ещё до моего поступления в лицей, где он учился в параллельном классе, – ведь он был мой сверстник.

Я несколько удивилась: до сих пор Тотó мне своих матримониальных планов не открывал, даже когда мы стояли с ним, тесно обнявшись, на огромном пляжном гимнастическом мяче (режиссура тётя Мэри), что было запечатлено на фотоснимке.

Что ж, может он, как честный человек, хотел сначала испросить согласия на брак у моих родителей.

А мама всё смеялась, смеялась... Конечно, приятно было видеть ее смеющейся, но я не совсем понимала, отчего ей так весело.

Зато тётя Мэри смех этот не понравился: она считала, что детские эмоции надо принимать всерьёз.

Что ж, может, мы с Валькой<sup>27</sup> и впрямь совершили в своё время педагогическую ошибку, когда громко рассмеялись на заявление маленького

---

<sup>27</sup> Валентин Александрович Островский, супруг автора. В.Ф.

Надёнка о том, что она «по рублику, по трёшечке» скопила деньги на экспонометр для фотоаппарата.

Наверно, совершили. Иначе Надюха не укоряла бы нас за это столь часто. Конечно, мы смеялись, любя, умиляясь её словам. Но ей не нужно было наше умиление, а смех показался обидным. Прости, Надёнок, мы не хотели тебя обидеть...

### Пляж на Лазурном Берегу

Четыре года подряд родители отправляли меня с тётей Мэри в летние месяцы к морю, и я влюбилась в него навсегда.

В первый раз, когда мне было пять лет, нас отослали в Динар, маленький курортный городок в Бретани, на берегу Атлантического океана. Особенно запомнились мне приливы и отливы.

В отлив, чтобы искупаться, надо было долго шагать к воде по плотному, мокрому морскому песку, т.е., по совсем недавнему морскому дну. Это было захватывающе интересно, и я увлечённо собирала ракушки, камни, морские звёзды. Возилась я обычно так долго, что тётя Мэри не выдерживала:

– Ekoutez, – сердито говорила она, – ne pensez – crous pas qu’il faudrait se dépêcher un peu? Si l’on va de train, on arriœra ā la mer justement pour rencontrer la nouvelle marœe, et celle-lā ne nous œpargnera pas! (Послушайте, не кажется ли Вам, что пора бы слегка поторопиться? Таким вот манером мы доберѐмся до моря лишь к следующему приливу, и он уж нас не пощадит!).

Лет 8-9 назад дочка Надя и внучка Лена уже отсюда, из Фульды, порознь наведались в Бретань, и кто-то из них даже заглянул в Динар, мне привезли снимки этого – до сих пор известного – курорта, но на них я «моего» Динара не узнала...

Затем, 3 года подряд, вплоть до возвращения в Москву, родители отправляли нас на Лазурный Берег, в курортный городок Жуан-Ле-Пен (Juan-les-Pins).

В этом прелестном, благоуханном месте оседали в ту пору по преимуществу люди скромного достатка. В воздухе смешивались запахи моря, сосен, эвкалипта, жасмина и уймы других деревьев и цветов (наверно, Наташа Баевская<sup>28</sup> знала бы их всех «поимѐнно»!), и аромат в Жуан-Ле-Пене тех лет стоял чудесный.

Никогда не забуду сосновую рощу (La Pinēde), через которую мы проходили, направляясь на пляж.

Пляж, по понятным причинам, был нашим главным обиталищем. Правда, иногда, во второй половине дня, мы уходили в другое место – на заброшенный участок у полуразрушенной виллы, буйно поросший травой и ирисами. Ирисы эти были великолепны. Даже сейчас, стоит мне где-нибудь увидеть этот цветок, – для меня это всё равно, что встреча со старым знакомым. Тётя Мэри усаживалась здесь в тени с мольбертом и писала свои акварели, а я носилась по участку в поисках разных возможностей для экстремального спорта. Раз за разом я спрыгивала вниз с высоких каменных стен былой ограды, и раз за разом взбиралась всё выше и выше. Тётя Мэри пыталась мне это запретить, но, видя, что она поглощена своими акварелями, я не слушалась.

И, естественно, была наказана за это судьбой. Как-то раз я спрыгнула с самого высокого остова ограды и угодила... в крапиву, густую крапиву ростом

---

<sup>28</sup> Наталия Моисеевна Баевская – друг семьи и родственница В.А. Островского. В.Ф.

с человека. Наверно, я уже тогда была близорука, раз я этой крапивы не заметила. В одних трусиках – в крапиву! То-то визгу было...

В другой раз, когда мы шли к нашей вилле душистой жасминовой аллеей, я по обыкновению отстала от тётки Мэри, чтобы подобрать какие-то камушки, и тут меня догнал большой жирный гусак, предводитель гусиной стаи, и больно ущипнул за ляжки.

Тётка Мэри сокрушенно вздыхала:

– Это всё потому, что Вы – Фабий Кунктатор!

Нет, решительно, безопасней, да и веселей, было на пляже.

Лазурный Берег... Описывать эти места я не буду. Это так восхитительно сделал Набоков в повести «Другие берега», куда мне с ним тягаться. К сожалению, в первом советском издании этой его автобиографической повести, единственном, которое у меня есть, я этого описания не нашла. Наверно, его вымарала советская цензура, чтобы уберечь советских людей от западных соблазнов. Ведь тогда им было невозможно увидеть Лазурный Берег (зато теперь!..).

Наши здешние немецкие друзья, много лет владевшие домом неподалёку от Сен-Тропе<sup>29</sup>, продали его в прошлом году. Наряду с другими причинами этого решения, они назвали также засилье туристов в этих местах, особенно, наглых и крикливых «новых русских».

Вместо открытки с видом современного Жуан-Ле-Пена, о которой я просила, они привезли мне роскошный альбом, посвящённый всему Лазурному Берегу. Был там и снимок Жуан-Ле-Пена – и его, как прежде Динар, я на этом снимке не узнала. Это уже был не мой Жуан-Ле-Пен.

Вместо уютного пляжа с невысокими уютными постройками «в тылу», где помещались кабины для переодевания, душевые, буфет, прокат морских принадлежностей и всё такое, я увидела узкую, жалкую полоску песка, а за ней – огромные, зубастые, будто оскаленные, челюсти каменных высотных отелей.

Они грозно нависали над пляжем, но также и над морем. Купаться, барахтаясь в этих оскаленных челюстях, наверно, страшно, не только детям, но, думаю, даже взрослым.

Недаром западные газеты пишут, что Лазурный Берег «забетонирован», дескать, он «утонул в бетоне».

Не надо мне такого Жуан-Ле-Пена и такого пляжа.

Но тогда... конечно же, пляж был центром нашей жизни. В песке копошились дети из разных стран. И пока я играла с ними или резвилась в море (тётка Мэри научила меня плавать по-собачьи, а лучше она и сама не умела), тётка Мэри беседовала по-английски с гувернанткой маленькой бледной девочки из Лондона, к которой никак не приставал загар. Пытались определить её мне в подруги. Но мне было с ней неинтересно. Интереснее было с Тотó и, особенно, – с Жаном.

Как уже было сказано, трижды мы с Мэри Карловной приезжали в Жуан-Ле-Пен, и Тотó тоже всегда был при нас – не помню, кто его сопровождал.

И каждое лето к нам сюда приходил или приплывал на катере Жан, степенный мальчик на три года старше нас с Тотó. Он постоянно жил в Антибе<sup>30</sup>, где у его отца было небольшое кафе.

---

<sup>29</sup> В наши дни Сан Тропе (ещё это название переводят как Сен-Тропез и Сан-Тропез) – самый фешенебельный курорт на всём французском «Лазурном Берегу». В.Ф.

<sup>30</sup> Антиб – курортный город на Лазурном Берегу Франции, второй по величине (после Ниццы). Расположен на мысе Гаруп Средиземного моря между Каннами и Ниццей. В.Ф.

Самые интересные игры всегда придумывал он. С его лёгкой руки мы сделались путешественниками – мореплавателями.

Втроём мы вырыли из мокрого песка большую лодку, – и пустились в плавание. Жан был нашим капитаном, а мы его матросами, гребцами. Тётя Мэри с пляжа одобритительно кивала:

– C'est ça, mes enfants, гребти очень полезно!

Капитан даже притащил откуда-то настоящие (детские) вёсла. Случалось, нашу лодку заливали волны или, наоборот, песок высыхал настолько, что лодка осыпалась. Но мы всякий раз терпеливо и старательно её восстанавливали.

Жан стоял на корме, зорко глядя в подзорную трубу (свёрнутый в трубку мамин журнал мод), и время от времени отдавал нам короткие команды (которые я ни по-французски, ни по-русски запомнить не смогла), а мы усердно гребли.

На нашем «судне» мы совершали одно за другим фантастические путешествия. Жан выложил на борту – красными пуговицами – моё имя: «Sophie».

Конечно, сначала я была этим польщена, но потом застеснялась и, когда Жан объявил, что мы поплывём маршрутом Колумба, чтобы достичь Индии, – я попросила заменить моё имя названием знаменитой каравеллы – «Санта-Мария».

В отличие от Колумба, отчалившего с благословения Изабеллы Кастильской, если я не ошибаюсь, из португальского Палоса, – мы вышли из гольфа Жуана и поплыли на Запад мимо берегов Испании, прошли Гибралтар...

Нетрудно догадаться, что наша с Тотó историко-географическая эрудиция была почти во всех деталях получена от Жана, который давно увлекался подвигами Колумба.

Мы предприняли не одно путешествие в ту же сторону, на запад, как, впрочем, и сам Христофор Колумб, совершивший одно за другим четыре плавания.

Но, в отличие, от него, мы Америку не открыли.

Думаю, этому помешал мой отъезд из Жуан-Ле-Пена в Париж, а затем из Парижа в Москву.

В последний раз мы с тётей Мэри приехали в Жуан-Ле-Пен в 1931-м году. Я объявила моим друзьям, что скоро уеду в Союз.

Тотó, кажется, никак не реагировал на эту новость, но Жан коротко обронил:

– Так. Надо поговорить.

И указал на скамейку, стоявшую неподалёку. Мы сели.

– Вот что, – начал Жан, – я думаю, ты согласна выйти за меня замуж?

– Да, да, конечно, – ответила я, – только сейчас мне надо ехать в Москву!

– Сейчас нам всё равно не разрешили бы жениться, – усмехнулся Жан. – Но ты обязательно должна вернуться сюда через 10 лет. К тому времени отца уже не будет в живых, и владельцем кафе стану я. Я буду вести дело, а ты сядешь у кассы. Согласна?

– Дааа – только мне не очень хочется сидеть у кассы...

– Ну, знаешь, иначе нельзя. Не можем же мы доверить наши деньги чужому человеку!

Когда много лет назад я рассказала этот эпизод Вальке, он рассмеялся и сказал, что Жану повезло: если бы его план осуществился, и я села у кассы, меня наверняка бы обжулили, и кафе потерпело бы банкротство...



За день до нашего отъезда в Париж Жан пришёл – впервые за всё время – в наш пансион, в аккуратном костюме – длинных брюках и при галстуке. Он молча протянул мне подарок – маленькое коралловое ожерелье.

Оно было прелестное, и я смутилась:

– Жан, спасибо, ожерелье очень красивое, но, наверно, очень дорогое. Ты попросил денег у мамы?

– Не беспокойся, – ответил Жан. – Я ничего ни у кого не просил. Купил тебе подарок на собственные деньги. Я просто разбил мою копилку.

Мы торжественно пожали друг другу руки. И Жан ушёл.

Я много лет хранила это коралловое ожерелье, пока его не выкрали у меня вместе с серебряным «Крестом почёта» (Croix d'honneur), которым меня наградили в лицее.

### Возвращение в СССР

Задним числом мне, конечно, совестно, что тогда я не очень огорчилась разлукой с Жаном. Как, впрочем, и разлукой с тётей Мэри, что ещё хуже. А ведь я была к ней очень привязана, как, должно быть, и она ко мне.

Просто я жила радостным ожиданием отъезда в Союз, в этот странный, незнакомый мир, который вроде бы был моей родиной.

Казалось бы, вести, долетавшие из этого мира даже до меня, восьмилетней девчонки, были не столь уж радужны. Из обрывков родительских разговоров, из эпизодического просмотра русских эмигрантских газет, которые папа так тщательно прятал от меня, что лишь дополнительно возбуждал этим моё любопытство, а, главное, из редчайших, но куда как убедительных всплесков откровенности тёти Мэри, я должна была вынести довольно мрачное впечатление.

Но нет... всё это разом отшибло, и оставалось одно радостное ожидание.

Мне кажется, тётя Мэри, с её огромным педагогическим опытом, понимала это и не сердилась на меня. Я видела, что ей грустно, и жалела её, и чувствовала себя виноватой оттого, что сама грустить не могла, а всё равно радовалась...

Думаю, тётю Мэри волновала ещё и вполне реальная проблема: ведь с нашим отъездом она теряла работу, и ей надо было позаботиться об устройстве на новое место.

Как-то раз она спросила меня:

– Ты не знаешь: твои родители ещё поддерживают отношения с семьёй Горького?

– А кто это – Горький? – спросила я.

– Стало быть, не знаешь, – вздохнула тётя Мэри.

Я, конечно же, помнила, что тётя Мэри перешла к нам тогда, в Берлине, от Пешковых (мама не раз об этом рассказывала). Но о самом Горьком я ничего не знала.

Может быть, тётя Мэри надеялась, что знакомое семейство или даже сам знаменитый писатель, – смогут что-то для неё сделать, как-то помочь ей в устройстве.

А буреви́ст революции в это время ещё жил в Сорренто, но уже готовился вернуться в Советский Союз. В отличие от меня, он должен был понимать, куда едет. Но его так обхаживало ОГПУ, так убеждали его штатные и внештатные агенты этого заведения, что его страстно ждёт весь советский народ, что он решился...

Виталий Шенталинский<sup>31</sup> в своей книге «Рабы свободы. В литературных архивах КГБ», вышедшей в Москве на русском языке в 1995-м году, а ещё раньше, в 1993-м году, на французском языке, в Париже, сообщает, что Ягода, часто наведывавшийся в Сорренто, чтобы держать буревестника под контролем, вскоре после похищения Кутёпова рассказал об этом Горькому во всех деталях, поскольку очень гордился этой акцией. Кажется, писатель был не рад этой откровенности, но, ничего, – проглотил и это.

Он должен был «основоположить» социалистический реализм и написать книгу, прославляющую Сталина. Первую задачу он выполнил, а вторую (к чести его будь сказано?) – нет, несмотря на гигантский нажим, которому подвергался уже в Москве, в своём роскошном особняке на Малой Никитской. За это он и расплатился жизнью...

Впрочем, может быть, его подтолкнула к возвращению в Союз и такое простое и почти неизбывное для большинства русских людей, в том числе и для тех из них, «которые евреи», чувство, как тоска по России.

Я думаю, что и Мэри Карловна страдала тоской по России, хоть она и никогда об этом прямо не говорила. Но для чего сохраняла она советский паспорт и регулярно ходила продлевать его в советское консульство?

Уже перед самым нашим отъездом в Москву тётя Мэри сказала мне:

– Прошу тебя, месяца через два-три, когда ты уже осмотришься на месте, – пришли мне письмо! Только первым делом обязательно напиши, что вам очень хорошо живётся, понимаешь, это для цензуры. А всю правду расскажешь как бы про своих кукол, понятно? Сделаешь?

– Конечно, тётя Мэри, – пообещала я.

Через два месяца, в Москве, я отправила тётке Мэри такое письмо:

«Здравствуйте, дорогая тётя Мэри!

Мы живём очень хорошо. Папе дали квартиру 27 метров с удобствами. Мебели пока нет, родители спят на моей парижской кровати, а я на раскладушке. Но всё постепенно устраивается. Папе дали ордер на ситец, и мы отоварились в распределителе. Теперь у нас на кухне висит занавеска с домнами, а над моим столиком, где я буду готовить уроки, с тракторами. Потому что у нас индустриализация.

Только моим куклам живётся хуже некуда. Голодные, вдрызг пьяные, грязные и в лохмотьях, они всюду валяются на тротуарах и даже на мостовой. Милиционеры поднимают их пинками.

До свидания, дорогая тётя Мэри, будьте здоровы. Целую. Соня».

Мэри Карловна не приехала.

## Послесловие

Зачем я всё это написала? Конечно, прежде всего, чтобы отдать дань памяти Мэри Карловне, сделавшей мне много добра.

Но я чётко сознаю, что есть и другая причина. В конце жизни человека он всё чаще возвращается мыслями к детству, да ещё к раннему. Это известный и зловещий симптом. Я попросту не могу избавиться от наплыва воспоминаний, – они одолевают меня. Хотя сейчас, после того, как я завершила мой рассказ о Мэри Карловне, стало немного легче.

**4 октября 2004 г., Фульда**

---

<sup>31</sup> Виталий Александрович Шенталинский (1939 г.р.) – русский и советский писатель, поэт, журналист и общественный деятель. В.Ф.

## Послесловие к послесловию

Сегодня около полудня дети – Надёнок и Лотар<sup>32</sup> – спустились со своего 2-го этажа на наш первый, чтобы поздравить меня с днём рождения. Среди множества щедрых даров я обнаружила маленькую серенькую коробочку.

– Открой её, – сказала дочка.

Я открыла её и...

Те, кто прочитал «Мэри Карловну», наверное, помнят, что перед моим отъездом из Жуан-Ле-Пена в Париж, а оттуда – в Москву, мой приятель Жан на прощанье подарил мне прелестное ожерелье из красных кораллов. Дело было в 1931-м году. Жану тогда было 11 лет, мне – восемь.

Я увезла его подарок в Москву и всегда бережно хранила его. Но вот в 1933-м году пришла пора собираться в дорогу – вслед за отцом, которого командировали на работу в Норвегию.

Я хотела взять с собой ожерелье, но на месте его не оказалось. Сколько я ни искала – все поиски были бесполезны. Ожерелье загадочным образом пропало.

Но вот спустя 70 с лишним лет, открыв – в доме зятя Лотара на Мильзебургштрассе в Фульде<sup>33</sup> – подаренную мне Надюхой серенькую коробочку, я увидела то самое маленькое ожерелье из красных кораллов...

– Не то самое, а точно такое же! – поправила меня дочка, противница всякой мистики.

Оказывается, идея подобного подарка пришла ей в голову при прочтении «Мэри Карловны».

Спасибо, Надёнок! Сюрприз удался.

Я очень рада и благодарна.

19 июня 2005 года,  
Фульда.

---

<sup>32</sup> Лотар Фишер – супруг Нади. В.Ф.

<sup>33</sup> **Фульда** (*Fulda*) — девятый по размеру город федеральной земли Гессен, центр региона Восточный Гессен. Город обязан своим именем протекающей по нему реке Фульде. Находится в центре Германии на пересечении дорог между Гамбургом на севере и Мюнхеном на юге, Кёльном на западе и Дрезденом и Берлином на востоке. Население 64 тыс. чел. (2010 г.).

В городе расположено крупное производство автомобильных шин для грузовых автомобилей (торговая марка *FULDA*) и производство датчиков и систем промышленной автоматизации. Крупное высшее учебное заведение Университет прикладных наук.

В Германии Фульду называют «колыбелью католичества», так как здесь расположен один из важнейших для немецкой истории монастырей – Фульдское аббатство. Его основание в 744 году стало началом истории города. Получил городские права в 1114 году. С февраля 2006 г. в Фульде существует приход Берлинской Епархии Русской православной церкви Московского патриархата. В.Ф.

## Рассказы о родственниках

### О Моисее Ефимовиче Гутмане

Я росла, не зная ни бабушек, ни дедушек: у них была очень недолгая жизнь. Только бабушку Розалию Осиповну я видела один раз в 1931 году в Таганроге, в саду у Файнов. Мы только что вернулись из Парижа, где кончился наш «срок», т.е. срок папиной работы в Торгпредстве. Вскоре папа получил маленькую квартиру в доме Наркомлегпрома на Чистых Прудах, где мы прожили, с перерывами, 20 лет. Мы уехали в Москву, а в 1933 году папа был командирован на работу в Осло. Уже в Норвегии в 1934 году мама получила известие о смерти бабушки.

Постараюсь собрать воедино то немногое, что я ребёнком слышала от мамы. По преимуществу это были жалобы на мать, изредка – на отца, которого вообще-то глубоко уважала. Эти жалобы были мне неприятны, и я не очень внимательно прислушивалась к материнским рассказам. Но и впоследствии, в юности и даже в зрелом возрасте я никогда не пыталась расспросить её о прошлом. И, конечно, не только потому, что она о людях, как правило, отзывалась недоброжелательно: если честно, мне просто казалось, что «всё это» было когда-то давным-давно, во времена допотопные, и уж во всяком случае, не имело никакого отношения ко мне и, тем более, к моим детям.

Распространённая аберрация. Слишком поздно приходит интерес к жизни предков, сознание важности и ценности сведений о них, – но тогда уже не у кого и спросить.

Помимо познавательного интереса к людям, которых ты никогда не знал и не видел, и запоздалого осознания родства с ними, вдруг возникает эмоциональная связь – чувство близости, привязанности к некоторым из них.

Самой обаятельной фигурой в длинном ряду незнакомых родичей представляется мне мой дед – доктор Моисей Ефимович Гутман.

Дед родился в 1870 году<sup>34</sup>. Семья деда жила в Орше. В семье было 10 детей. Дед был старшим. Семья была очень бедная. Кажется, единственным источником каких-то доходов (если вообще это слово здесь уместно) служила крохотная лавчонка, где продавались чай, кофе, пряности, как тогда говорили, – колониальные товары. В лавке трудилась бабушка (т.е. моя прабабушка), потом – по мере «подрастания» – подсобляли и дети.

Дедушка (т.е. мой прадедушка Ефим<sup>35</sup>) в лавку не спускался. Он днями и ночами изучал Талмуд. Мама рассказывала (естественно, тоже по чьим-то рассказам, поскольку сама она никогда его не видела), что он был необыкновенно красив. Его жизненный путь, до полного погружения в Талмуд, мне неизвестен.

Прабабушка вроде бы была женщина умная, самоотверженная и необыкновенно энергичная. Иначе она, наверное, не смогла бы прокормить семью, вырастить детей. Судя по всему, она была ещё и прекрасным организатором: взаимопомощь в семье была налажена идеально. Все дети прекрасно учились, и притом, в гимназии. По бедности и в награду за успехи

---

<sup>34</sup> Из метрических записей следует, что он родился в 1868 году. В.Ф.

<sup>35</sup> Не был он Ефимом, его звали Хаим. В Ефимовичи переименовали уже нашего деда – в конце его жизни, когда в России массово русифицировали еврейские имена. В.Ф.



они были освобождены от платы за обучение. Старшие дети, прежде всего наш дед Моисей Ефимович (только тогда он был не дед, а просто умный еврейский мальчик) давали уроки богатым балбесам и всё заработанное отдавали в семью, что было для нее важным подспорьем. Мальчик Моисей, кажется, репетиторствовал чуть ли не с восьмилетнего возраста. Но и потом, много позже, – говорила мама, – он всегда помогал младшим братьям и сёстрам. Из них я знала только дядю Абрашу, дядю Соломона и тётю Женю. Но о них позже.

Кажется, у прабабушки был ещё один небольшой источник доходов: в то время умные еврейские женщины, пожилые, с большим жизненным опытом, часто делали то, что полагалось делать у христиан – священникам, у евреев – раввинам. (Впоследствии, на беду страдающих людей, этим занялись психиатры и психологи). К таким женщинам приходили за советом разные люди со своими проблемами, со своей болью. Возможно, посетительницы (это почти всегда были женщины) в благодарность советчице оставляли кто головку сыра, кто курёнка...

То же самое рассказывал мне папа (это уже другой род) про *свою* маму, мою бабушку Софью. К ней тоже приходили за советами, и она тоже, будучи главой очень бедной семьи, наверное, радовалась скромным приношениям своих подопечных. Вообще, этот тип умной, властной еврейской «мамаши», распорядительницы и командирши, тогда, видимо, встречался довольно часто. Во всяком случае, помимо прабабушки Гутман и бабушки Софьи, к этой же когорте в нашем роду принадлежала некая легендарная Федосья Соломоновна. Вот только кем она приходилась дедушке Моисею – бабушкой, тёткой или...? К стыду своему, не знаю – не догадалась спросить, когда можно было. Я даже не знаю, как звали прабабушку Гутман.

То ли она сама (мне кажется, она бывала в Таганроге), то ли дедушка Моисей Ефимович рассказали маме такой эпизод. Однажды прабабушка накрыла на стол и позвала всю семью (12 человек!) обедать. Все сели за стол и принялись есть, только прадедуска никак не мог оторваться от Талмуда и всё твердил: «Сейчас, сейчас». Отобедав, все встали из-за стола и разошлись каждый по своим делам. Прабабушка в сердцах всё убрала со стола, в том числе и прадедушкин прибор. Наконец, прадедуска встал, подошёл к столу, но, увидев, что всё уже убрано, кротко и растерянно улыбнулся и ласково сказал жене:

– Ах, дорогая, до чего же я стал забывчив! Оказывается, я уже пообедал, но тут же об этом забыл. Спасибо, дорогая, всё было очень вкусно.

Не вынеся этой ангельской кроткости, прабабушка тут же снова накрыла на стол и подала прадедуске обед.

В детстве, когда мне поручали убрать комнату, я, помнится, охотно бралась за дело, но всякий раз, с какой-то роковой непреложностью, оказывалась у книжной полки, с книгой в руках, и самозабвенно читала. Мама раскрывала дверь, с досадой восклицала:

– Кланялся тебе прадедуска!

И отбирала книжку.

Дедушка Моисей Ефимович изучал медицину в Санкт-Петербурге. Вдвоём с приятелем, таким же студентом, снимал где-то комнату, которая почти не отапливалась. У друзей был на двоих только один комплект приличной одежды. Поэтому в университет ходили по очереди: один сидел в аудитории, слушал и записывал лекции, другой в то же время лежал в кровати, закутавшись в одеяло, и тщательно изучал весь предыдущий учебный материал. На другой день в аудитории появлялся тот, кто накануне занимался в постели. Видимо, крайняя бедность не помешала друзьям блестяще окончить медицинский факультет и затем столь же блестяще осуществлять своё призвание.

Как и почему дед переселился в Таганрог, я не знаю, как не знаю и того, при каких обстоятельствах он встретил бабушку – Розалию Осиповну Сабсович. Знаю лишь, что у неё был диплом акушерки<sup>36</sup> (немалое достижение для женщины по тем временам!), так что можно лишь предположить, что знакомство состоялось в профессиональной среде.

Согласно преданию, дед женился в возрасте 25 лет. Голова его в ту пору была вся в кудрях, уже почти совершенно седых. (Вот откуда мамина, а затем и моя, ранняя седина.)



Доктор М.Е. Гутман, ок. 1895 г.

Врачебная практика, видимо, шла успешно. Мама родилась в Таганроге в 1898 году в том же доме, где впоследствии родилась и я, а ещё раньше, в 1907 году, – Зиночка, мамина младшая сестра. У семейства Гутман был свой дом с садом. В 1939 году, когда я ненадолго, что называется, заглянула в Таганрог, мне этот дом показали. Вид у него был блекло-серый, запущенный и унылый. Проживали в нём, естественно, чужие люди.

За мамой ухаживала няня, как впоследствии, очевидно, и за Зиночкой. Была у сестёр и гувернантка, обучавшая их немецкому и французскому языкам. Мама говорила, что дед придавал важное значение изучению языков. Сам он совершенно самостоятельно изучил три языка – немецкий, английский и французский – и свободно читал на всех трёх языках любую литературу, не только медицинскую, но говорил плохо, поскольку разговорной практики у него никогда не было, и с плохим произношением, поскольку в ту пору не было магнитофонов, учебных кассет и т.п., не знаю, было ли в быту радио.

Дед был замечательным врачом и пользовался в Таганроге не только большой известностью, но и уважением и любовью. Бессребреник, он, как рассказывала мама, принимал врачебный гонорар только от богатых, у бедных же принципиально денег не брал и, случалось, даже оставлял бедным пациентам, в добавление к рецепту, ещё и деньги на покупку лекарств. Мама говорила, что он лечил и семью Чеховых.

<sup>36</sup> Наша бабушка Розалия была зубным врачом. Не знаю о дипломе акушерки – возможно, Софья Аркадьевна просто ошиблась. В.Ф.

Был он человеком высоконравственным. Его нравственный авторитет в семье был непререкаем, оставался таким даже после смерти. И мама, и Зина глубоко уважали его. Даже мама, всегда жаловавшаяся на всех, особенно на Розалию Осиповну, предъявляла претензии к отцу только в двух случаях. Мама говорила, что её послали учиться игре на фортепиано к плохому учителю, из-за чего она якобы впоследствии не допустила, чтобы и Зиночку «калечил» тот же *недотепа* и добилась того, что для Зины наняли другого – хорошего – учителя. Вторая претензия: когда в Петербурге разразилась революция, дед отозвал оттуда 18-летнюю Лидочку, только что поступившую там в Консерваторию, и тем самым навсегда лишил дочь возможности осуществить свою мечту – стать профессиональным музыкантом.



М.Е. Гутман с дочерью Зиной. Ок. 1913 г.

Что ж, возможно, дед и впрямь не знал, какой учитель музыки хорош, а какой плох, наверное, доверился чьей-то рекомендации. А по пункту второму обвинения – совершенно очевидно, что отец *не мог не вызвать* дочь из «горнила революции». То, что не сбылась её мечта о музыкальной профессии, конечно, очень грустно, но виноват в этом не дед, а обстоятельства тех лет – общеполитические, да и конкретно-семейные: в 1920 году, после смерти деда, мама вышла замуж за моего папу. Через год у них родился сын – Моисей. Но мальчик прожил всего несколько дней. В 1923 году родилась я. А папа в это время тяжело заболел туберкулёзом и уехал лечиться в Германию, где в Тодмоосе его спас от смерти знаменитый профессор Зауэрбрух, сделав ему операцию на лёгком (пневмоторакс, торкопластика).

В 1926 году мы уехали в Берлин, где родители работали в Торгпредстве.

Так что в том, что маме не удалось закончить консерваторию, дед никак не виноват. Так сложились обстоятельства, и я не понимаю, как она могла за это упрекать отца.

Не знаю, была ли бабушка «злодейкой», какой представляла её мама. Думаю, она просто была очень больным человеком – страдала эпилепсией. В припадке эпилепсии она и умерла, 56 лет от роду.

Рассказывали, что она была очень красивая и необыкновенно величественная. В семье она королевствовала, а дедушка, как человек очень добрый и мягкого характера, не перечил ей.



Розалия Осиповна Гутман (Сабсович)

В тот единственный раз, когда я увидела её у Файнов (в 1931 году в Таганроге), бабушка сидела в кресле в саду, почти совсем тёмном от разросшихся древесных крон, хотя, помнится, стоял яркий солнечный день. Может быть, поэтому мне не запомнилось её лицо, да и вряд ли я её как следует рассмотрела, ведь в 8 лет я уже была изрядно близорука, хоть и не понимала этого. Помню только, что за всё время, пока я бегала по саду, бабушка ни разу не поднялась с кресла, а продолжала неподвижно сидеть в густой тени деревьев. Она подозвала меня к себе и милостиво подарила мне красивую маленькую солоночку с ложечкой. Я сказала «спасибо» и убежала. Она меня не удерживала, видно, она ничего ко мне не чувствовала, не воспринимала меня, как внучку. Но и я тогда нисколько не обиделась – не понимала, что может – и должно – быть иначе. Но, видимо, болезнь была причиной, очевидно, свойственного ей эмоционального оскудения.

Яша Файн<sup>37</sup> со смехом рассказывал мне, как – когда её навещали Зина с маленьким Витей – она приказывала прислуге:

– Феня, принесите ребёнка!

Поиграв с младенцем минут 5-10, она отдавала следующий приказ:

– Феня, унесите ребёнка!

Повторяю, эмоциональное оскудение могло быть следствием болезни. Кажется, все потомки унаследовали от неё ранимую нервную систему. Но **никто**, слава Богу, не унаследовал эпилепсии.

Наверное, даже наверняка, деду было с ней очень нелегко. Но не мог такой умный и замечательный человек полюбить женщину изначально ничтожную.

Когда я недолгое время жила у Зиновки в Ростове в 1939 году, я увидела у неё на полке красивую коробочку, которую мне захотелось рассмотреть – она была палехская. Я сняла её с полки и раскрыла. В ней была записка со словами: «Люблю Тебя. Твой мужь». Мне стало неловко, что я прикоснулась к таинству. Зиновка подтвердила, что коробочка была подарена её отцом Розалии Осиповне.

Стало быть, он всегда её любил.

---

<sup>37</sup> Яков Михайлович Файн, мой отец. В.Ф.



## О дяде Абраше, тёте Жене, дяде Соломоне и других

Во время Гражданской войны в стране свирепствовала эпидемия сыпного тифа. Дед был назначен главным врачом инфекционной больницы. Там он заразился сыпным тифом и умер. Ему было всего лишь 50 лет.

Как жалко, что мы разминулись с ним в этом мире!

Именно нашему деду посвятил его брат Абрам Ефимович Гутман («дядя Абраша»), он же поэт А. Оршанин, своё лучшее стихотворение, начинавшееся словами:

Есть заповедь одна: гореть ты должен  
И вспыхнувший огонь раздуть в пожар!  
На миг у неба пламень твой одолжен  
И в срок вернёшь ему ты сердца жар.

Дедушка Моисей всей своей жизнью эту заповедь осуществил.  
И сгорел безвременно.



60-е годы. Москва. Квартира на Аэропортовской.

Стремительный темп жизни, работа, хлопоты о семье (хоть я и **всё всегда** делала с удовольствием) не позволяли мне часто разглядывать старые снимки. Но вот однажды я почему-то всмотрелась в очень старую фотографию, на которой запечатлена семья доктора Гутмана: сам Моисей Ефимович, Розалия Осиповна, беременная (Зиночкой), 8-летняя девочка в гимназической форме (моя мама Лида) и неизвестная мне бабушка рядом с Моисеем Ефимовичем.

Глаза дедушки Моисея... Его взгляд... Поза... Всё это вдруг поразило меня: ведь я всё это **знаю**, мне это так знакомо, я **видела** всё это... И вдруг меня осенило: эти глаза, этот взгляд, эта поза... да это же Ольга<sup>38</sup>! Наша Ольга!

Конечно, непросто было опознать в молоденькой тоненькой девушке (Олька была тогда студенткой) милого бородатого доктора Гутмана, но не видеть сходства было нельзя. Оно **только** в глазах, во взгляде, в чём-то неуловимом... Его признали все члены семьи, в том числе и сама Ольга.

Примерно тогда же она, кажется, возвращаясь со студенческой практики, побывала в Ростове у Зиночки.

И сегодня, 11 декабря 1999 года, Оля сказала мне (я позвонила ей во Франкфурт из Фульды):

– Мама, а ведь я тоже видела коробочку, о которой ты пишешь! Зиночка сама показала её мне, когда я была у неё в Ростове. И я тоже прочитала записку: «Люблю Тебя. Твой муж».

## О дяде Абраше, тёте Жене, дяде Соломоне и других

Абрам Ефимович Оршанин (Гутман) был родным братом нашего дедушки Моисея Ефимовича Гутмана и, кажется, вторым по старшинству из детей семьи Гутман. Старшим был наш дед Моисей Ефимович. Всего детей было 10. Семья жила в Орше (отсюда псевдоним – Оршанин), была очень бедна. Старшие сыновья – Моисей и Абрам – оба исключительно одарённые и прекрасно учившиеся, с ранних гимназических времён давали уроки богатым балбесам и этим поддерживали семью, младших детей.

В отличие от Моисея Ефимовича, никогда не бывавшего за границей и выучившего английский, французский и немецкий самостоятельно, Абрам

<sup>38</sup> Ольга Васильевна Мамонтова, старшая дочь С.А. Тархановой. В.Ф.

Ефимович учился за границей, в Германии. По специальности он был металлургом и потом много лет преподавал металлургию в Москве, кажется, в Промакадемии.

Стихи он писал с юных лет, пользовался определённой известностью в литературных кругах, был другом известного литературоведа Михаила Гершензона<sup>39</sup>. Насколько я знаю, он не предпринимал никаких попыток печататься после революции.

Мама говорила, что в молодости он был необыкновенно красив, прекраснокудр. Когда я познакомилась с ним, увы, даже следов этой красоты, как и волос, уже не осталось – у него была типичная внешность еврейского профессора, каким он и был в своём учебном заведении. В жизни у него была дружба, а, может, и поэтический роман, с Марией Вениаминовной Юдиной<sup>40</sup>, известной пианисткой.

Женился он на другой, тоже талантливой и, возможно, известной в своё время пианистке, которую мама называла «тётей Броней» и с которой потом, уже после смерти дяди поддерживала тёплые дружеские отношения. Бронислава...(увы, не помню её отчества, я ведь тоже называла её «тётей Броней»)<sup>41</sup> оставила свою, как теперь говорят, карьеру, ради дяди и всецело посвятила себя служению ему. Супруги были бездетны. Может быть, отчасти поэтому, после короткой случайной встречи у других родственников (у тёти Жени, сестры Моисея и Абрама Ефимовичей, на Красносельской) они так полюбили меня, так привечали меня в своём доме, строго-интеллигентно-профессорском, с белыми полотняными чехлами на креслах и диване, и так хвалили мои слабые стихи. Мне было 16 лет, и, наверное, я «скучала по дедушкам и бабушкам», ведь в моей жизни их не было, да и как не радоваться, когда умные пожилые люди всерьёз относятся к твоему «творчеству», разбирают твои стихи и даже хвалят их. Я часто приезжала к ним на дачу в Малаховку – и там было всё то же – мы с дядей читали друг другу написанное, тётя Броня играла для нас на рояле, меня поили чаем с домашним вареньем и любили. Тогда-то дядя и подарил мне копии своих стихов, которые я сберегла<sup>42</sup>. Тётя Броня умерла в 1949 году.

Хранятся у меня ещё и другие стихотворения дяди Абраши. Современный критик, конечно, сказал бы, что они старомодны. Но меня, немзыкального человека, они трогают своей музыкальностью, интеллигентностью, наивным благородством. Больше всех других мне нравятся «Есть заповедь одна...» и «Газелла». Но и другие тоже трогательны.

Сестра Моисея Ефимовича – Евгения Ефимовна или тётя Женья – жила со своим мужем «дядей Фолей» и двумя детьми – Фимой и Верой в Москве на Красносельской – в их доме я и познакомилась с дядей Абрашей и дядей Соломоном, кажется, самым младшим из братьев Гутманов.

<sup>39</sup> **Михаил Осипович** (Мейлих Иосифович) **Гершензон** (1869-1925) — российский литературовед, философ, публицист, переводчик, историк русской литературы и общественной мысли. В.Ф.

<sup>40</sup> **М.В. Юдина** (1899-1970) окончила в 1921 году Петербургскую консерваторию и вела активную концертную деятельность. Была православной по вероисповеданию и противницей советской власти, которая поначалу её преследовала (хотя Сталин был её поклонником как пианистки), а потом присудила ей Сталинскую премию, которую она пожертвовала Церкви. В.Ф.

<sup>41</sup> Бронислава Абрамовна. В.Ф.

<sup>42</sup> Это позволило мне опубликовать (в Интернете) сборник стихов А. Оршанина с целью вернуть в культурное пространство творчество забытого поэта «серебряного» века – <http://orshatut.by/kultura/tvorchestvo-a-orshanina/>. В.Ф.

Профессии дяди Фоли или Рафаила Давидовича (?) Лейкина<sup>43</sup> я не знаю. Но этот живой, подвижный лысый человек, с усами, как у Тараса Шевченко, был необыкновенно милый и смешливый шутник и остролов. Про тётю Женю рассказывали, будто она любит прибедняться, мол, садится при гостях (которым предварительно выставила приличное угощение) демонстративно есть вчерашний суп. Не знаю, я этого не видела. Да и чем плох вчерашний суп?



Вера Лейкина

Тётя Женя была красивая, как и её кокетливая дочка Вера, актриса Центрального Детского театра<sup>44</sup>, куда я приходила смотреть пьесы с её участием. Выступала она и по радио и читала: «Горрррошина, гор-р-р-рошина, какая ты хор-р-рошая!..»

Навещая нас на Чистых Прудах – в 30-е годы, когда мне было лет 8-10, Вера рассказывала папе, как за ней ухаживал знаменитый тенор Козловский, а папа, слегка подталкивал её локтем в бок, кивая на меня, мол, «нельзя при ребёнке». Помню, она рассказывала ещё и про *козловитянок*, как они сходят с ума. У одной из таких поклонниц Козловского Вера шила бюстгалтеры. Примеряя ей лифчики, та неизменно просила:

– Ради бога, только не говорите Иван-Семёнычу, что я шью лифчики, а то он подумает, что у меня плохая грудь!

«Ну, почему взрослые – такие глупые?» – думала я.

А Вера и впрямь была очень красивая. И жизнерадостная – хоть мама и осуждала её, как кокетку. Кузины вообще друг друга не жаловали.

В последние годы, ещё при жизни мамы, я изредка встречала её на Ленинградском рынке. Оказывается, Вера жила на улице Усиевича, в двух шагах от нас. Она была старая, но легко шагала по улице в своих модных брючках. И в старости была ещё хорошенькая.

С дядей Соломоном связан комичный эпизод. Кажется, в 60-е годы Зиночка с Яшей отдыхали в санатории (или доме отдыха) в Подлипках, под Москвой. Там они познакомились с другой пожилой супружеской парой. Однажды Зиночка вдвоём с новой знакомой стояла на террасе и смотрела вдаль. Вдруг она воскликнула:

– О! Сюда идёт мой дядя Соломон!

– Простите! – удивленно возразила знакомая, – он, и правда, идёт сюда, но это **мой** дядя Соломон!

– Нет, мой!

– Нет, мой!

<sup>43</sup> Одно из стихотворений А. Оршанина в книге «Впечатленья бытия» (1915) посвящено памяти Р.А. Лейкина: «Давно ль его родимый голос/ Приветствовал мой юный бег». Хронологически это мог быть дед или прадед «дяди Фоли», которому «по наследству» перешло его имя. Семьи Гутманов и Лейкиных были родственны. В Интернете эти Лейкины следов не оставили. В.Ф.

<sup>44</sup> В Интернете я обнаружил упоминание актрисы оперетты и эстрады Веры Рафаиловны Лейкиной. В 1929 г. была поставлена пьеса В.А. Трахтенберга «Спутники славы», где она сыграла главную роль. На другом сайте приведены дата и место рождения Веры Рафаиловны Лейкиной – 2 февраля 1903 года (Москва). Эти даты хорошо согласуются друг с другом. В.Ф.

Оказалось, что они обе были правы: они были двоюродными сёстрами и не знали об этом. И дядя Соломон, и, правда, был «общий» дядя.

Новая знакомая Зиновки, очевидно, была дочерью другой сестры Моисея Ефимовича, тоже в своё время жившей в Таганроге. Судя по всему, это была «та самая» **Мэри**.

Та самая, которая...

Но это уже другая история. Скажу лишь, что это история знакомства мамы и папы, их неожиданно вспыхнувшей любви друг к другу. Любви, которую дедушка Моисей Ефимович никак не одобрял.

Не понимал, что я должна была родиться!

И все мои потомки.

Но вернёмся к истории с маминной и Зиновкиной кузиной...

Мой (будущий) отец, Аркадий Семёнович Тарханов, рано примкнул к революционному движению и, выступив на каком-то митинге уже в годы Гражданской войны, с пылкой речью, причём без шинели, на морозе – схватил жестокую простуду, осложнившуюся ещё более жестоким воспалением лёгких. Следствие – туберкулёз. Так отец попал в туберкулёзный санаторий в Ялте.

В Ялте же отец познакомился с кокетливой девушкой по имени Мэри и уже на правах её жениха приехал в Таганрог. Мать Мэри была сестрой Моисея Ефимовича, моего деда, и, естественно, жениха, которым очень гордились, немедленно представили всей родне. Так отец познакомился со старшей дочерью Моисея Ефимовича – Лидочкой Гутман, которую дед, к её великому огорчению, незадолго до этого отозвал из Петрограда, где она уже начала учиться в Консерватории. Всё это, очевидно, происходило в 1919 году.

Отец впоследствии сам рассказывал мне, что сразу подпал под обаяние мамы: она была не только красивая, не только прекрасно играла на пианино и пела, но и пленила его своей вдумчивой интеллигентностью, умом и, главное, милым характером...

А папа был, несмотря на тяжёлую болезнь, весёлый, остроумный человек, бесконечно добрый.

Словом, они полюбили друг друга и, уж не знаю, как, – объявили об этом родне.

Произошёл скандал.

Мэри не желала смириться с таким поворотом судьбы. Однажды она даже приехала в дом Моисея Ефимовича объясняться с соперницей, но ещё в прихожей изобразила обморок, причём из кармана её блузки вывалился пузырёк с ядом...

Нет, нет, Мэри не отравилась. Но, видимо, она рассчитывала, что эта эффектная сцена «сработает».

Но она не сработала.

Семейство Мэри было охвачено бурным негодованием, но и дед, Моисей Ефимович, был предельно недоволен сложившейся ситуацией. И не только потому, что его дочь неожиданно выступила в роли «разлучницы», обидчицы двоюродной сестры. Он был против брака моих (будущих) родителей ещё и по другой причине. (Об этом мне уже рассказывала мама):

– Молодой человек, который после короткого знакомства влюбляется в девушку настолько, что становится её женихом, а потом, только что познакомившись с её кузиной, влюбляется без памяти уже в кузину и порывает с невестой ради этой новой любви, – такой молодой человек, не научившийся владеть своими чувствами, не может быть надёжным спутником жизни. Я решительно не советую тебе выходить за него замуж, – так говорил дочери доктор Гутман.

Мама очень любила и уважала своего отца. Но опыт показывает, что в подобных ситуациях девушки никого не слушают и поступают так, как им хочется.

Развязка наступила скоро. Заразившись сыпным тифом в больнице, которую он возглавлял, доктор Гутман умер, всего лишь пятидесяти лет от роду. Его смерть была большим ударом для его дочерей.

Когда не стало доктора, дом заняли солдаты и принялись всячески притеснять осиротевших женщин. Тогда пришёл мой (будущий) отец, выдворил солдат и остался в доме сам – уже на правах мужа Лидочки Гутман. Родители всегда считали день 15 апреля днём своего бракосочетания (кстати, это и день Зиновкиной свадьбы). 15 апреля 1920-го года.

Кажется, Розалия Осиповна хорошо встретила зятя. А Зиновке в ту пору было 13 лет. Отец сказал, что будет воспитывать её, как родную дочь. И в самом деле, отец и Зиновка всю жизнь уважали и нежно любили друг друга.

В свидетельстве о браке моих родителей говорится, что в брак вступают Аркадий Семёнович Тарханов, служащий, и девица Лидия Моисеевна Гутман, ученица консерватории. Только датировано оно 29 мая 1922 года. Что ж, в ту пору не спешили официально оформлять брак. Мало того, интеллигентная молодёжь даже считала такую поспешность мещанством.

В 1922 году родился мой брат, которому не суждено было жить, но которого успели назвать Моисеем, в честь деда.

Бабушку Розалию Осиповну отселили к Файнам (т.е. сняли ей там комнату), но позаботились о том, чтобы ей был обеспечен полный пансион, покой и уход. Дом Файнов окружал большой тенистый сад, где и произошла в 1931 году наша минутная встреча с бабушкой.

Папа возглавил местный кожевенный комбинат, хоть ему и было всего 26 лет.

Мама и Зина, купив соответствующие пособия, быстро научились печатать по слепому методу на машинке (как русским, так и с латинским шрифтом), а также легко освоили стенографию (русскую и иностранную). Впоследствии в посольствах в Германии, Франции и Норвегии мама работала инокорреспонденткой.

А Мэри... наверно, в Подлипках это всё-таки была она. Они с Зиновкой не узнали (да и не знали) друг друга, потому что после «скандала» семья Мэри порвала все отношения с мамой, как с разлучницей, и, естественно, с папой. Но дама, встреченная в Подлипках, производила впечатление, по словам Зиновки, человека вполне уравновешенного и благополучного. И был при ней вполне приличный муж.

И, что ни говори, это она познакомила моих родителей.

## Зиночка

Зинаида Моисеевна Гутман, дочь доктора Гутмана, младшая сестра моей мамы – и моя тётя.

Зиночка, Зикка, любимая моя.

Я знаю о Зиновке, к стыду моему, очень мало. Но и очень много.

Мало конкретных биографических фактов. Много – потому что я знаю главное: это был человек, готовый самоотверженно, героически заботиться о своих близких, но не желающий допустить, чтобы кто-то заботился о ней. («Только бы не затруднить никого»).

Человек исключительно одарённый, но и исключительно скромный, любящий и верный, болезненно щепетильный.



Человек волевой и отважный.

Она выдержала самый трудный экзамен, который приходится держать человеку: в финале мудро распорядилась своей жизнью (и смертью). И тут по принципу: только бы никого из близких не затруднить...

Но вернёмся к началу.

Зиночка родилась в 1907 году, разумеется, в Таганроге. Она была моложе мамы на 9 лет. Мама много раз рассказывала мне, что она сама, даже ещё не будучи подростком, поняла, что сестрёнка не может рассчитывать на материнскую заботу в истинном смысле слова, и решила взять эту заботу на себя – стала как бы её, Зиночки, маленькой мамой. Конечно же, была няня, была (у обеих девочек) гувернантка, была, наконец, мать, каковы бы ни были её странности, – следствие болезни или, может быть, специфического склада характера, – но главной «заботницей» и наставницей Зиночки была сестра Лида.

Благодарная реакция Зиночки, её верная любовь к моей матери и всегдашняя – на протяжении всей жизни – забота о ней подтверждают правдивость этого рассказа.

Просто, будь на месте Зиночки другой человек, этот другой не только не испытывал бы благодарности к сестре, но, как знать, ещё бы и начал придумывать задним числом поводы для обид.

Чтобы только не испытывать этой самой благодарности, которая многих так тяготит.

Как сказано у одного американского писателя: «Люди не любят, когда им помогают. Во всяком случае, не любят тех, кто им помогает».

Нежный облик маленькой девочки с распущенными волосами, задумчивой, даже грустной, показывают нам старые снимки, хранящиеся у меня: Зиночка на коленях у отца, доктора Гутмана. Зиночка «на скале у моря» (экран фотографа).



Зина Гутман, Таганрог, ок. 1913 г.

Но я думаю, что Зиночка росла в благоприятных условиях. Кажется, все её любили.

Однако старшая сестра могла быть и строгой наставницей. Мама рассказывала мне такой эпизод. Однажды сёстры пошли в кондитерскую

(Зиночке, наверное, в ту пору было не то три, не то четыре года) и купили то, что им было поручено. Когда они вернулись, Зиночка вытащила из огромной муфты (такие носили в ту пору) ещё несколько пирожных, которые ловко и незаметно успела «умыкнуть» в кондитерской. Мама взяла ребёнка за руку отвела назад в магазин, где велела Зиночке вернуть все пирожные хозяйке. Мама (моя) всегда очень гордилась этой педагогической акцией. Но я думаю, что Зиночка и без этой акции выросла бы безупречно честным человеком.

Гордилась мама и тем, что позднее уберегла Зину от плохих учителей музыки, настояв на том, чтобы ребёнка определили к хорошему педагогу. Зина прекрасно играла на пианино, и мама всегда жалела, что она не стала профессиональной пианисткой.

В 13 лет Зиночка, как и Лида, лишилась отца. Думаю, что смерть доктора Гутмана была для неё таким же тяжким ударом, как и для сестры. Но тут мой (будущий) отец, став мужем Лиды, поклялся, что всегда будет заботиться о Зине, как о родной дочери. И это своё обещание он сдержал. И до конца жизни нежно любил Зину.

Я не знаю, как и где училась Зиночка, – думаю, сначала в гимназии, потом, наверное, в единой трудовой школе.

Зикке, как я всегда называла её в детстве, было 16 лет, когда я появилась на свет. Она всегда меня любила и никогда не оставляла своей заботой. Боюсь, что я это недостаточно ценила, настолько естественным мне это казалось. Она часто оставалась со мной, когда родители уходили. Вроде бы – это было ещё в Таганроге, до нашего отъезда в Берлин – ей иногда помогал присматривать за мной Яша Файн. Значит, в ту пору уже завязался роман.

Яша рассказывал мне много лет спустя, что сначала Зиночка прибегала к нему, как письмоносец – приносила записки от подруги, с которой у него в ту пору был роман. (Яша слыл в Таганроге красавцем и Дон-Жуаном). Но постепенно адресат всё больше терял интерес к подруге и увлекался письмоносцем.

В 1926-м году моего отца командировали на работу в Берлин. Зиночка, ей тогда было 19 лет, уехала туда вместе с нами и там, так же, как и мама, работала инкорреспонденткой то ли в посольстве, то ли в торгпредстве.



Зина Гутман. Берлин, 1927 г.

В Германии она прожила всего год. Яша Файн бомбардировал её письмами с просьбами немедленно вернуться и стать его женой. И в 1928-м году

она действительно, вопреки советам моего отца, вернулась в Россию и вышла замуж за Яшу.

Я мысленно вижу её перед собой и сейчас – такой, какой она была тогда в Берлине. И мама, и она были одеты по моде двадцатых годов, которая им очень шла: шляпки лодочкой, низко надвинутые на брови, пояса на платьях непременно ниже талии, короткие юбки, обнажавшие стройные ножки, туфли с узкими носами.

Но Зиночка вернулась в Россию, а мы уехали в Париж.

Яша Файн рассказывал мне, что его мать, бабушка Файн, поначалу была не в восторге от выбора сына. Она де считала, что у младшего сына, её любимца и общепризнанного красавца, должна быть жена с более эффектной внешностью. Но очень скоро она по достоинству оценила Зиночку. Особенно после того, как поняла, что Зиночка неусыпно следит за тем, чтобы родителям аккуратно посылалась в Таганрог определённая сумма денег. Если, случалось, Яша забывал вовремя это сделать, Зикка сама немедленно переводила деньги в Таганрог.

А внешность... Зиночке не надо было быть эффектной. Тоненькая, лёгкая, она была неповторимо обаятельной. Думаю, все её потомки согласятся со мной.



Молодожёны – Зина Гутман и Яша Файн. 1928 г.

Итак, в 1927 году (или, возможно, в начале 1928-го года) Зиночка вернулась в Союз, а мы уехали в Париж. Я снова увидела её лишь в 1931 году, когда мы из Парижа вернулись. Мы с мамой заехали в Ростов, потом в Таганрог, где состоялось моё минутное знакомство с бабушкой Розалией Осиповной.

В Ростове, чтобы как-то меня занять, Зиночка с Яшей устроили, точнее, пристроили меня к пионерскому отряду при обувной фабрике, хотя мне было только 8 лет, и я не имела чести быть принятой в пионеры. Я была совершенно счастлива: ходить по городу в строю с красным флагом и под барабанный бой, выполнять пионерские «нагрузки» – т.е. разносить по домам крохотные копеечные книжонки с «пролетарским содержанием» – стихами Демьяна Бедного и т.п., изредка даже стоять на фабрике у конвейера и снимать с него крепкие чёрные ботинки... какое блаженство! Зиночка с Яшей посмеивались надо мной, тем более, что я с гордостью объявляла всем, что состою в отряде «имени Неворожкина». А Сеня Неворожкин, щуплый рыжий паренёк, был всего лишь вожатый этого отряда.

Лучшего подарка Зиночка с Яшей сделать мне не могли.

Скоро мы уехали в Москву, где прожили 2 года, а в 1933-м году отца командировали на работу в Норвегию. Мы с мамой приехали к нему в Осло. Мама

начала работать в Торгпредстве, а меня определили учиться в норвежскую школу. Там я странным образом научилась вязать и кинулась обвязывать родных. До сих пор помню жакет, который я связала Зикке – из толстой синей шерсти, в так называемом спортивном стиле. Надеюсь, что наряд пришелся ей по вкусу – его родители с удивлением одобрили и послали в Ростов.

1935 год. Мне исполнилось 12 лет. В этом возрасте детям работников советских посольств и торгпредств уже не разрешалось оставаться с родителями за границей. Во избежание морального разложения, грозившего им в мире капитализма, они должны были возвращаться в Союз. И мы с мамой вернулись в Москву.

Мама с сестрой отца Нюсей<sup>45</sup> сняли дачу в Клязьме и собрали там всех «двоюродных детей». Пригласили Симочку Берлин (8 лет), Зиночку с Витькой (ему было 2 года), Циле<sup>46</sup> было 4 года. Старшей была я. Конечно же, это была папина идея и забота: всех собрать – и чтобы всем было хорошо. Витька был очень славный кругленький мальчонка, я его приучала висеть на турнике, руки у него были крепкие, и он никогда не падал, тем более, что поначалу я его страховала. Но однажды я решила продемонстрировать Зиночке спортивные достижения её сына и мои тренерские, – и тут он, мерзавец, разжал ручонки и плюхнулся на землю и заревел!.. К счастью, он не ушибся, а только поцарапал коленку. Зиночка метнула в меня гневный взгляд, но сказала сдержанно:

– Со, обещай, что больше не будешь тренировать Витьку!



Витька. Клязьма. Лето 1935 г. Фото С. Тархановой

В другой раз Витька прибежал к ней с рёвом по другому поводу. На дачу пришёл почтальон и, увидев незнакомого мальчонку, спросил Нюсю:

– А это что за молодой человек?

– А это мой племянник! – сказала Нюся.

Тут Витька и заревел и бросился к матери:

– Мама, Нюся на меня ругается! Она говорит, что я *плюмянник*!

В последующие 6 лет до начала войны Зиночка часто приезжала в Москву в командировку, хотя Москву не любила, говорила, что это сумасшедший город. И всегда пеклась о нас всех, расспрашивала каждого из нас о его житье-бытье, старалась помочь.

<sup>45</sup> **Нюся**, Анна Семёновна Файн (Ёсельсон) – родная сестра Аркадия Семёновича Тарханова, была замужем за старшим братом Я.М. Файна Григорием. В.Ф.

<sup>46</sup> **Циля** Файн – дочь Нюси, наша с Соней двоюродная сестра. В.Ф.



В 1939 году она пригласила меня летом поехать с ней и с Витькой на Дон. Мы приехали в станицу Цимлянскую, а оттуда проследовали в деревню Малая Цимла.

Зиночка, конечно, пригласила меня «в русле» своей всегдашней заботы о семье сестры. Мне в то лето деваться было некуда: Немецкую школу закрыли, как «антисоветское гнездо», ещё в начале 1938 года, арестовали почти всех педагогов (или отправили в лапы гестапо) и многих учеников, в том числе мою подругу Фаньку. Это значит, что не было традиционного школьного лагеря. А ехать в дебильный лагерь для детей ответственных работников ВЦСПС, куда с облегчением отправил бы меня папа, я наотрез отказалась. Зиночка, всегда готовая снять с других заботу и взять её на себя, пожалела меня, а, главное, моих родителей и увезла меня на Дон.

К этому путешествию она подготовилась основательно: пригласила знакомую с таким же мальчонкой, каким был тогда Витька (6 лет), взяла с собой домработницу (в ту пору такие акции были возможны) и... меня. Честно говоря, мне не очень хотелось на Дон. Мне и в Москве было весело и интересно с моими друзьями. Но Зиночку я любила и поэтому не стала ерепениться.

Итак, наша «делегация» прибыла в станицу Цимлянскую. Мы остановились в доме местного (и «главного») врача, имя которого я, к сожалению, забыла. Это был интеллигентный и очень приятный человек, черноволосый и смуглый, Зиновкин друг. Друзья, знакомые и пациенты называли его не иначе, как «милый доктор». Он и направил нас на другой день в Малую Цимлу.

Мы поселились в сравнительно просторном доме, стоявшем в Эдемском саду<sup>47</sup>. Да, да, в Эдемском. Никогда и нигде я не видела таких плодовых щедрот. В этом большом и красивом саду росли яблоки, груши, сливы, абрикосы... О клубнике, малине и прочем крыжовнике я уже не говорю. Но дело в том, что и яблоки, и груши, и сливы, и абрикосы были не только великолепные, но ещё и разносортные... в одном саду! Помню, что были чудесные крымские яблочки, особенно ароматные и сладкие. Но Витька обычно любил бомбардировать меня другими – большими, красными и довольно увесистыми. Хозяйка разрешала нам подбирать и есть любые паданцы в любом количестве, а с ветки – только с её разрешения. Но паданцев было так много, что вся наша когорта и с этим не справлялась.

Сад обрывался прямо в речку, довольно глубокую, но уж очень узкую. А я любила широкие водные просторы. Но всё равно я много плавала и в этой речке, но далеко уплывать Зиночка мне не позволяла, точнее, она *просила* меня этого не делать, и, видя, что она тревожится за меня, я со вздохом покорилась. Так вот, если я не бултыхалась в воде, – то лежала в саду под деревьями, читала и, лениво протягивая руку то туда, то сюда, доставала то яблоко, то грушу, то сливу или абрикос. Райская улада. Но вдруг начиналось бомбометание: это Витька со своим приятелем, другим таким же мальчишкой, обстреливал меня крупными, красными, сочными снарядами. Я вскакивала на ноги и грозно налетала на них. Но они поспешно и непременно с воплями разбегались. Обычно я их не преследовала.

– А ты их отшлёпай! – сурово сказала Зиночка.

---

<sup>47</sup> Э́дем – райский сад в Библии (книга Бытия), место первоначального обитания людей. Слово «Эдем» израильтяне сближали с словом e'den – «наслаждение». Географическое месторасположение трактуется в широком диапазоне от Армянского нагорья до Южной Месопотамии. В.Ф.



И правда, однажды, когда брошенный снаряд и впрямь больно меня ушиб, я поймала Витьку и хотела уже исполнить Зиночкино указание, но он был такой кругленький, загорелый и одновременно розовенький, сам, как яблочко, – что у меня рука не поднялась, и я отпустила проказника, который наавтра же возобновил бомбёжку.

Вроде бы я жила в райском саду, взапой читала, пожирая паданцы (ничего другого я уже есть не хотела), плавала в речке, – а всё равно мне было скучно без моих друзей, без московского шума. И вот однажды, когда мы все сидели за обедом, на меня нашла тоска, я боялась, что вот-вот зареву, и поэтому выскочила из-за стола и метнулась в свою комнату. Зиночка тотчас же последовала за мной, встревоженная, но, выяснив, что я совершенно здорова и на меня просто «нашло», сказала строго:

– Это истерия! Такие вещи надо подавлять, думать о реакции окружающих! Распушенность у меня сочувствия не вызывает.

Вот как. Запомнила я этот урок на всю жизнь.

Когда мы вернулись в Ростов, я не смогла сразу выехать в Москву: не было билетов на поезд. Много дней подряд я ходила на рассвете «на перекличку» на вокзал, наконец, купила билет в общий вагон, но сесть в него не смогла: в вагон набилось столько людей, что только всеильный Яша смог войти в него с моим чемоданом в руках. А уж мне, несмотря на мою тогдашнюю отличную спортивную форму, влезть в него не удалось. Видя, что я не пробьюсь, Яша подал мне через окно чемодан и сам тоже вылез... в окно. Понуро поплелись мы домой. Мне было очень стыдно, что я, значкист ГТО 2-й ступени, член гимнастической секции общества «Динамо», не выдержала поединка с толпой. Я опять осталась у Зиночки. Наверное, тогда я и увидела шкатулку с запиской деда «Люблю тебя. Твой муж».

Я сказала, что хочу вылететь в Москву самолётом. Зина: «Только с разрешения родителей!».

А ведь мне уже исполнилось 16 лет, я только что получила паспорт...

Папа разрешил мне полёт, и я снова стала ходить на перекличку, но уже в кассу «Аэрофлота». Ходила долго. За это время мы успели съездить в Таганрог, навестить Файнов. Михаил Леонтьевич и Анна Ефимовна, Витькины дедушка и бабушка, встретили нас приветливо. Кто мог тогда подумать, что им осталось жить всего два года, что в октябре 1941-го года их расстреляют гитлеровцы. Жила с ними ещё и Белла, Витькина тётя, и её дочка Соня. Белла была больна и не вставала с постели. А её Соня была поистине удивительная девочка (лет 8-9?)<sup>48</sup>. Маленькая, быстрая, непрерывно что-то говорившая, она была не по возрасту умна, рассудительна, деятельна и умело помогала бабушке по хозяйству.

В ходе разговора Михаил Леонтьевич сказал со вздохом:

– Да, да, нынешняя молодёжь неплохая, многое знает и умеет, чего мы не знали и не умели. Но вот беда: оторвались от своих корней, никто даже на идиш говорить не умеет...

– Нет, почему же, – возразила я, – вот я, например, умею.

Радостно взволнованный, дедушка Файн тут же перешёл на идиш и, выслушав мой ответ, весь вечер не переставал меня хвалить.

А ведь я, нахалка, просто шпарила на привычном мне немецком, только всякий раз заменяя гласную «а» на «о» или «у» и наперебой вставляя онемеченные русские слова (у моих друзей из немецкой школы, по крайней мере,

---

<sup>48</sup> Соня Заварская 1929 года рождения, следовательно, в 1939 году ей было 10 лет. В.Ф.

у двух, были бабушки, примерно так говорившие на идиш). Труднее, конечно, было разбирать, что говорил сам Михаил Леонтьевич, но и с этим я как-то справилась. В конце концов, идиш вышел из средневерхненемецкого и, несмотря на все наслоения, германская основа всё же нерушима. Но тогда я, конечно, не задумывалась над классификацией, а просто старалась сделать приятное старику. И правда, как я потом узнала, он и впрямь написал кому-то из своих близких в Ростов, что Соня его порадовала: оказывается, она знает идиш. «Правда, она говорит на каком-то странном идиш, – замечал далее Михаил Леонтьевич, – но зато очень бойко!».

Вернувшись в Ростов, мы пошли в фотографию – Зикка, Витюша и я – и сфотографировались втроём.



**Витя Файн, Зинаида Моисеевна Гутман и Соня Тарханова. Ростов-на-Дону, 1939 г.**

Зиночка трогательно заботилась о моём пропитании, даже чёрной икрой угощала, огорчаясь, что я почти ничего не ем. А объяснялось это просто: во время походов на бесчисленные переключки, я непрерывно лакомилась замечательным ростовским мороженым, но, конечно, никому в этом не признавалась.

Наконец, я купила билет – и улетела в Москву. Думаю, Зинуша и, особенно Яша, вздохнули с облегчением. Как говорил мой папа: «ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным». (Но сам никогда не оставлял добрых дел).

Передо мной открытка со штампом 29.05.1941. Это Зиночка из Москвы пишет моей маме в Нарофоминск (там, в летнем лагере для курсантов Академии им. Фрунзе, мама преподавала офицерам французский язык). А Зиночка, наверное, только что окончила заочно свой Плано-экономический институт.

Я в это время сдавала выпускные экзамены за десятилетку, и Зиночка рассказывает сестре о моих отметках.

Открытка, посланная почти 59 лет назад, за 3 недели до войны. Чудо, что она сохранилась. Я нашла её в маминых бумагах, после её смерти. А вот другой, последней, открытки Зиночки, залитой слезами (поехали чернила...), трагической, от мая 1981-го года, она не сберегла. Я знаю, что она была, я читала её, но после маминой кончины я её не нашла.

1 июня, как и предполагала, Зиночка уехала в свой Ростов, откуда ей очень скоро – Ростов был взят, как известно, гитлеровскими войсками – пришлось бежать. Вместе с 8-летним Витькой она приехала в деревню Малая Вильва,

Пермской области, где ждала её сестра. В Малой Вильве, в помещении школы<sup>49</sup>, жили эвакуированные из Москвы семьи сотрудников ВЦСПС (папа заведовал Архитектурно-проектной мастерской ВЦСПС). Ещё в июле папа отправил нас туда. Предполагалось, что я буду преподавать местным школьникам немецкий, но начало учебного года было отложено, т.к. все, и учителя, и ученики должны были работать в колхозе.

Я очень старалась, охотно уезжала со всеми колхозниками засветло в поле и, кроме косьбы, кажется, освоила все полевые работы. За 3 месяца я заработала много килограммов картошки, свеклы, моркови и т.п. и т.д., как я считала, – для мамы. Потому что сама я, получив вызов на учёбу в ИФЛИ<sup>50</sup>, решила вернуться в Москву. И в самом деле, вдвоём с другой девушкой, латышкой Арусей, тоже ехавшей учиться, мы покинули Малую Вильву. Я воображала, что обеспечила маму плодами своих трудов. Я не знала, что потом ей выдадут лишь ничтожную часть обещанного.

Зиночка стала преподавать в школе вместо меня не только немецкий, но и математику. Делала она это прекрасно, как и всё, что она делала. Помогала ученикам. Маловильвенские бабы, матери её учеников, говорили ей:

– Ох, Мосевна, хучь ты и жидовка, а уж больно ты женщина хорошая!

Зиночка осуждала меня за то, что я оставила маму. Хотя и говорила:

– Я тебя не осуждаю, – просто не могу это забыть.

Что ж, может быть, она была права.

В январе 1943-го, перед моим отъездом на фронт, мама вернулась в Москву. Но и Зина вскоре покинула Малую Вильву и возвратилась в освобождённый Ростов<sup>51</sup>

1946-й год. Я в Германии с годовалой Олькой. Вася<sup>52</sup> работал в Бюро Информации (пресс-агентство) в Берлине, где я тоже вскоре начала работать. Мы с Зиной переписывались. Эта наша переписка едва не стала причиной катастрофы.

В 1947-м году, после смерти папы, я одно время собиралась вернуться с Олькой в Москву, о чём, конечно, написала Зине. Ответ пришёл очень быстро: «Со, не делай этого! Ты вырвешь ребёнка из прекрасных условий и поставишь его в неизмеримо худшие!».

Уполномоченный органов по нашему пресс-агентству, видимо, постоянно занимавшийся перлюстрацией наших писем, вызвал к себе начальника Бюро Информации и показал ему эти строки, подчёркнутые красным карандашом:

– Смотрите! Это не наши люди! Эту вашу Соню надо немедленно *изъять*, чтобы она здесь буржуазную психологию не распространяла!

– Но ведь это не она пишет, а её тетка, – возразил начальник.

– Да? Вот, смотрите, что она сама кропает! – тут уполномоченный вытащил из груды уже моё письмо, тоже помеченное красным карандашом. В нём я радостно сообщала Зинке, что купила Ольке на зиму тёплую кроличью шубку.

– Но ведь всё это так невинно, – возразил ему мой добрый начальник и долго и упорно стал доказывать уполномоченному, что никакого криминала тут вообще нет и он готов сам стопроцентно за меня поручиться. Только ему я обязана своим спасением. Такое заступничество в ту пору могло быть

<sup>49</sup> Тарханова ошиблась: мы жили в помещении санатория. В.Ф.

<sup>50</sup> **ИФЛИ** – Московский институт философии, литературы и истории имени Н.Г. Чернышевского – гуманитарный вуз университетского типа, существовавший в Москве с 1931 по 1941 г. Был выделен из МГУ и снова с ним слит. В.Ф.

<sup>51</sup> В 1944 году. В.Ф.

<sup>52</sup> **Василий Михайлович Мамонтов**, первый муж С.А. Тархановой. В.Ф.

небезопасно для заступника. Уполномоченный отступился. Не знаю, что он имел в виду, употребив злое слово *изъять*. Уволить, выслать на родину, или...?

Разумеется, я бы никогда об этом не узнала. Но как-то раз у нас в гостях начальник сам рассказал мне об этом.

Он был хороший, благородный человек. Это был Георгий Михайлович Беспалов<sup>53</sup>.

Кажется, я не рассказывала Зиночке эту историю.

В данном случае Зиночка, конечно, была права. Впоследствии, во всяком случае, по моему тогдашнему суждению, случилось и так, что она ошибалась. Но всегда она свято соблюдала обещание, данное моему отцу: быть мне, непрактичному человеку, наставницей и опорой.

Да, тогда я осталась в Берлина, и в мае 1949 года у нас там родилась Надюшка. Но уже осенью того же года мы все вернулись в Москву. Ехали тогда поездом (с пересадкой в Бресте) три дня, но Надюшка благополучно проделала этот путь в белье в корзине, которую мне принесла заботливая немецкая няня, Frau Sophie Lobert. Я до сих пор благодарна ей за это.

Дело в том, что там, в Берлине, начались аресты. Кого-то сажали в тюрьму, кого-то «только» сажали в поезд и отправляли в Москву. Один из приказов того времени по Советской военной администрации в Германии гласил: «Виновные в сожительстве с немками сотрудники СВАГ будут подвергнуты суровому наказанию вплоть до отправки на родину» (!).

Разумеется, могли быть и другие причины для репрессий, да, в общем, никаких причин и не требовалось. Отправили под конвоем «на родину» полковника Колтыпина, начальника Бюро Информации, нашего приятеля Лёву Гринберга и многих других. Василий из заместителей был произведён в начальники Бюро Информации и отважно взял под защиту нашего тогдашнего друга Сашу Галкина, которого начали активно травить. Тут уж принялись травить и Васю тоже, а заодно и меня – за то, что я купила у шибера (спекулянта) 300 грамм розовой шерсти на кофточку и капор для новорождённой Надюшки.

Мы не стали дожидаться репрессий и уехали на родину по собственному желанию (только Вася – с «волчьим билетом»).

Поначалу мама была нам рада. Но очень скоро я получила письмо от Зиночки: «Со, вам надо уезжать! Ваше присутствие для матери непереносимо!». Я была совершенно подавлена. Только дня за два до этого я окончательно добилась того, чтобы Васю оставили работать в Москве. Поскольку за своё заступничество за Галкина он расплатился «волчьим билетом», ни одна из организаций, которые прежде зазывали его к себе, например, Радиокомитет, Совинформбюро и т.п., уже не хотели брать его на работу. И военкомат уже решил отправить его в Читу, начальником гарнизонной библиотеки, поскольку Вася перед самым началом войны успел окончить Библиотечный институт.

С отчаяния я нацепила на грудь свои фронтовые медали, взяла на руки пятимесячную Надюшку и поехала к начальнику отдела кадров военкомата.

---

<sup>53</sup> **Георгий Михайлович Беспалов** (1904-1967) – секретарь Коммунистического Интернационала Молодежи, журналист, редактор. До войны был на нелегальной работе в Германии и Китае. Во время войны прошёл боевой путь от рядового до подполковника. В 1945-47 гг. работал начальником Бюро Информации советской военной администрации Германии. Возглавлял делегацию ТАСС на Нюрнбергском процессе главных военных преступников. В конце 1947 года назначен заместителем начальника Совинформбюро, а в 1948 году - заместителем председателя Всесоюзного радиокомитета. Возглавлял группу научных изданий Института народов Азии Академии наук СССР. В.Ф.

Я объяснила ему, что я москвичка, что у нас есть квартирка «для проживания», что у меня двое детей («а вот эта, видите, ещё грудная»), что я учусь на последнем курсе университета, и мне сейчас надо писать диплом и сдавать госэкзамены, и, стало быть, ехать в Читу нам никак нельзя.

Узнав, что и Вася уже прописан в нашей квартире на Чистых Прудах, он кивнул и сказал: «Хорошо, раз у него есть жилплощадь, работу мы ему здесь подберём». И назначил Васю инструктором заочного отделения Московской Военно-юридической академии. Конечно, для творческого человека, каким, несомненно, был Вася, работа такая – тоска смертная, но, что поделаешь, когда за благородство выдан волчий билет... Словом, мы впервые после возвращения на родину облегчённо вздохнули. И тут письмо Зины.

Наверно, Зиночка и тут в принципе была права. Она, конечно же, жалела не только сестру, но и всех нас тоже, предвидя неизбежные – при мамином характере – конфликты.

Но последовать её совету мы не могли.

Я вскоре сдала экзамены за 5 курс филфака, потом написала диплом, защитила его, а летом 1951 года сдала госэкзамены и окончила университет.

Зиночка напряжённо и, наверное, очень хорошо работала. Однажды она даже рассказала мне, что получила серьёзную премию за проект, кажется, по городскому планированию.

Ещё до войны папа устроил Розочку Берман на работу в только-только создавшееся Министерство трудовых резервов. Вскоре ему позвонил его приятель Москатов, руководитель этого министерства, и стал его благодарить «за отличную кандидатуру». Папа, понятно, обрадовался, но при том сказал мне:

– Розка, конечно, молодец, но никто не может сравниться с нашей Зиной. Это совершенно блестящая голова! А какая скромность...

Зиночка всегда очень интересовалась моей работой, моими переводами. Хвалила их. Обсуждала со мной вопросы стиля. Я всегда дарила ей выходившие книги.

Зикка рассказывала мне, что перед смертью папа поручил ей меня. Папа, как я уже писала, нежно любил Зину.

– Лёгкий человек, – говорил он о ней, – понимаешь, лёгкий человек...

И вот перед смертью, в декабре 1946-го года, папа попросил Зину присматривать за мной: мол, я слишком доверчивый и непрактичный человек, могу себя погубить... И Зина обещала. Она тогда специально приехала в Москву из Ростова – попрощаться с отцом. Она навестила его в больнице, они спокойно поговорили и попрощались. Но у двери Зина остановилась и в последний раз взглянула на папу. И встретила его трагический, полный отчаяния взгляд: «больше я тебя никогда не увижу».

Как я теперь благодарна этим двум дорогим мне людям за их заботу обо мне, за их любовь...

А переписка... Даже те немногие письма Зины, которые у меня сохранились, письма разных лет, переполнены её заботой, её радением обо всех, обо мне, о маме. О её отношении к маме надо сказать особо. Когда Зиночка была ребёнком, старшая сестра Лида наверняка во многом скрасила её жизнь, была ей доброй наставницей, своего рода «маленькой мамой». И Зиночка помнила это всю жизнь. Она была не только благодарна, она просто любила сестру с неуклонной верностью, наверное, свойственной ей одной. Даже потом, когда изменившийся мамин характер стал причинять большие огорчения близким, Зина никогда на неё не сердилась, всегда прощала ей всё,



даже неласковое отношение к 8-летнему Витьке во время их совместного проживания в Малой Вильве.

Мне до сих пор трудно забыть и больно вспоминать некоторые мамины поступки и слова, но Зина, когда мне случалось о них упомянуть (обычно в ответ на её упреки, что Оля и Надя не оказывают бабушке необходимого внимания), всякий раз говорила:

– Со, я понимаю, что мать тебе досадила, но ты пойми, что она совершенно не отдаёт себе в этом отчёта! Она не виновата! Ей надо всё прощать и просто заботиться о ней.

Да, до такого непоколебимого гуманизма я тогда не доросла. Я делала всё, что могла, но прощать мне было трудно.

Зиначкины письма... Последнее – от 22 февраля 1981 года. Обычная забота о родных. Ни слова о грозной болезни. Хотя осталось ей жить всего четыре месяца.

Такая вот была у нас Зиначка.

Весной 1981-го года, то ли в апреле, то ли уже в мае, Зиначка позвонила из Ростова:

– Со, объясни матери, что на этот раз я не смогу приехать в Москву...

Она сказала, что у неё язва пищевода...

Я кинулась к нашей соседке Берте, онкологу поликлиники Литфонда.

Та грустно покачала головой:

– Нет, – сказала она, – это рак. И сделать ничего нельзя. Но не беспокойтесь, в этих случаях включается система психологической защиты человека, мои пациенты обычно обманываются на свой счёт, не верят в близкий конец.

Но Зина не обманывалась. Розочка Берман потом рассказывала мне со слов своей сестры Симы, жены Иосифа Файна<sup>54</sup>, что Зиначка выстирала, выгладила и починила всю Яшину одежду, всё привела в порядок и оставила ему у подружки письмо с разными наставлениями о том, что ему делать после её смерти, в частности, велела переселиться в Москву, к Витьке.

Зина берегла Витьку. Узнав, что она больна, он приехал в Ростов. Когда он уезжал, она вышла на улицу его проводить, но ничего ему не сказала. А он ни о чём не догадывался.

А я... Бесполезны были мои метания: добыла у аллопатов и гомеопатов разные средства, травы, корни, отправила их в Ростов, втайне надеясь: а вдруг... Надо бы всё бросить и полететь к Зине.

Зиначка сказала:

– Со, я скоро лягу на лечение в Научно-исследовательский институт. Приедешь в это время – мы мало сможем видеться. А вот когда я вернусь домой, – тут у нас с тобой будет много времени для общения, и ты сможешь мне помочь!

Думаю, Зина просто водила меня за нос. Она знала, что не вернётся. Всё для себя уже решила, а меня просто оберегала от того тяжёлого, что уже нависло над нами.

Но тогда я не понимала, что финал **так** близок, и твёрдо решила: кончится срок нашего отдыха в Дубултах, и я сразу поеду к Зине!

Срок должен был кончиться в конце июня.

19-го июня. Чуть ли не в мой день рождения Зиначка ушла в этот институт. По дороге она ещё раз наказала Яше, чтобы он не забыл послать мне поздравительную телеграмму (!).

---

<sup>54</sup> Иосиф Михайлович Файн, брат моего отца. В.Ф.

В этом вся Зина.

Каждый день я звонила Яше, который и рассказал мне про телеграмму, или Вите. Но вот 2-3 вечера подряд никто, как в Ростове, так и в Москве, по телефону не отвечал. Наконец, 24-го (или 25-го?) в Ростове подошёл к телефону Витя. «Всё кончено», – сказал он. Мне не сообщили потому, что я всё равно не достала бы билета на самолёт, на авиалиниях чёрт знает что творится, он сам еле прорвался в Ростов. Наверно, так и было!

Я так винила себя, что не переступила через всё и не помчалась к Зине, когда ещё можно было её видеть, не простилась с ней.

Яша потом рассказывал мне: 22-го июня он был у Зиной в институте, они спокойно простились, а утром ему позвонили, что Зиночки уже нет. Её соседи по палате рассказали, что Зиночка, как всегда, вернулась в палату, постирала и развесила для просушки какое-то своё бельишко, потом легла в постель и затихла. На рассвете, увидев, что она не просыпается, соседи по палате забили тревогу. Но было уже поздно.



Автограф С.А. Тархановой: открытка, отправленная 22.06.81 (увы, опоздала)

Даже и этот свой последний шаг Зиночка совершила деликатно. Яша сказал: «Я думаю, что Зина покончила с собой...». Потом добавил: «На похороны пришли все, все. Ведь все уважали и любили Зину».

Я не в силах выразить, что означала для меня смерть Зиной. Как сказал Тютчев, «мысль изречённая есть ложь».

Я благодарна судьбе за всё, за то, что была в моей жизни Зина, Зиночка.

## О Розочке Берман

Она вошла в нашу квартиру на Чистых Прудах – высокая, красивая, с густой копной чёрных волос, крупными блестящими волнами обрамлявших счастливое лицо. И чёрные глаза на этом смеющемся лице были счастливые, и немалых размеров нос с горбинкой не умалял красоты этого одухотворённого лица. Да и вся она излучала радость жизни, молодое счастье.

Такой я увидела её в первый раз, такой она запомнилась мне на всю жизнь. Розочке Берман было тогда 24 года, мне – 12. Вот только не знаю, было ли это в конце 1935-го или в начале 1936-го года.



**Роза Рувимовна Берман**

Я тогда оставалась в нашей квартире на Чистых Прудах с тётей Нюсей. Мама, доставив меня в Москву, вернулась в Норвегию, к папе, который был тогда в Осло торгпредом и должен был проработать в этой должности ещё год.

Тётя Нюся сказала:

– Это Розочка Берман. Она наша родственница.

А родство было такое.

У дедушки Файна было 3 сына. За младшим – Яшей – была замужем наша Зиночка, за старшим – Гришей – наша Нюся, за средним – Иосифом – Сима, очень хорошенькая женщина, старшая сестра Розки.

Вот какое было родство.

Розочка была беременна, должно быть, на 5-м месяце. Работала она тогда в МосЭнерго. Позднее, по папиной рекомендации, она поступит в Министерство трудовых резервов. Там она проработала много–много лет, вплоть до ухода на пенсию, главным бухгалтером, потом – начальником планово-финансового отдела.

Вскоре после того, как Розочка приступила к работе в Минтрудрезерве, глава этого «Мин’а» Москатов<sup>55</sup> (когда-то он был слушателем марксистского кружка, которым руководил папа, и по-прежнему уважал бывшего наставника) восторженно поблагодарил папу за то, что он прислал ему такого прекрасного работника.

Новая родственница мне сразу понравилась. Дети любят молодых, красивых, счастливых.

Впрочем, я тогда никак не считала себя *дитём*, а мнила себя совершенно взрослой молодой особой.

Вплоть до рождения сына Мишки<sup>56</sup> Розочка ещё не раз приходила к нам, в квартиру № 23, в эту незабвенную для меня квартиру, где я была прописана (были ведь и долгие отлучки) двадцать лет, с 1931-го по 1951 год.

---

<sup>55</sup> **Пётр Георгиевич Москатов** (1894-1969) – советский партийный, профсоюзный и государственный деятель. Начиная в 1909 г. слесарем в Таганроге. Член РСДРП(б) с мая 1917 г. Директор Таганрогской городской электростанции. Секретарь Таганрогского окружного комитета партии. Председатель ЦК профсоюза транспортного машиностроения. Член Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). Секретарь ВЦСПС. Депутат Верховного Совета СССР с 1937 г. Начальник Главного управления трудовыми резервами при СНК СССР. Председатель Центральной ревизионной комиссии КПСС. В Таганроге существует улица, названная его именем. В.Ф.

<sup>56</sup> **Михаил Михайлович Гутерман** (р. 1937) – известный театральный фотограф. Заведующий отделом иллюстраций журнала «Театральная жизнь», почётный работник культуры

После рождения Мишки Розочка уже редко приходила к нам – материнские хлопоты не оставляли ей досуга.

Зато я часто прибегала к ней на Кадашевскую набережную, что около кинотеатра «Ударник». Вместе с мужем Микой Гутерманом и маленьким сыном Розочка жила в тесной и тёмной коммунальной квартире, с примусами, клопами и прочими прелестями советского быта. Разумеется, в её комнате было чисто, и ребёнок был идеально ухожен. Ребёнок был прелестный, кудрявый купидончик. Но Розочка очень уставала и тяготилась своей вынужденной отъединённости от мира. Она радовалась моим «визитам», видимо, тоже сразу зачислив меня в родню, – я стала для неё чем-то вроде племянницы. Мы с ней многое рассказывали друг другу и много смеялись.

Розочка рассказывала мне про первый романтический (как потом оказалось, – псевдоромантический) период пионерского и комсомольского движения, когда летние лагеря были бедные, воспитатели (то бишь вожатые) и воспитуемые сидели у костра и ели печёную картошку.

Здравствуй, милая картошка – тошка – тошка –  
Пионерова еда – да – да...

И дальше:

А картошка – объеденье – денье – денье,  
Пионеров идеал – ал – ал.  
Тот не знает наслажденья – денья – денья,  
Кто картошку не едал – дал – дал!..

Впервые эту песню я услышала от Розки. Но потом даже мы ещё пели эту самую песню в летнем лагере Немецкой школы.

Розке было всего 6 лет, когда произошёл Октябрьский переворот, и она росла и вырастала уже при советской власти. Молодёжь из бедных еврейских семей, изведавших гнёт царизма и преследования, искренно увлекалась тогда идеями социализма и коммунизма, с энтузиазмом шла в пионерское движение и комсомол.

Взвейтесь кострами, синие ночи,  
Мы пионеры, дети рабочих...

Эту песню я тоже впервые услышала от Розочки и восприняла её, как некую квинтэссенцию пролетарской романтики.

Но наши синие ночи – в летних лагерях Немецкой школы в Шемякине или Лыткарине, уже не взвивались кострами. Другие времена, другие песни.

Зато прехорошенькая Мима Каплан, кокетливо потряхивая светлыми шелковистыми волосами, декламировала на праздничных утренниках:

«Es lebt sich besser, Genossen,  
es lebt sich fröhlicher  
in unserem herrlicher Sowjetlande...

Откуда взяла она эти слова?

А вот откуда: «Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи!...» (Сталин).

Вот именно, веселее.

Впереди был 1937-й год.

Но нам всем в отряде было всего по 13 лет, и мы ничего не понимали. Это Валька<sup>57</sup> всегда всё понимал.

Впрочем, и Розочка тогда ещё была полна оптимизма и радовалась жизни.

---

города Москвы. Член Российского союза журналистов, Союза театральных деятелей России и Международной ассоциации журналистов. В.Ф.

<sup>57</sup> Валентин Александрович Островский. В.Ф.

И я с удовольствием приходила в её мрачную коммуналку и часто жаловалась на родителей.

Нет, у меня не было привычки оговаривать родителей, как это теперь модно в современном мире, – на чём отлично наживаются так называемые психологи, психоаналитики и еже с ними. Используя часто случающийся пубертатный бунт против родителей, они *науськивают* подростков на безвинных пап и мам. Зато им обеспечена верная и благодарная клиентура. По принципу «разделяй и властвуй».

Разумеется, не всегда это так, мне не хотелось бы *охаивать* всё «психословие». Но, увы, описанный мной механизм встречается слишком уж часто.

Словом, я не ругала родителей на Кадашевской набережной у Розки, – я их любила. Но жаловалась, что они сдерживают мой азартный пыл: ни в альпинисты они не пустили меня, ни в парашютисты.

А «счастье было так возможно, так близко»...

Я ведь была гимнастка, и спортивная подготовка открывала многие двери. Мне предлагали и в горы идти, о чём я страстно мечтала, и в парашютную секцию звали.

Но родители мне всё запретили.

Пауза. Снова май 2000-го года. Фульда. Окунувшись по необходимости в хозяйственные хлопоты, в которых я, как известно, «корифей», я дала Вальке прочитать написанные страницы.

– Не знаю только, сумеешь ли ты должным образом описать деликатность и мудрость твоей Розки... Ты мне много раз рассказывала, что она, в отличие от очень многих современных психологов, психоаналитиков и всей этой братии, никогда не шла у тебя на поводу, не подхватывала твоих обид, пусть даже частично справедливых, короче, никогда не вбивала клин между родителями и тобой, а, напротив, старалась помочь тебе понять их побудительные мотивы...

И правда, не знаю, сумею ли... Повторяю, я никогда не *клепала* на родителей, но ведь они не дали мне взобраться на Памир, не позволили прыгать с парашютом! Очень меня тогда это обидело.

Но Розка решительно заявила мне:

– Сонька, если ты думаешь, что я возьмусь переубедить твоих родителей, то ты ошибаешься! Я теперь сама мать и понимаю их. Они же за тебя беспокоятся, чёрт возьми! Им и без этого сейчас хватает тревог...

Потому что, несмотря на оставшуюся в прошлом романтику синих ночей, Розка в конце тридцатых годов уже прекрасно понимала то, чего по глупости и молодой беспечности не понимала я.

Ночь. Гулкие шаги в длинных коридорах 5-го этажа дома 12а. Шаги грозно и неумолимо приближаются, приближаются... У чьей двери остановятся они? Вот они уже совсем близко...

Ночь за ночью родители лежали без сна, с замиранием сердца прислушиваясь к этим шагам. Под кроватью, точнее, под двуспальным норвежским диваном у папы не один год стоял чемоданчик: две пары белья, мыло, зубная щётка... Это на случай, если за ним придут. Само собой, папа не знал за собой никакой вины, но невиновность ещё никого не ограждала от ареста.

А я в это время *дрихла*, беспечно мечтая о памирах и парашютах. Изредка (очень редко!) и я просыпалась и тоже слышала ШАГИ, но не придавала им никакого значения.



Потому что родители ничего не рассказывали мне об угрозе, нависшей над ними, как и над бесчисленными другими семьями. Вдобавок папа ведь был *заграничник*, что с точки зрения спецслужб делало его особенно подозрительным. Родители щадили меня, берегли мою подростковую жизнерадостность. Вопреки ныне распространённому мнению, не все подростки печальные. Наверно, только умные. Я же была глупая и весёлая.

Молчание родителей, вероятно, объяснялось ещё и другим: они боялись, что я буду болтать – что тогда было опасно для жизни.

Всё это Розка понимала уже тогда. Как друг дома, очень жалела моих родителей. Да и сама она тоже могла опасаться за собственную семью, хотя её муж Мика и не был *заграничником*. Меня она просветила гораздо позже, уже во время войны, когда все мы были вынуждены эвакуироваться в Свердловск (ныне Екатеринбург). Я была потрясена, но по-прежнему не осознавала глобального характера репрессивной системы.

А тогда, в конце тридцатых годов, я продолжала часто прибегать к Розке на Кадашевскую. Её комната в мрачной коммуналке была всегда приветлива, освещена, там была умная и добрая Розка, там был маленький кудрявый Мишка, которого я очень любила. А на комодѣ стояла большая фотография: неописуемо кудрявый Мика, совершенно голенький, стоит на высоком берегу то ли моря, то ли реки, и готовится отважно нырнуть в воду... Наверно, это был отзвук романтической юности хозяев, когда синие ночи ещё взвивались: ведь Мика был не то пионервожатым Розки, не то её комсомольским вождѣм. А нагота его на снимке, очевидно, должна была символизировать свободу нового поколения от всяческих цепей, особенно – капитализма.

Но в пору моих набегов на Кадашевскую набережную Мика был уже степенный, серьёзный, корректно одетый директор Дома художественного воспитания детей. Розочка попросила его заняться мной.

Дело в том, что я и Розке периодически читала свои стихи, и она хвалила их так же беспринципно, как дядя Абраша<sup>58</sup>. Вот она и надумала – чтобы отвлечь меня от памиров и парашютов – включить меня в управляемый литературно-творческий процесс, – разумеется, в лоне Дома художественного воспитания. Мика благосклонно отнёсся к просьбе жены и записал меня в поэтическую секцию ДХВД.

Дом художественного воспитания располагался в одном из флигелей Музея революции, б. Английского клуба на Тверской, около площади Пушкина. Сюда я приходила теперь раз в неделю и слушала, как другие подростки читают свои стихи. Предстояло это сделать и мне. Но ещё до роковой даты я оставила секцию – в глубине души я всегда понимала, что я не поэт, а версификатор, и выше этого никогда не поднимаюсь. Так что художественно воспитывал меня Мика Гутерман совсем недолго.

Более успешно воспитал он Майю Туровскую<sup>59</sup>, соседку Гутерманов-Берманов по коммуналке – пухленькую девочку с красивыми глазами и тѣмным пушком над верхней губой. Ей было всего 14 лет, когда она прочитала замечательный доклад по западноевропейской литературе (кажется, о Мольере? Впрочем, я не уверена) на объединѣнном заседании наших секций – литературоведческой и поэтической. Несомненно, очень способная и столь же энергичная, Майя впоследствии окончила два института и стала известным

<sup>58</sup> Дядя Абраша – Абрам Ефимович Гутман, он же поэт А. Оршанин. В.Ф.

<sup>59</sup> Майя Иосифовна Туровская (р. 1924) – театровед и кинокритик, историк кино, сценарист, культуролог. Доктор искусствоведения, член Союза писателей СССР. В.Ф.

литературоведом, театроведом и кинокритиком – со всеми атрибутами и предметами этой касты. Много лет мы с ней жили в одном доме на Красноармейской, в одном подъезде, но она вспоминала обо мне, как о «своём человеке» (её термин!), только, когда ей было нужно, а о Розке и вовсе не вспоминала.

Впрочем, судьба уготовила ей тяжёлое испытание, и, насколько я знаю, она не бросила свою старую свекровь, мать её покойного мужа, и, кажется, даже не притесняла её. Что ж, если так, это ей зачтется...

Май 2000 года. Германия. Фульда.

Я раскрываю очередной номер газеты «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», доставленный нам нашим другом-монахом, и читаю в нём статью Майи Туровской. Она рассуждает о природе российского юмора, главным компонентом которого считает русский мат. Вот бы мы с Розкой похихикали...

А потом была война... Июль 1941 года. Москву бомбят. Розкин Минтрудрезерв эвакуируют из Москвы на Урал.

Обращаясь ко мне, папа коротко обронил:

– Поедешь с Розкой в Свердловск. Она берёт тебя, как свою племянницу. Собирайся.

И ушёл на работу.

И я тоже ушла на работу.

В июне 1941 года я окончила среднюю школу и начала работать в Радиокомитете на Пушкинской, на Инорадио. И вот, пожалуйста...

Чтобы избежать тягостных объяснений дома, в присутствии мамы, я поехала к папе на работу, в Архитектурно-проектную контору на улице Веснина.

Попросила секретаршу впустить меня в папин директорский кабинет.

– Папа, я не поеду с Розкой на Урал. Я взрослый человек. Я работаю. И оставлять вас одних под бомбами не намерена.

Папа промолчал. Куда девалась его обычная вспыльчивость...

– Скажи, пожалуйста, – наконец выговорил он, – кто у нас глава семьи и кто должен в ней принимать важнейшие решения?

– Конечно, ты, папочка! Но я взрослый человек и в решениях, меня касающихся, должна участвовать. В Свердловск я не поеду.

«Я взрослый человек», – я повторяла это, как заклинание.

– Можешь идти!.. – устало проговорил папа. – Больше у меня к тебе вопросов нет.

И углубился в свои бумаги.

Я сразу же поехала к Розке. Сборы уже шли у неё полным ходом. Маленький Мишка с визгом носился между стопками детского белья. Розка сказала, что полностью понимает меня.

– Да, – сказала она. – Поступай, как знаешь. Наверно, и я на твоём месте рассуждала бы точно так же. Но если передумаешь – буду рада.

Мы обнялись – и я уехала...

16 октября 1941 года. Гитлеровцы были уже в 25 километрах от Москвы. По приказу ВЦСПС (которому подчинялась папина контора) мы с папой отправились на Курский вокзал и после долгого ожидания сели в поезд, который повёз нас на Урал, в тот же Свердловск, куда я отказались поехать с Розкой.

Ехали мы в дачном вагоне три недели... Мама уже была на Урале, в деревне Малая Вильва под Пермью<sup>60</sup>, куда я ещё раньше успела её отвезти.

По дороге наш состав часто бомбили. Но тогда меня это совершенно не волновало.

Свердловск. Я вышла из вагона на ватных ногах, распухших от долгого сидения (лечь ведь было негде), стоянья и голодания.

Нас поселили на чердаке Дома Союзов, странного розового дворца у моста на берегу реки. Там (на чердаке) уже был сколочен из досок какой-то загон.

Совсем близко от нас жила Розка. С маленьким Мишкой и какой-то чудной няней, похоже, что почти глухонемой. Розка сразу же принялась деятельно нам помогать.

Прежде всего, она регулярно снабжала нас талонами на суп в подведомственной ей столовой. На *второе* мы не имели права, но супов можно было брать сколько угодно – мы ими *наливались* (в них почти ничего не плавало) и как-то с их помощью ещё таскали ноги. Потому что по карточкам, кроме 400 г. хлеба, не давали **ничего**. А когда нет ничего, равным счетом, **ничего** другого, то 400 г. хлеба – это, оказывается, очень мало.

Свердловчане, с их характерной уральской фонетикой, говорили:

– Дык, когда хлеба не хватает, дык что поделаешь!..

Это был постоянный рефрен, который можно было услышать на улице, в трамвае – где угодно.

Но сама Розка голодала ничуть не меньше нас. Она думала только об одном – как прокормить Мишку. В отличие от нас, неработающих (я ещё не успела устроиться на работу, а против папы местные *боссы* ВЦСПС начали травлю – уволили его якобы за то, что в Москве он не дождался письменного приказа об эвакуации), у неё была рабочая карточка, дававшая право на 800 г. хлеба в день. Изредка ей также перепадало что-то от её Минтрудрезерва.

Но всё, абсолютно всё, что удавалось ей получить, обменивалось на молоко, масло, творог, – короче, – на полноценные продукты для Мишки. А ведь надо было ещё няньку кормить, – иначе как могла бы Розка ходить на работу?

Даже из пресловутых супов вынимала Розка редкие лапшинки и потом поджаривала их на масле для Мишки, а сама глотала одну воду. Она так исхудала, что было страшно смотреть: казалось, любой порыв ветра может её унести.

Однако Розка твёрдо стояла на ногах – она ведь была единственной опорой и защитой маленькому сынишке. Мика был на фронте и в каждом письме оттуда писал:

– Главное – береги книги!

Дело в том, что ещё за много лет до войны Мика начал коллекционировать книги, причём собирал он только переводную зарубежную литературу. После войны мне удалось во многом пополнить его собрание – и собственными работами, и работами моих друзей. Надо ведь вспомнить, что тогда купить эти книги в магазине было практически невозможно.

Но тогда, в осенне-зимнем Свердловске 1941-го года, у Розки была одна задача – спасти ребёнка и выжить самой...

Как-то раз, должно быть, это было уже в семидесятые годы в Москве, мне довелось встретиться со взрослым Мишей Гутерманом. Понимая,

---

<sup>60</sup> О нашем пребывании в Малой Вильве Пермской (тогда – Молотовской) области, что от Перми довольно далеко, рассказано в моей книге «Школьная дорога, опалённая войной», М.: издательство Триумф, 2012. После войны в этих глухих местах были развёрнуты лагеря ГУЛАГа. В.Ф.

что по малолетству он тогда, в Свердловске, не мог оценить всей величины материнского подвига Розки, я решила рассказать ему об этой поре.

Он выслушал меня без особого интереса, но, тем не менее, произнёс с должным пылом:

– Да, в этом она вся! Узнаю мамин характер!

А мне тогда, в Свердловске, прежде всего надо было подумать о том, как поддержать папу: его и без того подточенный болезнью организм уже был заметно ослаблен голодом.

Считанные носильные вещи, которые я ещё успела прихватить с собой из Москвы, я очень быстро *спустила* на рынке в обмен на картошку. Но она скоро кончилась, да и не хватало папе одной картошки без жиров.

И тут снова выручила нас Розка.

Как-то раз я пришла к ней на работу и застала при ней её начальницу – даму по фамилии Куклина, вдову известного партийного деятеля Куйбышева<sup>61</sup>. Я хотела сразу уйти, но дама принялась меня расспрашивать и разглядывала меня с любопытством.

Вечером к нам, в наш дощатый чулан на чердаке ненадолго зашла Розка и скоро попросила:

– Проводи меня!

Когда мы с ней спустились вниз, она сказала:

– Вот что, Сонька, не знаю, как ты к этому отнесёшься. Куклина разглядела у тебя на запястье твои золотые норвежские часики. Она догадалась по твоему виду, что в семье – голод, и предложила, чтобы ты продала ей эти часы, а она даст тебе за это и масла, и колбасы...

Молодец, Куклина! Дамочка, что называется, *не терялась*. Должно быть, недаром в своё время Сталин, умиряя после смерти Ленина Крупскую, пытавшуюся против чего-то протестовать, говорил ей без обиняков:

– Вы... того, потише, прошу Вас! А не то, смотрите, – мы возьмём, да и Куклину женой Ленина сделаем!

Эту деталь не без гордости сообщила Розке сама Куклина.

Норвежские часики, в самом деле, подарили мне в бытность нашу в Норвегии родители, когда мне исполнилось 11 лет. Они и вправду были мне дороги.

Но я ни секунды не колебалась. Назавтра же, прихватив с собой часики и рюкзак, я отправилась к Куклиной, отдала ей часы – и получила вожделенное масло и колбасу. Не так уж много весила эта добыча. Розка потом ругалась: начальница-де могла быть и пощедрее. Но не могла же я с ней торговаться!

Я радовалась, что могу подкормить папу.

Перезимовали. Выжили с помощью Розки.

Весной 1942-го года папа вернулся в Москву – на работу в свою Архитектурно-проектную контору.

Скоро за ним последовала и я.

И, кажется, последней вернулась в Москву Розка.

---

<sup>61</sup> **Валериан Владимирович Куйбышев** (1888-1935) – революционер, а затем советский партийный и политический деятель. Член Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б), председатель ВСНХ, председатель Госплана СССР. Каких-либо сведений об этой Куклине я в Интернете не нашёл, что, естественно, ничего не значит. Однако, согласно Википедии, у Куйбышева были 4 жены. Куклина среди них не названа. Последней (и единственной официальной) его женой, до самой его смерти, была Ольга Андреевна Лежава (1901-1984). Возникает вопрос: вправе ли Куклина была именовать себя вдовой Куйбышева? Может быть, «дети лейтенанта Шмидта» продолжали процветать на просторах нашей страны? В.Ф.

Здесь ей тоже было нелегко. Жилось трудно. Но Мика по-прежнему писал ей с фронта:

– Главное – береги книги!..

Правда, скоро Розка получила повышение – она стала в своём министерстве начальником планово-финансового отдела. Наверно, это назначение принесло с собой известные привилегии.

Но оно же принесло с собой острую проблему: всё труднее становилось в условиях так называемого ненормированного рабочего дня – обеспечивать присмотр за маленьким Мишкой.

Вдобавок Мишка уже начал учиться в школе, где, очевидно, не было *продлёнки*. И после уроков он часто бегал во дворе без всякого присмотра.

Однажды, возвращаясь вечером с работы, Розка увидела свору мальчишек, преследующих какого-то одного запуганного мальчонку с криком:

– Жид! Абрам! Сдохни!

В этой своре был и Мишка. Он тоже кричал: «Жид! Абрам!», очевидно, не понимая, что всё это значит.

Розка, понятно, очень огорчилась.

Зиночка, узнав об этом, осуждающе покачала головой:

– Я бы такого нипочём не допустила. Не надо мне этих денег, не надо почёта, если ребёнок беспризорный! Я бы бросила высокий пост и ушла на какую-нибудь мелкую должность...

Но Розочка не страдала манией величия. Просто ей надо было не только прокормить сына, но ещё и добыть для семьи квартиру. А это, как известно, с высокого поста легче...

Мика вернулся с фронта контуженный, с подорванным здоровьем. Главой семьи по-прежнему оставалась Розка.

Но с первого захода ей не удалось добыть квартиру: семья получила лишь комнату на Смоленской. Квартира состоялась – ценой больших усилий – много позже.

В последующие годы – после Свердловска – мы виделись редко. Сначала я была 2 года на фронте, потом – больше 3-х лет в Берлине, а возвратившись, что называется, жила *под током*: при двух детях кончала университет. А окончив его в 1951 году, поступила на работу в «Литгазету», где тогда работали день и ночь.

Но мы то и дело перезванивались: душевный контакт сохранялся.

Потом наступило время, когда мы с Валькой стали вывозить детей, а затем и внуков, к морю, точнее, на Рижское взморье. И тут нас ждало радостное общение с Розкой. Обычно мы жили в Дубултах, в Доме творчества Литфонда, а Розка обреталась по соседству в Майори, в домах, арендуемых Минтрудрезервом. Мы обычно гуляли с ней по берегу моря, где на определённом участке с Розкой часто здоровался Косыгин<sup>62</sup> (у него здесь была дача), что привлекало к нам любопытные взоры окружающих. А он был просто знаком с ней по работе и странным образом не разучился ещё здороваться с нормальными людьми.

Пора заканчивать и без того затянувшийся рассказ. Просто, пока я пишу, мне всё мнится, что Розка ещё жива.

---

<sup>62</sup> Алексей Николаевич Косыгин (1904-1980) – советский государственный и партийный деятель. Председатель Совета народных комиссаров РСФСР (1943–1946). Председатель Совета министров РСФСР (март 1946). Председатель Совета министров СССР (1964–1980). Дважды Герой Социалистического Труда (1964, 1974). В.Ф.



## О тётё Лине Сабсович, Жене Левинсон и некоторых других

---

Уже десятый год мы живём в Фульде. Отсюда я изредка звонила Розке в Москву, иногда просто так, но обязательно – под Новый год.

Она радовалась, говорила:

– Все меня забыли.

Она жила теперь, вернее, лежала, не вставая, в новой, общей с семьёй сына, квартире.

В последние годы она всё твердила:

– Я хочу уйти.

И, правда: Розке, привыкшей всегда жить интенсивно и ярко, зачем ей это прозябание?

Вот и ушла она от нас.

Светлая память тебе, Розанька, милая.

1 июня 2000 года,  
Фульда

## О тётё Лине Сабсович, Жене Левинсон и некоторых других

Стоял март 1945 года. По Чистопрудному бульвару, от Петровки, к зданию Министерства лёгкой промышленности шли трое: молодой майор с широким разлётом бровей, за ним рыжеволосый парень в шинели из отличного английского сукна, но без погон, и совсем уж молоденькая, но не слишком стройная девушка – лейтенант в плохонькой шинели и кирзовых сапогах 43-го размера. Впрочем, она шла впереди, потому что она одна знала дорогу.

Уже на самом подходе к Минлегпрому к ней вдруг бросилась маленькая женщина с тёмными волосами, причёсанными на прямой пробор, и пучком, с очень русским (особенно – для еврейской женщины!) лицом:

– Сонечка! Слава Богу! Уж заждались тебя! Который день ждём...

– Нюсенька!

Женщины обнялись. «Сонечка–лейтенант» представила своих спутников.

– Ступайте прямо в дом через главный вход – там работает лифт! Не вздумайте карабкаться по лестнице для жильцов! Пусть майор попросит – и вас пропустят! – выпалила тётя Нюся, озабоченно поглядывая на толстоватую племянницу, – да, кстати, деточка, как ты себя чувствуешь?

– Кто, я? Прекрасно! – беспечно протянула та в ответ.

Тётя Нюся только покачала головой и, извинившись, что спешит на работу, заторопилась к трамваю.

В высоком застеклённом портале дома № 12а – Минлегпрома – за небольшим столиком сидел дежурный: он олицетворял собой местное Бюро пропусков.

– Сюды жильцам входа нет! – объявил он. – Уж вас, товарищ майор, я бы как-нибудь уважил, а с этими (презрительным взглядом он смерил рыжеватого парня и Соню), простите, не могу! Или хотите: я **вас** оформлю, а энти пусть шлёпают через двор...

Получив в буквальном смысле от ворот поворот, путники, однако, нисколько не расстроились и с весёлым смехом *заплёпали* через двор к чёрному ходу.

И пока они поднимаются по крутой винтовой лестнице на 5-й этаж, самое время представить их читателям.

Первым отмерял высокие ступеньки майор, 26-летний Василий Михайлович Мамонтов, муж Сони-лейтенанта. Ему предстояла первая встреча

с её родителями, жившими на 5-м этаже в квартире № 23. Впрочем, и сама Соня жила здесь с 1931-го года и отсюда два года назад ушла на фронт. Осенью 1944-го года Василий и Соня зарегистрировали свой брак в случайной литовской деревне, и сейчас Соня была на 7-м месяце беременности, из-за чего её, под самый конец войны, откомандировали из Действующей армии.

Майор Мамонтов, напротив, был самый что ни есть командировочный: его начальник подполковник Бродский поручил ему доставить в Москву и сдать в ГлавПУР ценного перебежчика – 23-х-летнего австрийца Франца. Франц был мобилизован в германский вермахт и, очутившись в России, нетерпеливо, по собственному признанию, дожидался минуты, когда можно будет перейти на сторону русских. Его родители, австрийские рабочие-коммунисты, воспитали его в соответствующем духе.



**Василий Михайлович Мамонтов и Софья Аркадьевна Тарханова с дочерью Олей, Берлин, 1946 г.**

Франц был симпатичный молодой человек с открытым честным лицом и ворохом иллюзий в рыжей голове. Даже самые бдительные – по роду службы – дяденьки в советских войсках сразу уверовали в искренность его побуждений. Короче, было решено отправить его в Москву, а оттуда – в Антифашистскую школу, готовившую, в частности, уполномоченных Национального Комитета «Свободная Германия» (изобретённого в своё время Иосифом Самойловичем Брагинским) на всех участках фронта. Поэтому ему и выдали шинель из отличного – зелёного – английского сукна, обычно достававшегося только начальству.

Оказанной ему честью – быть сопровождаемым в Москву офицером в чине майора – Франц был обязан мне, – да нет, конечно же, не мне, а полковнику Брагинскому. Зная, что он, заместитель начальника 7-го отдела ГлавПУРа, относится ко мне, как к родной дочери, более мелкие начальники наперебой стремились ему угодить. Так что на самом деле смысл Васиной командировки был в том, чтобы он благополучно доставил в Москву беременную жену.

Впрочем, в отличие от тёти Нюси, Василий не бросал тревожных взглядов на шагавшего за ним лейтенанта. Он был уверен, что я всё выдержу – и всё будет отлично. Ведь сумела же я выпрыгнуть в последний миг на холм из грузовика, который из-за мартовской распутицы, что называется, *занесло*. В этом грузовике

я сто километров ехала к нему, к Васе *во фронт*<sup>24</sup>, и, когда грузовик перевернулся, ждала час за часом на холоде – когда его снова поставят на колёса.

А потом уже на вокзале в Риге мы втроём прыгали в отходящий поезд. И ничего...

Так что, подумаешь, какая-то лестница...

Одолев, наконец, лестницу, мы зашагали по длинным коридорам дома – и остановились в *тупичке* 5-го этажа у квартиры № 23.

Звонок. Дверь тут же открыл нам папа. Вид больной, измученный, изнурённый. Сразу ушла куда-то бесшабашная радость. Но и тут я не поняла, что к нему уже подступила смерть.

Но, увидев нас, папа просиял, даже ямочки, столь неожиданные на его мужественном лице, засверкали на впалых щеках. Со своей обычной сердечностью он обнял всех.

Мы разделись и прошли в комнату, точнее, в комнатку. Это была бывшая *моя* комната (8 кв. м). И тут с норвежского кресла поднялось прелестное существо – маленькая старушка в строгом чёрном платье, с тонким умным лицом, в пенсне. Маленькая её головка была увенчана крупными серебристыми локонами.

Это была тётя Лина<sup>25</sup>, для меня с детства *баба Лина*, жена, точнее, вдова, мамино дяди Исаака Осиповича Сабсовича, в прошлом замечательный зубной врач. Кажется, не только вся родня, но и вообще весь Таганрог ходил к ней лечить зубы, и она работала быстро, точно, легко.

Мои родители приютили тётю Лину, потому что ей больше нигде было жить. Её дочь Женя, вследствие эвакуации из Москвы, потеряла квартиру (впрочем, какая уж там квартира – это была всего-навсего небольшая комната в коммуналке на Сретенке) и теперь вела отчаянную борьбу за обретение хоть какого-нибудь жилья.

Тётя Лина приветливо улыбалась нам.

Наш «пленный» австриец оторопел:

– *Ihr werdet es nicht glauben*, – сказал он, – *aber fast genau so sieht meine Oma aus...*<sup>26</sup>

Он хотел поцеловать ей руку. Но тут смутилась тётя Лина. И мы увидели, что она держит в руках какое-то рукоделие.

Она что-то шила из кусочков ткани, показавшейся мне страшно знакомой. Да, конечно же, это папина пижама, та самая, ещё норвежская... Почему милая тётя Лина её кромсает?

Словно угадав мои мысли, тётя Лина улыбнулась:

– Сонечка, это для твоего ребёночка...

Она шила распашонки!

За долгие годы папины фланелевые пижамы, купленные ещё в Норвегии (в 1933-1936 г.г. папа работал в торгпредстве в Осло), изрядно поизносились, и тётя Лина выбирала из них целые куски, чтобы пошить – на руках – тёплые распашонки для... для Ольки! Но тогда ведь ещё никто не знал, что это будет Ольга...

Нас хорошо накормили, что по тем временам было подвигом – накормить трёх человек! Всё ведь было (а то и ничего не было!) по карточкам. Правда, и мы приехали не с пустыми руками – привезли свой офицерский паёк в виде

<sup>24</sup> Когда ехали на передовую, это называлось *на фронт*. А *во фронт* означало, наоборот, *в тыл* (во фронтовой штаб). С.Т.

<sup>25</sup> Тётя Лина, Елена Соломоновна Сабсович, в дореволюционном Таганроге – весьма обеспеченный человек, владелица дома. В.Ф.

<sup>26</sup> Вы не поверите, но моя бабушка выглядит почти точно так же (нем.). С.Т.

американских консервов – тушёнку, колбасу, ветчину, – всё, что один старый мой друг называл *рузвельтом в банках*.

А потом нас уложили спать. Уж это, наверно, было не меньшим родительским подвигом. Вся квартира – 27 квадратных метров. В одной, большей комнате – родители, в маленькой комнате, вдобавок, проходной, тётя Лина. Крошечная кухня, передняя и того меньше. Но всем нашлось место. Нас уложили спать. Не то, что в современном мире, где подчас и в самых роскошных апартаментах для близкого человека нет места... Но, признаться, тогда я об этой проблеме нисколько не задумывалась. Родительское радушие казалось мне чем-то совершенно естественным, само собой разумеющимся.

Утром нас опять накормили, и Вася повёл нашего «пленного» на Арбат, в 7-й отдел ГлавПУРА. Прощаясь, Франц трогательно поблагодарил всех за тёплый приём, сказал, что никогда этого не забудет.

И мы с тётей Линой остались вдвоём в её комнатке.

День только ещё начинался. Родители, устав от хлопот, связанных с нашим приездом, видимо, прилегли отдохнуть.

На стуле перед тётей Линой лежали две аккуратные стопочки обрезков – от двух папиных фланелевых пижам. Сколько раз стирались они за эти годы! Зато и ткань получилась из них на редкость мягкая, просто находка для нежного тельца новорождённого, объясняла мне тётя Лина. Не оставляя работы над Олькиными распашонками, она поведала мне о злоключениях её старшей дочери Жени (Евгения Исааковна Левинсон была двоюродной сестрой и лучшей подругой моей мамы), отчаянно борющейся за обретение хоть какой-то комнаты в Москве.

– Кажется, сейчас, наконец, что-то наклёвывается, – со счастливой улыбкой сообщила мне тётя Лина и извиняющимся тоном добавила:

– Сейчас мне пока ещё просто некуда деться. Но ты не думай, Сонечка, к тому времени, когда появится твой маленький, я непременно уже перееду к Жене.

– Ну, что вы, тётя Лина, не уезжайте, живите у нас! – совершенно искренне возразила я. Я помнила тётю Лину ещё со времён моего таганрогского младенчества, и она мне очень нравилась. Милое тонкое лицо в обрамлении серебристых локонов...

И её дочку Женю я хорошо знала, тоже ещё со времён Таганрога. И она была милым, доброжелательным человеком, несмотря на тяжёлую судьбу, выпавшую ей. Её муж Марк, очень достойный человек, с внешностью типичного русского интеллигента, рано умер, и жизнь её отныне была сломана. Кажется, Марк скончался от инфаркта, но обстоятельства его смерти всё же не прояснены до конца. Папа, друживший с ним, рассказывал мне, что в годы больших репрессий Марка арестовали. Обещали выпустить, если он согласится стать стукачом. Он не согласился. Тогда ему пригрозили, что арестуют жену, если он и дальше будет упрямиться. И в тот же вечер он услышал стук женских каблучков по каменному полу соседней камеры. Всю ночь метались по камере эти каблучки. Наутро Марк сказал следователю, что готов подписать обязательство, если немедленно выпустят жену.

– А мы её и не брали, – ухмыльнулся тот.

Но обязательство было уже подписано. Марка, как было обещано, выпустили из тюрьмы.

Всю эту историю он – единственному – поведал папе, который был этим потрясён и глубоко подавлен.

Марк чрезвычайно тяжело переживал случившееся. Человек чести, он не мог жить с этим пятном на совести. Так что...

Думаю, Женя не была посвящена в детали этой трагедии, так, по крайней мере, уверял папа. Ей хватало её вдовьих забот. Родители старались ей помочь – привезли ей из Норвегии пишущую машинку, что тогда было величайшей ценностью (за это их, как водится, упрекали другие родственники: «почему не привезли нам?»), чтобы она могла брать работу на дом и зарабатывать себе на жизнь. Подарив машинку, родители также всегда старались *сосватать* ей переписку – относить ей такую работу иногда поручали мне (всё это, конечно, происходило в конце 30-х годов, перед войной).

Но вернёмся к нашей тихой беседе с тётёй Линой в марте 1945-го года в квартире номер 23 на Чистых Прудах. Помнится, я тогда взяла скроенную ею распашонку и принялась её подрубать. В кройке я была не очень сильна, вдобавок надо было стараться избегать швов, чтобы они не давили на нежную кожу ребёнка.

Тётя Лина рассказала, что её внук, Женин сын Юра Левинсон, окончил Институт инженеров железнодорожного транспорта. Юра, который запомнился мне кудрявым тёмноволосым мальчуганом и бывший в своё время моим поводырём по Ленинграду, в тот единственный день, когда мне довелось там побывать, на пути из Москвы в Норвегию, через Хельсинки и Турку (мне было 10 лет), теперь работал в Перми. Он женился на русской женщине, которая родила ему двоих детей. Позже, навещая нас уже в квартире на улице Алабяна, Женя рассказывала мне, что невестка водила детей в детский сад. Они носили русскую фамилию матери. Явление, вполне понятное и закономерное. Оно даже не заслуживало бы упоминания, если бы не смешной эпизод, навсегда запомнившийся нам.

Как-то раз Юрина жена пришла после работы в детский сад, чтобы забрать своих детей домой, и принялась торопливо их одевать. Рядом сидела другая мать, которая тоже одевала своего ребёнка, но при этом громко приговаривала:

– А мы нашего папочку не стыдимся! Мы нашего папочку уважаем. Мы папочкину фамилию носим, как и положено!

Соседняя мама тоже была русская, а её сын, стало быть, как и Юрины дети, был полужеврей.

Женина невестка очень расстроилась...

Зато *наш папочка* прочно вошёл в наш словесный обиход.

Но я перескакиваю невольно через годы, квартиры и дома...

Вернёмся же в март 1945-го года, в квартиру № 23 дома 12а на Чистых Прудах.

Обшивая Олькины распашонки, тётя Лина продолжала свой рассказ.

Её младшая дочь Валя, которую я никогда не видела, оказывается, жила в Ленинграде и воспитывала *петеушников*. Для потомков, не знающих, что ПТУ – это Профессионально-Технические Училища, созданные в своё время для подготовки квалифицированных рабочих кадров.

Не знаю, как в точности называлась должность Валентины Исааковны в штатном расписании ПТУ, но она оказалась прекрасным воспитателем. Она искренне полюбила этих мальчишек, по преимуществу трудных, неотёсанных, грубых, подчас из асоциальной среды, и во всём им помогала. Хоть за глаза они называли её *Сраковна* (о чём она сама написала матери), но, видимо, сумели оценить её доброту. Видимо, и она, как Женя, была наделена человеческим обаянием.



Женя не унаследовала трудовой и творческой энергии своей матери – тёти Лины. Но беспомощная, неорганизованная, она в то же время неотразимо привлекала всех своей доброжелательностью, мягким нравом. Во дворе дома, где она обычно сживала в тёплую погоду, соседи часто просили её присмотреть за их детьми, бегающими тут же, и она охотно соглашалась. Словом, *жидовку* во дворе любили.

Что уж говорить о моей маме – она только её одну и любила. Не выносившая папиросного дыма, демонстративно выбегавшая из квартиры, когда Вася закуривал в своей комнате, она спокойно сидела рядом с Женей, выкуривавшей одну папиросу за другой.

– Мама, ты же не выносишь запаха папиросы!?

– Так это же Женя... Она приятно курит.



Евгения Исааковна Левинсон с Соней, 1926 г.

Но это было позже, в доме на улице Алабяна.

А сейчас у нас март 1945-го года. На Чистых Прудах.

Ещё до наступления лета Женя и впрямь получила новое жильё – *полуподвальную* комнату в каком-то захудалом доме. Тётя Лина сразу же начала собираться в путь. Папа сходу предложил ей остаться.

– Вы немолоды, тётя Лина, а у нас здесь как-никак всё-таки больше комфорта. Оставайтесь с нами!

– Спасибо, Арочка! Я очень тронута. Но я должна быть там, где моя дочь...

А была она уже очень старенькая и плохо ходила, ноги у неё были совсем больные («Я слишком много стояла – годами – у зубоврачебного кресла, вот и результат...»).

На столе лежали две стопочки крохотных распашонок. Оставалось только постирать их и погладить.

– Спасибо Вам огромное, тётя Лина!

– Не за что, Сонечка! Я рада, что смогла быть хоть чем-то полезна. Кстати, у тебя ведь девочка будет...

– Почему Вы так думаете, тётя Лина?

– Я не думаю, я знаю. Вижу это по очертаниям фигуры.

## О тётё Лине Сабсович, Жене Левинсон и некоторых других

---

Какая уж там фигура... Когда перед войной подростком я приходила к Жене на Сретенку – я часто приносила ей *сосватанную* родителями машинописную работу – она, бывало, смеялась:

– Право, не пойму, что у тебя тоньше – шея или талия...

Но теперь талия исчезла. Когда уезжала тётя Лина, я была уже на девятом месяце.

Тётя Лина собрала свой нехитрый скарб, мы с папой вызвали ей такси и проводили к машине.

Уже стоя на тротуаре, папа снова сказал ей:

– Помните, что в этом доме у Вас оплот. Если что, Вы всегда можете вернуться...

Так сложилась судьба, что больше я тётю Лину не видела...

А Жене мне удалось потом периодически помогать сначала из Берлина, потом из Москвы. Живя на Алабяна, мы с мамой еженедельно закупали для неё продукты, и мама в воскресенье, прихватив купленное, уезжала – на такси – к ней на весь день. Потом у мамы уже не стало сил к ней ездить. И я – в силу некоторых причин – не могла.

Последний свой визит к Жене мама совершила в обществе Зины, приехавшей на лето из Ростова. Вернулась Зина оттуда потрясённая, подавленная.

– Женя не может жить одна, – сказала она мне, – там кошмар. О чём думает Юра? Я **должна** ему написать.

И она написала. Но он ей даже не ответил. Наверно, у него, и правда, была нелёгкая жизнь. Но у кого она лёгкая?

Под конец он всё же забрал её к себе в Пермь. Вот именно, под конец.

Она как-то позвонила маме из Перми:

– Лида, у тебя есть шуба?

Бедные старухи! Обоим тогда уже было далеко за восемьдесят, а Женя ведь была ещё на 5 лет старше мамы. Конечно же, у мамы **была** шуба. У неё ведь была и дочь, которая, естественно, об этом позаботилась.

Но вернёмся в жизнь – тогдашнюю и нынешнюю.

Эта жизнь всегда сталкивала меня с сердечными, отзывчивыми, добрыми людьми. Конечно, были и другие, но хороших было больше. Может, мне просто везло, как уверяла мама, а, может, кто-то незримый, желая мне добра, сознательно вёл нас друг к другу, ковал между нами связь? Не знаю. Но сейчас, под занавес, мне захотелось рассказать хотя бы о некоторых из них, чтобы осталась о них хоть какая-то **память**.

Возможно, в этих моих рассказах, что называется, *слишком много меня*. Это вышло невольно. Но ведь, скорее всего, я так и не напишу связного рассказа о собственной жизни.

Так пусть же кусочки моей жизни, как обрезки папиных норвежских пижам, послужат доброму делу.

3 мая 2000 года.

*Не забывай меня!»*

*(из папиного письма ко мне – открытки от 13 ноября 1932 г.)*

## **О моём отце Аркадии Семёновиче Тарханове**

Сегодня 14 июня 2005 года.

14 июня – день рождения моего отца – Аркадия Семёновича Тарханова. 111 лет исполнилось бы ему сегодня.

Еще пять лет тому назад, получив мои первые заметки об ушедших близких, мой двоюродный брат Витя упрекнул меня:

– Ты так мало написала о своём отце. А ведь Арочка был яркой личностью.

«Арочка...». Как хорошо брат Витя это написал. Как приятно было вновь увидеть это имя. Так папу называли только самые близкие...

Много раз в последние годы возвращался к этой теме Витя. В январе 2004-го года он написал: «К сожалению, мы очень мало знаем о наших предках, почти ничего. А ведь мы в долгу перед ними: наши потомки будут знать о них только то, что мы им передадим. Человек продолжает жить, пока его помнят. Забыли – будто и не было человека. Всё, бесследно канул в Лету. Это очень печальная участь – кануть в Лету, так, что о тебе даже твои потомки не слышали. Сонюша, я ведь не просто так всё это написал. Всё-таки хочу понудить тебя написать о твоём отце. Хоть что-нибудь. Пусть отрывочно. Это можешь сделать только ты...».

Упрёк брата Вити, конечно, справедлив. Правда, во всех моих заметках, как в первых, так и в более поздних, папа неизменно присутствует. Но, конечно, надо бы записать связный рассказ о нём. Только удастся ли это мне?

Чем ближе человек, тем труднее о нём писать.

Постараюсь.

### **От Симона Ёсельсона до Аркадия Тарханова**

Минувшие годы таятся во мгле. Я не случайно перефразировала Пушкина: мы так позорно мало знаем о наших родителях, а уж о дедах и бабках, как правило, – и вовсе ничего.

Главная причина – наше равнодушие и эгоцентризм, эмоциональная некультурность.

Слишком поздно (как говорят немцы, wenn überhaupt! – если вообще) осознаём мы нашу кровную связь с предками. Но тогда обычно уже некого и спросить...

Из мглы минувшего высветился на миг Симон Ёсельсон, служащий бакинской нефтяной компании (не волнуйтесь, Александр Исаевич<sup>63</sup>, честное слово, он не владел концерном и даже не удостоился чести представлять «Юкос», а был лишь скромным служащим бакинской фирмы).

В 1903-м году он скоропостижно скончался, как тогда говорили, «от разрыва сердца», 33 лет от роду. Он оставил жену и троих детей...

---

<sup>63</sup> 05.06.05 корреспондент немецкого радио сообщил из Москвы, что Солженицын в своём выступлении обрушился на нефтяных олигархов (камушек в Ходорковского, сидящего за решёткой, а впоследствии осуждённого на 8 лет лагеря строгого режима и отправленного в Краснокаменский лагерь Читинской области, где в апреле 2006 года лагерник, «провокаатор» Кучма напал на него ночью с намерением выколоть спящему глаза и изрезал ему ножом всё лицо). С.Т.



Симон Ёсельсон

Но какое отношение мог иметь Симон Ёсельсон к Аркадию Семёновичу Тарханову, моему отцу?

Этот вопрос я сама задала папе осенью 1941-го года в Свердловске, куда нас выбросила война.

На улице мы случайно столкнулись с его бывшими соседками, то ли по Енакиеву, то ли по Днепропетровску.

– Ой, ой, ой! – запричитали эти симпатичные тётеньки с истинно еврейской экспансивностью, – ой, ой, Аркашенька, сколько лет, сколько зим!

Они тоже были эвакуированы из своих родных мест – Украина была захвачена гитлеровцами.

Увидев меня, тётеньки и вовсе растрогались:

– Ой, ой, ой, Аркашенька! Это твоя дочка? Она похожа на всех Ёсельсонов!

Когда мы остались одни, я спросила отца:

– Папа, а кто такие все эти Ёсельсоны, на которых я похожа?

И отец рассказал:

Еще за несколько лет до революции он юношей увлёкся марксизмом и так хорошо освоил эту теорию, что товарищи по партии поручили ему самому вести марксистские кружки среди рабочих.

– Только вот что, Аркаша, – сказали ему с большевистской прямоотой, – с твоей фамилией к рабочим идти нельзя. Не примут. Зоологический антисемитизм, понимаешь. Меняй фамилию! А так ты вполне сойдёшь за хохла.

В самом деле – отец больше походил на украинца, чем на еврея: сероголубые глаза, русые волосы (с годами они потемнели) и совсем уж светлые кустистые брови, которые ему приходилось периодически подстригать.

Это меня любой эсэсовец убил бы в первую же минуту. А отец... Даже крупный нос не выдавал в нём семита, а скорее напоминал хохлацкие носы. Я не раз встречала украинцев с таким типом лица, как у папы.

«Меняй фамилию, Аркаша<sup>64</sup>!».

Так Аркаша Ёсельсон стал Аркадием Семёновичем Тархановым.

---

<sup>64</sup> Аркашу тогда звали Арном. Арон Ёсельсон сменил не только фамилию, но и имя – по той же причине. В.Ф.

Почему он выбрал эту фамилию, я не знаю. Не в честь ли имени Лермонтовской бабушки – «Тарханы», где провёл своё детство Михаил Юрьевич? (Папа ведь так любил поэзию и поэтов).

Этого мы никогда не узнаем.

Я ведь не спрашивала.

Зато ответ на другой, единственный мой тогдашний вопрос уже ясен («Кто такие эти Ёсельсоны?»): Симон Ёсельсон, о котором я знаю лишь то, что изложила в одной строчке, был моим дедом.

А мадам Ёсельсон, если потомки позволят мне перефразировать ещё одного классика, на этот раз Флобера («Мадам Бовари – это я»), мадам, точнее мадемуазель Ёсельсон – это я...

Из мглы минувшего выступает теперь женская фигура: Софья Осиповна Ёсельсон, моя бабушка, чье имя я ношу.

Бабушка... Из старшего поколения, казалось бы, самый близкий, после родителей, человек.

Даже фотографии не видела никогда...

Всё же я знаю о ней чуть больше, чем о деде. Правда, лишь с момента её вдовства и дальнейшей мужественной борьбы за благополучие семьи.

Софья Осиповна жила с детьми в Баку, когда погиб её муж. Детей было трое: старшей дочери Циле было 10 лет, сыну Аркадию – 9, младшей дочке Нюсе – три года.

С этими тремя детьми Софья Осиповна в 1903-м году уехала к брату в Екатеринослав. Семья поселилась в Амуре – пригороде Екатеринослава.

Рассказывали, что бабушка два года держала там бакалейную лавчонку – «кормилицу» семьи.

В 1905-м году во время погрома лавчонку спалили.

Софье Осиповне удалось устроиться в местную еврейскую библиотеку, где она и прослужила до конца жизни.

Она вставала в 5 часов утра и начинала свой трудный день. Всю жизнь проходила в одном и том же плюшевом пальто, – рассказывала младшая дочь Нюся. Она же говорила, что мать никогда не жаловалась на судьбу и не ныла, как бы тяжело ей ни было. Была ровна и ласкова, хоть и в меру строга, с детьми. Отличалась неизменной приветливостью к другим людям и добротой. Всегда стремилась помочь тем, кто был ещё беднее её.

Её любили на Амуре – считали не только доброй, но и мудрой. К ней приходили – в отчаянии – брошенные жёны, больные, да и просто – соседки, нуждающиеся в совете: зная – она живо отзывается на чужую беду.

Она была поистине нравственным стержнем семьи. Отец, так мало рассказывавший о своём детстве, всегда говорил о ней с глубоким уважением и любовью.

Аркаша был крепкий мальчик, озорник, задира и драчун. Мать часто выговаривала ему за стычки с другими мальчишками.

– Ты виноват! – говорила она. – Ты сам виноват!

Сын возмущался:

– Почему ты всегда говоришь мне, что я виноват?

– Чтобы ты не думал, что ты всегда прав!

Рассказывая мне об этом, отец задним числом восхищался материнской педагогикой.

Семья жила бедно. Софья Осиповна служила в еврейской библиотеке. Старшая дочка Цилия с 11-ти лет тоже где-то подрабатывала. А десятилетнего Аркашу мать отвела к купцу, владельцу какого-то магазина, и тот взял его



к себе мальчиком на побегушках. В частности, Аркаша должен был завёртывать покупки клиентов.

Много лет спустя отец смеялся, глядя, как неловко я заворачиваю в бумагу какой-нибудь подарок для мамы или друзей, – сам он делал такие вещи мастерски, – профессионально.

Словом, у детей Ёсельсонов было трудовое детство. Моя тётя Нюся, младшая сестра отца, рассказывала мне, что, оставаясь в восьмилетнем возрасте дома одна, она должна была уже готовить обед на всю семью.

К сожалению, папа редко и мало рассказывал мне о себе, о своём детстве, о своих проказах, наконец, – я бы запомнила.

Всё же одну такую историю он рассказал.

Мальчику Аркаше было тогда лет десять. В магазине, где он служил у хозяина, как тогда говорили, «на побегушках», он познакомился с пожилым симпатичным украинцем, у которого было какое-то дело к Софье Осиповне. Он должен был вечером зайти к Ёсельсонам, и ему очень хотелось как-то высказать свое дружелюбие. Он спросил Аркашу, как сказать по-еврейски «Добрый вечер!».

Аркаша мгновенно ответил: «Хит мер, их бин а ганф!», что на идиш означало: «Остерегайтесь меня, я вор!».

Украинец несколько раз повторил «приветствие», чтобы запомнить, и был очень доволен, что быстро его освоил.

Вечером он пришёл к Ёсельсонам и, широко улыбаясь, с порога, как сказали бы теперь, – «озвучил» своё приветствие.

Девочки, сёстры Аркаши, захихикали, а Софья Осиповна, сразу догадавшаяся, в чём дело, погрозила проказнику пальцем...

Наверное, много всяких проказ было на счету у этого мальчика...

Однажды Софья Осиповна повела сына в обувную лавку.

– Нет ли у Вас ботинок для мальчика, размер такой-то? – обратилась она к продавцу.

– Для какого мальчика? Для этого сорванца, драчуна? Носится целый день по улицам, перелезает через заборы, перепрыгивает канавы, шлёпает по лужам! Да на нём подметки горят! Нет у меня обуви для такого мальчика! – грозно ответил хозяин.

Но увидев огорчение матери, тут же смягчился и помог ей подобрать ботинки покрепче и – зная её бедность – даже подешевле...

С десяти лет, стало быть, отец работал у купца. Непонятно, когда же он успевал при этом учиться. Папа рассказывал мне, что он редко посещал школу. Когда, к примеру, разливался Днепр, перейти на другую сторону реки, где находилась эта школа, становилось совершенно невозможным. Да и вообще идти до неё было не близко.

Зато он много и усердно читал, вообще, вся семья усердно читала. Папа хорошо знал русскую классическую литературу и особенно любил поэзию.

Позднее его любимым поэтом стал Надсон.

Он декламировал:

Друг мой, брат мой, страдающий брат,  
кто б ты ни был, не падай душой,  
пусть неправда и зло полновластно царят  
над омытой слезами землёй.

Пусть разбит и поруган святой идеал  
и струится невинная кровь.  
Верь: настанет пора, и погибнет Ваал  
и вернётся на землю любовь!

Он и мне не раз читал эти строки.

Наверно, можно понять, как я была взволнована, когда в 1943-м году на фронте, у подвала брошенного дома, вдруг увидела на мокрой траве томик Надсона (при советской власти его не издавали, он был объявлен декадентом). Я взяла его себе и привезла потом в Москву как мой единственный трофей.

Папа был рад свиданию с любимым поэтом...

Бабушка Софья Осиповна, как могла, помогала бедным соседям, но ей самой вполне состоятельные родственники, похоже, не спешили помочь. Юношей папе, к примеру, случалось наезжать в Харьков, где жили некоторые из вполне состоятельных, и, сделав необходимые дела, он иногда заглядывал к ним.

– Аркаша, – говорила ему тётка (в дальнейшем именуемая «чёча», – так она произносила слово «тётя»), – Аркаша, ты хочешь обедать, или ты уже обедал?

Зато потом, в тридцатые годы, когда мы жили в Москве, и папа, на взгляд провинциальных родственников, «сделал карьеру», они частенько, включая «чёчу», наезжали к нам, в нашу маленькую квартирку, и жили подолгу, ни о чем не заботясь. А маме приходилось брать на дом машинописную работу, т.к. не хватало денег на прокормление гостей. Однако из деликатности папа никогда не отказывал им в гостеприимстве.

Передо мной пожелтевший лист бумаги. На нём прекрасным папиным почерком обозначена одна из ранних ступеней его трудового пути: 1907-1911 гг. – ученик-наборщик частной типографии, Днепропетровск.

С 13 до 17 лет, стало быть, отец работал в типографии. При этом он ещё успевал участвовать в любительских спектаклях.

Актёрский талант у него, несомненно, был.

Как-то раз кружковцы – уже не знаю, в Екатеринославе или на Амуре, – поставили «Фауста» Гёте. Папа играл Мефистофеля. В чёрном одеянии (для этого были перекрашены в чёрный цвет кальсоны и майка) он неожиданно выскакивал на сцену из люка. Его появление сопровождалось взрывом петарды, как-то раз даже вспыхнуло пламя, и некоторые дамы от испуга попадали в обморок. Но, конечно же, папа не всегда страшил таким образом публику.

Впрочем, чувствительным дамам, да и не только им, был уготован более страшный взрыв, более грозный пожар...

1917-й год...



Аркадий Тарханов. 25.04.1917 г.

После работы в типографии отец несколько лет служил в заводской конторе, всё в том же Днепропетровске. И все эти годы вёл среди рабочих кружок по изучению марксизма.

Сохранился конспект, где всё тем же прекрасным папиным почерком написано: «Маркс и Энгельс открыли закон развития капиталистического общества... Развитие капиталистического общества и классовой борьбы должно привести к падению капитализма, к победе пролетариата, к диктатуре пролетариата».

Увлечение марксизмом в широких слоях думающей молодёжи в ту пору носило повальный характер. Лев Толстой назвал это «эпидемией». О «Капитале» он писал: «один неглупый немец написал неглупую книгу» и, тем не менее, полагал он, эта эпидемия (увлечение марксизмом) исчезнет, как всякая другая.

Толстой ошибся. Цепь событий, берущих своё начало от марксизма, но впоследствии совершенно утративших первоначальную суть, хорошо известна. Но в какой мере ответственен Маркс за каскад трагедий – неизбежное якобы следствие его теории?

На днях, в июле 2005-го года, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Мюнтеферинг, открывая в Трире дом-музей Карла Маркса, назвал Маркса «выдающимся экономистом».

А незадолго до этого тот же Мюнтеферинг гневно обрушился на «капиталистов, помышляющих лишь о собственной выгоде и попирающих интересы немецкого народа» – «саранчѣ й» назвал он их.

И лучший адвокат города Фульда, где я сейчас пишу эти заметки об отце, муж моей лучшей ученицы, будучи сторонником Христианско-демократического союза, а отнюдь не социал-демократов, – говорит, имея в виду сложное экономическое положение в современной Германии, прежде всего, массовую безработицу: «Маркс был прав: во всём виноват капитал».

Даже римский папа Иоанн Павел II, как известно, незадолго до смерти заклеил современный разбойничий капитализм и воззвал к социальной совести предпринимателей. Правда, он не призывал к диктатуре пролетариата...

Так можно ли осуждать юношу из беднейшей семьи, пострадавшей от погромщиков, в условиях царского гнёта и произвола увлѣкшегося учением, которое вроде бы указывало угнетѣнным путь к свободе и достойной жизни?

### Туберкулѣз как плата за героизм

Мы – Красная Кавалерия, и про нас  
Былинники речистые ведут рассказ  
О том, как в ночи ясные,  
О том, как в дни ненастные  
Мы смело, мы гордо в бой идѣм.  
Веди, Будѣнный, нас скорее в бой.  
Пусть пожар кругом, –  
Мы беззаветные герои все,  
И вся-то наша жизнь есть борьба!<sup>65</sup>

Эту песню я слышала, когда была ещё совсем маленькая. Папа часто напевал её за бритѣм.

Не знаю, как отца занесло в Первую Конную. Наверно, как тогда говорили, партия послала. Я знаю лишь от него, что он тогда именовался «Чусоснабармий».

---

<sup>65</sup> Марш Будѣнного – музыка братьев Покрасс, слова А.Д' Актиль (псевдоним Анатолия Адольфовича Френкеля), 1920 г. В.Ф.

Очевидно, это был важный титул, вполне, впрочем, в духе тех лет. К сожалению, я до сих пор не могу расшифровать его до конца.

ЧУ – это понятно: Чрезвычайный Уполномоченный.

СНАБ-АРМИИ – тоже.

А вот что такое это «СО» посередине? М.б., Совет Оборон<sup>66</sup>?

И как случилось, что именно Чусоснабармии оказался в центре батального эпизода? Такого, какой мог быть знаком нашему поколению по неисчислимым рассказам и фильмам о Гражданской войне?

На этот вопрос нет ответа, как нет и не может уже быть ответа на другие, более важные вопросы.

Мадемуазель Ёсельсон ведь не спрашивала. Впрочем, она даже не знала, что она – мадемуазель Ёсельсон...

Отец поведал мне об этом эпизоде с некоторым смущением и изрядной долей самоиронии. Поведал не потому, что по тогдашним меркам выглядел в нём героем. Просто – именно это геройство отца стало причиной недуга, который покалечил всю его последующую жизнь и безвременно свёл его в могилу.

Зима 1919-го года. Стандартная ситуация: под натиском врага конармейцы отступили. Их командир был убит. Тогда бывший при сем Чусоснаб широким («театральным», – скажет отец впоследствии) жестом сбросил с себя на снег шинель, вскочил на пень и произнёс короткую зажигательную речь. Дальше: «За мной!» и вперёд в атаку, со знаменем в руках.

Шинель осталась на снегу.

Боевая задача была выполнена. Но отец схватил жестокую простуду, которая перешла в воспаление лёгких, а на почве воспаления лёгких вскоре развился туберкулёз...

1919-й год вообще стал тяжёлым испытанием для семьи Ёсельсонов. В самом начале его, 7-го января, в первый день Рождества, умерла Софья Осиповна, моя бабушка.

Я даже не знаю её лица. Хотя папа говорил, что я на неё похожа. Не сохранилось ведь ни одного снимка.

У Софьи Осиповны был рак пищевода. Она заболела ещё до революции, долго боролась с болезнью.

Не знаю, как пережила семья первое время после революции, – эти, по свидетельству Бунина, «окаянные дни».

Шла гражданская война. В посёлке Амур люди часто не знали, какая власть в городе. То красные, то белые, то Махно. На улицах стреляли.

И всё же в первые январские дни 1919-го года друзья Софьи Осиповны шли и шли через весь город, чтобы проститься с умирающей. Папина младшая сестра, моя тётя Нюся, тогда еще 19-летняя девушка, преданно ухаживала за матерью, что было чрезвычайно трудно в условиях, когда воду надо было брать из колодца, а уголь из сарая.

7-го января Софья Осиповна скончалась. Ей было всего 52 года.

Её смерть была большим ударом для детей. Они любили мать...

И снова потянулись окаянные дни. Только отец в своём революционном порыве был весь устремлён в будущее – думал, что сражается за благо людей труда.

---

<sup>66</sup> В то же самое время Яков Гугель, двоюродный брат А.С. Тарханова, был инспектором Чрезвычайного совета по снабжению армии Таганрогского округа. Отсюда «Чусоснабармии» – Чрезвычайный Уполномоченный Совета по **снабжению армии**. В.Ф.

На фотографии тех лет отец запечатлён в шинели и шлеме со звездой – будёновке.



Аркадий Тарханов – командир в Первой конной армии Будённого

Как-то ещё в Москве я показала её внучке Маше, которой тогда было лет пятнадцать – шестнадцать. Она сказала:

– Значит, твой отец был одним из тех, кто способствовал утверждению этого бесчеловечного строя, погубившего миллионы людей...

Сказала это, сверкая прелестными ямочками на щёчках, унаследованными – в конечном счёте (такие же достались её маме Оле – не мне) от того самого прадеда, которого она только что безоговорочно осудила.

Да, на суровом, с резкими чертами, мужском лице отца эти милые ямочки казались неожиданным подарком, неким радостным знаком его доброй души.

На алтарь дела, в которое он верил, он положил своё здоровье и лишь по счастливой случайности не положил – уже тогда – и свою жизнь.

Есть ли у нас, потомков, право безоговорочно осуждать наших отцов – идеалистов, сражавшихся, как они свято верили, за народное счастье?

У меня лично не поворачивается язык.

Не поворачивается душа...

Не буду ударяться в обычное жонглирование такими надоевшими понятиями, как «объективно», «субъективно»...

Продолжу лучше рассказ об отце.

Для него началась тяжелейшая схватка со смертельно опасным недугом – туберкулёзом.

Как я понимаю, после вынужденного ухода из армии он уехал в Крым, на лечение.

Там он познакомился с молодой женщиной по имени Мэри и, пройдя вроде бы успешный курс лечения в Крыму, поехал с ней – уже на правах её жениха – в её родной город Таганрог.



Там разыгрались события, которые однажды, 5 лет назад, я уже описала в моих заметках о докторе Гутмане, моём (и Витюшином) деде с материнской стороны.

Наверно, придётся повторить здесь основные факты – иначе мой рассказ об отце будет неполным.

Мэри была племянницей Моисея Ефимовича Гутмана. Именно ему и его семейству поспешила она представить жениха, которым гордилась. Вот только жених мгновенно влюбился в старшую дочь доктора Гутмана – Лиду.

Папа рассказывал мне, что моя (будущая) мама пленила его не только красотой, но и своей интеллигентностью, мягким добрым характером, да ещё музыкальной одарённостью: она прекрасно играла на пианино и пела. Мэри-де не могла с ней сравниться.

А папа... Формально он был, наверно, некрасив, но его обаяние, что впоследствии даже я замечала, неотразимо действовало на женщин.

Весёлый (несмотря на болезнь), остроумный, он излучал жизнерадостность, – свойство, видимо, унаследованное от бабушки Софьи Осиповны.

«Как она умела радоваться!» – не раз растроганно говорил он мне после своих редких рассказов о матери.

Горькая вдовья судьба, тяжёлая повседневная борьба за кусок хлеба для детей, за выживание семьи не сломили её. Она умела радоваться сама и – пусть только личным примером – учила этому детей.

– Какой прекрасный, светлый, яркий человек! Что называется, рот полон зубов! – так говорила о моём отце другая мамина кузина, Вера Лейкина, уже в 80-е годы, когда мы случайно встретились с ней в Москве на Аэропортовской...

Но пора вернуться в постреволюционный Таганрог.

Аркадий и Лида объявили родне, что намерены пожениться. Произошёл скандал.

Мама не жалела поверженную соперницу. Она со смехом рассказывала мне, что Мэри как-то приехала в дом доктора Гутмана и ещё в передней симулировала обморок, причём из складок её платья словно бы невзначай выпал пузырёк с ядом... Доктор Гутман был глубоко огорчён всей этой историей и даже не только тем, что его дочь оказалась обидчицей и разлучницей кузины. Он возражал против её брака с Аркадием, говоря, что молодой человек, столь быстро меняющий свои привязанности, не может быть верной опорой в жизни. Конечно, он ещё и не хотел, чтобы дочь выходила замуж за больного человека. Как врач, он хорошо знал, что ремиссия, достигнутая в Крыму, вряд ли продлится долго.

Но в начале 1920-го года трагически оборвалась его собственная жизнь. Будучи главным врачом сыпнотифозного стационара, он сам заразился сыпным тифом – и умер. Дочери, горячо любившие отца, были совершенно подавлены его смертью.

Местные власти не оставили семью известного и любимого в городе врача без внимания: сначала у его вдовы, нашей с Витей бабушки Розалии Осиповны, конфисковали весь медицинский реквизит доктора, хотя она и сама была медиком, и реквизит мог ей понадобиться. Затем к ней определили на постой нескольких солдат.

Солдаты начали притеснять осиротевших «буржуазок».

Тогда, как спаситель, как некий *deus ex machina*<sup>67</sup>, явился Аркадий: он выдворил солдат из дома и остался в нём сам на правах мужа старшей дочери доктора Лиды. 15 апреля 1920-го года мои (будущие) родители поженились.

У меня сохранился снимок 1921-го года. Мои родители, молодые, счастливые, сидят и ласково смотрят друг другу в глаза. У папы при этом задумчивый вид, но мама улыбается. Папа ещё в гимнастёрке...

В 1921-ом году у них родился сын. Мой маленький брат, которого Витюша, с присущей ему научной скрупулёзностью, в табличке нашего родословного «древа» трогательно именует «Моисей Аркадьевич Тарханов», прожил всего несколько дней.

Реакцию молодых родителей можно себе представить.

Как и предвидел доктор Гутман, болезнь отца скоро возобновилась с новой силой. В сопровождении младшей сестры Нюси он уехал в Кисловодск.



Аркадий Тарханов и Анята Ёсельсон (Нюся) в Кисловодске. 9 августа 1923 г.

Ещё до этого отец вызвал к себе в Таганрог сестёр, – он помогал им всю жизнь...

Не знаю, как долго пробыл отец на Кавказе. Но лечение дало эффект: снова наступила ремиссия. Правда, и на этот раз ненадолго.

Из записей отца (бисерным почерком, с сокращениями) можно понять, что в Таганроге он руководил не то Кожкомбинатом, не то Кожсиндикатом. Я же всегда считала, что он был директором Таганрогского кожевенного завода. Потому что в моей детской памяти остался такой эпизод.

В 1931-м году, когда, вернувшись из Парижа, мы с мамой заехали в Ростов к Зине, меня, к великой моей радости, пристроили к местному пионерскому отряду. Наш вожатый Сеня Неворожкин, в целях трудового воспитания своих питомцев, повёз нас в Таганрог, где нам разрешили поработать на Кожевенном заводе.

Меня поставили у конвейера, и я снимала с него плывущие ко мне крепкие душистые чёрные ботинки.

<sup>67</sup> «*Deus ex machina*» (лат. «Бог из машины») – выражение, означающее неожиданную, нарочитую развязку той или иной ситуации, с привлечением внешнего, ранее не действовавшего в ней, фактора. В.Ф.

Вдруг Неворожкин сказал одному из пожилых рабочих, стоявших неподалёку:

– А знаете, кто эта девчонка у конвейера? Это дочка Аркадия Семёновича Тарханова!

Рабочие тут же шагнули ко мне, подхватили меня на руки и принялись качать. Я визжала от страха, не столько за себя, сколько за ботинки, которые без меня могли бы ссыпаться с ленты.

Наконец меня поставили на ноги, и один из качальщиков сказал мне:

– Ты, малявка, скажи папане, чтобы к нам возвращался. Мы его крепко уважали и теперь не подведём!

Но отцу не суждено было – тогда, в начале 20-х годов – долго простоять у кормила своей кожевенной империи. Весной 1923-го его болезнь критически обострилась. И советская власть дала ему возможность (в ту пору такие чудеса ещё случались) уехать в Германию, в известный курортный городок Тодтмоос, где знаменитый хирург Зауэрбрух спас ему жизнь.

Он сделал отцу операцию (пневмоторакс, торакопластика), которую тогда делали только безнадежным, поскольку процент выживания пациентов после неё был устрашающе низок.

Зауэрбрух произвёл эту операцию по впервые разработанной им методике, впоследствии его прославившей. Долго поправлялся после неё отец, но в конечном счёте его могучий организм взял верх, и он выжил.

Он уехал в Германию ещё до моего появления на свет и вернулся лишь через полтора года. Всё это время он провёл в Тодтмоосе, в санатории, помещавшемся в красивейшем старинном замке, который был расположен в долине и окружён целебными сосновыми лесами.

В 1999-м году моя младшая дочка Надя, с её немецким мужем Лотаром, посетили эти места. Точнее: узнав, что они собираются в Шварцвальд, я попросила их заехать в Тодтмоос. Я и сама, со времени моего переезда в Германию, мечтала совершить это паломничество, – но не судьба...

Я дала детям открытку с видом санатория, где лежал папа – одну из присланных им в своё время маме. Однако, приехав в Тодтмоос, они застали на месте прекрасного старинного замка вполне современную уродливую квадратную коробку. Старинное здание санатория пришлось снести, – объяснили им, но квадратная поликлиника вроде бы «вполне удовлетворяет запросы приезжающих в Тодтмоос».

Реконвалесценция у отца была долгой и мучительной. Чтобы он мог вдыхать целебный «сосновый» воздух, отца поначалу хорошо укутывали и на специальной лежанке выкатывали на балкон. На голову ему надевали шлем, не кавалерийский, не будёновский, а медицинский, предназначенный для лежачих больных. Зауэрбрух называл его «Flieger», т.е. «лётчик».

Когда отец поправился и уже стал готовиться к возвращению в Союз, он спросил Зауэрбруха:

– Скажите мне честно, профессор, на что я могу ещё рассчитывать? У меня ведь семья – жена и маленькая дочка.

– Если Вы поселитесь в Вашем прекрасном Крыму и не будете работать, то наверняка проживёте пять, а, может, и десять лет. У Вас ведь на редкость крепкий организм, – гласил ответ.

«И не будете работать...».

Не иначе, Зауэрбрух спутал скромного советского «командира производства» (так тогда называли работников этого типа) с другим недавним своим пациентом – бароном Ротшильдом...

Всю свою жизнь в России папа работал, как вол, вдобавок с ночными бдениями, введёнными Сталиным. О жизни в Крыму, разумеется, не праздной, он только мечтал. «Я хотел бы построить в Крыму санаторий для туберкулёзных больных и стать его директором, – говорил он мне. – Я бы организовал для этих пациентов наилучшее лечение и отдых».

Не суждено было.

И всё же отец после Тодтмооса прожил больше двадцати лет. И наверняка прожил бы ещё больше, если бы не ряд обстоятельств, о которых пойдёт речь дальше. В частности, как только началась война, у него забрали служебную машину. В морозные дни на улице он из-за эмфиземы лёгких мучительно задыхался. По иронии судьбы, новая машина была подана к подъезду, где он работал, в день его смерти...

Но в 1925-ом году, после Тодтмооса, вернувшийся домой отец первым делом действительно увёз свою семью в Крым – маму, меня и Беллу Файн<sup>68</sup>. И я до сих пор помню, как все мы лежали в усыпанном маками овраге, у вздыбленного штормом моря...



7 октября 1924 г. Таганрог

И помню лето следующего, 1926-го, года, когда папа, видимо, оформлял в Москве командировку на работу в Германии.

Мы жили на даче в Удельном, под Москвой. Мы – это мама, моя няня и я. Папа приезжал по вечерам, и скучная дача оживала. Я радовалась его приезду ещё и потому, что он всегда привозил с собой из города свежие газеты и журналы, аппетитно пахнущие типографской краской.

Я тогда читать ещё не умела, но мне очень нравилось разглядывать карикатуры на толстых капиталистов в «Крокодиле». В одном из номеров я увидела рисунок: голые дяденьки на снегу рубят лес. Я попросила папу прочитать мне подпись. Он рассмеялся. Оказывается, в «Крокодиле» была такая рубрика: «У нас – и – у них». У нас, т.е. в Советском Союзе, всё, мол, хорошо, а «у них», т.е. на капиталистическом Западе, всё совершенно ужасно:

---

<sup>68</sup> Белла Файн – сестра моего отца. В.Ф.

такая нищета, что беднякам даже не на что купить себе штаны и рубаху. Под тем самым рисунком была даже напечатана целая поэма. Когда папа прочитал трагическую строку «Лесорубы голы – в одних рукавицах...», я расхохоталась. Впору было бы посочувствовать несчастным американским (или, кажется, канадским?) трудящимся, а мне было смешно. До сих пор помню эту бессмертную строчку.

Интересно, какой циник её сочинил?

Детей в соседских дачах в Удельном не было, погода стояла скверная, и просмотр советских журналов был чуть ли не единственным моим развлечением.

Изредка няня уводила меня гулять. Издали виднелся наш дом. Показывая на окно во втором этаже дачи, няня говорила:

– Вот, смотри, видишь вон то окошко? Там живёт серый волк! Будешь баловаться – он тебя съест!

Я хорошо знала двух милых старушек, которые жили на втором этаже нашей дачи, в комнате за тем самым окном. Они всегда были со мной очень ласковы и всякий раз при встрече норовили угостить меня конфеткой, хотя мама говорила:

– Что Вы – что Вы!

Я хорошо знала их и в то же время, во всяком случае, на прогулках с няней, верила, что за их окном живёт злой серый волк. И боялась...

Странный случай раздвоения детского сознания. Впрочем, может быть, не только детского? Оказывается, сходный психологический парадокс возможен и в более серьёзных ситуациях, – только, пожалуй, в обратном соотношении. Так серый волк – советская власть – беспощадно губила своих граждан. Однако многие из них, преимущественно, представители интеллигенции, особенно рьяно цеплявшиеся за свои иллюзии, упорно стремились видеть в этой власти добрую тётеньку, раздающую детям конфетки.

Кончилось лето в Удельном, и мы перебрались в Москву. Не помню, где мы обретались, – жилья у нас в столице не было.

### Советский торгпред

В 1926-м году отца командировали на работу в советское торгпредство в Берлине. Он взял с собой туда не только нас с мамой, но и Зиночку, мамину младшую сестру. Зине было 13 лет, когда умер доктор Гутман, и, женившись на маме, папа словно бы удочерил Зиночку и нежно о ней заботился. Он был очень огорчён, когда она в 1928-м году уехала из Берлина в Ростов-на-Дону, к Яше Файну, чьей женой она стала. Но на всю жизнь сохранилась у них – у папы с Зиной – крепкая дружба и прочная родственная любовь друг к другу.

Вот и Зиночкин сын, мой брат Витя, и сейчас называет моего отца «Арочка», как звали его при жизни только самые близкие люди.

Но и в Берлине папу периодически мучили приступы болезни. Я была слишком мала, чтобы как следует это понимать, но помню, что речь шла о кровохарканьях, и мама с Зиной очень волновались. Опять же выручил Тодтмоос, видно, отец проводил там отпуск, – о чём свидетельствует сохранившаяся открытка, которую он в своё время прислал маме.

Больше всего отец боялся заразить кого-либо из нас и строжайше соблюдал предписанную в таких случаях гигиену. Всё же заражение произошло: после гриппа у меня обнаружили небольшое затемнение на лёгком. По совету врачей меня немедленно отправили в горы (с моей воспитательницей Мэри Карловной), и спустя месяц с небольшим я вернулась домой здоровая.



Когда отец поправлялся, менялась и наша жизнь. В доме появился граммофон. «Классические» записи – Карузо, Галликурчи, Шаляпина (осколки одной шаляпинской пластинки, из папиной коллекции тех лет, недавно сложным путём пришли ко мне сюда, в Фульду, по почте, – было очень больно) – чередовались со шлягерами и танцевальной музыкой.

Папа, отличный танцор, обучил и меня модным в ту пору танцам – фокстроту, танго, слоу-фоксу – и охотно со мной, четырёхлетней, танцевал. Появились тогда в нашем доме и гости, и папа танцевал уже со взрослыми дамами.

В 1928-м году отца перевели на работу в Париж, и мы уехали туда вместе с ним.

Мне кажется, что в парижский период здоровье отца несколько стабилизировалось. Он, как всегда, очень много работал, поздно возвращался домой.

Думаю, что папа полюбил Париж и активно знакомился с ним, но всё же это лишь догадка: всякое знакомство проходило мимо меня, коллективные походы куда-либо в нашей семье не практиковались.

В тот период я часто обижалась на папу – сначала за то, что он не разрешил мне поступить в балетную школу, что порой он не слишком деликатно корил меня за мою медлительность и неповоротливость в быту. Впрочем, и мама в этом от него не отставала.

Но больше всего обидел меня эпизод у входа в кафе.

По воскресеньям, когда Мэри Карловне причитался выходной день, папа часто водил нас с мамой в недорогое кафе, чтобы избавить маму от необходимости готовить обед, – у неё ведь тоже был только один выходной день в неделю.

И вот однажды, после такого обеда мы собрались ехать домой. Папа уже ждал нас в такси, которое пригнал к подъезду. Первой выбежала я и прыгнула в такси. И тут я увидела, как мама, ковыляя и опираясь на палочку, спешит к машине, а за ней крадутся двое мальчишек, кривляются и передразнивают её хромоту. Я выскочила из такси, подбежала к мальчишкам и отвесила старшему из них здоровенную затрещину.

– Соня! – сердито крикнул папа.

Я быстро вскочила в такси, машина тронулась, но папа тут же – первый раз в жизни – влепил мне крепкую пощёчину. Мальчишки злорадно захихикали.

Я разрыдалась, а папа кричал на меня:

– Хулиганка! Что это за хамская выходка! «Дочь русского дипломата избивает французского мальчика» – такое могло бы попасть в газеты!

Папа ругал меня всю дорогу, а я заливалась слезами. Больше всего оскорбила меня несправедливость расправы, – ведь я отомстила мальчишкам за то, что они издевались над мамой.

– Что это взбрело тебе в голову, ты ведь никогда ничего подобного не делала! – продолжал допытываться папа.

Я молчала. Не могла же я сказать ему при маме, что мальчишки издевались над её хромотой.

И в последующие дни, очевидно, стыдясь и жалея, что ударил меня, папа всё спрашивал и спрашивал, как это я могла так поступить.

Но я ему так ничего и не сказала.

Вспыльчивость и резкость всегда были свойственны отцу, но эти черты его характера, сочетавшиеся, кстати, с отзывчивостью и безграничной добротой,

наверно, ещё усугублялись тяжёлой болезнью и непрерывным нервным напряжением.

Тридцатые годы в прекрасном Париже, по крайней мере, для советских работников, отнюдь не были «нескончаемым праздником», о котором писал Хемингуэй. В столице Франции раскинуло свои сети ОГПУ и взяло под прицел не только многочисленных русских эмигрантов, но и обыкновенных советских командировочных.

Из нескольких фраз, оброненных отцом и отнюдь не предназначавшихся для моего уха, я узнала не только о похищении «белого» генерала Кутёпова (естественно, никто тогда не сказал мне, кто это сделал), но и о самоубийстве папиного коллеги Ф. Говорили, будто над этим человеком уже неотвратимо нависал арест, и жена попросила его покончить с собой, чтобы отвести от семьи дальнейшие репрессии.

Можно представить себе, в каком постоянном напряжении жили все эти годы в Париже мои родители.

Только мне было хорошо, как часто, вроде бы даже с некоторой долей зависти, подчёркивала мама. Я, конечно, чувствовала родительскую тревогу, но чаще всего, с детской бездумностью, забывала об этом и просто радовалась жизни. Больше всего родители опасались, как бы я не заболела туберкулёзом, и каждый год посылали меня с Мэри Карловной на море, чтобы укрепить моё здоровье.

Всё же была у нас одна семейная поездка. Мы побывали в Аннеси – красивом курортном городке на юге Франции, о чём свидетельствует групповой снимок, который дочка Надюха повесила у себя в гостиной, здесь, в Фульде, среди многочисленных снимков коренных фульдян, родственников Лотара.

В 1992-м году мы с Валькой, по приглашению наших дорогих швейцарских друзей Бёмеров, гостили несколько дней в их усадьбе, неподалёку от Цюриха, и предприняли отсюда несколько вылазок в другие места. Приехали в Лозанну, – «всё это я когда-то уже видела!», – подумала я. Это известное ощущение «*déjà vu*» принято считать ложным. Но спустя годы, перебирая старые снимки (занятие для душевного равновесия небезопасное) я вдруг обнаружила поблекшую фотографию какого-то берега, каких-то домов и под снимком – бисерным папиным почерком – подпись: «Лозанна. Снято с парохода. Женевское озеро. 1929 г.».

Тем же годом датирован, также еле различимо помечен папиным бисерным почерком совсем уже ветхий снимок: по аллее парка Сен-Клу (под Парижем) идут папа с мамой. Их силуэты тоже еле различимы, но столь знакомы, что ошибиться невозможно. И вот они идут и идут ко мне аллеями памяти и, наверно, скоро мы уже встретимся.

### В Москве

В 1931-м году мы вернулись в Советский Союз. Отец приступил к работе в Наркомате лёгкой промышленности, в Объединении «Разноэкспорт».

Ему выделили квартиру в том же доме Наркомлегпрома, на пятом этаже. Весь огромный дом, который сфотографировала по моей просьбе Светочка Файн (огромное ей спасибо!) был занят учреждениями, и лишь два этажа – 5-й и 6-й – отданы жильцам, сотрудникам этих учреждений.



Дом Наркомлегпрома – Чистопрудный бульвар, 12а. Фото Светланы Файн

Маленькая (27 кв. метров), но отдельная квартира с удобствами... такое жильё в то время, да и позже, было пределом мечтаний.

В этой квартире № 23 в доме 12а по Чистопрудному бульвару наша семья прожила в общей сложности 20 лет, до 1951-го года. Отсюда я ушла в начале 1943-го года на фронт и вернулась за несколько недель до конца войны.

Только папа в конце 1946-го года ушёл отсюда в больницу, откуда уже не вернулся...

Насколько я помню, после возвращения из Парижа в 1931-м году наша семья жила очень уединённо. Мама от гостей уставала, и папа, человек очень общительный, в редкие свободные вечера обычно куда-нибудь уходил.

Правда я от этой уединённости не страдала. Нашлись для меня подружки и на пятом этаже. Хотя я ещё целый год не ходила в школу.

Мне было восемь лет. В ту пору детей в этом возрасте принимали в советской школе только в первый класс. Мне же ни в первом, ни во втором классе нечего было делать: у меня ведь уже была широкая начальная подготовка.

Родители поступили мудро. Через своих знакомых (которых у него всегда находилось великое множество) папа отыскал симпатичную пожилую русскую немку Маргариту Романовну, которая должна была понемногу заниматься со мной арифметикой – чтобы я не забыла! – и говорить по-немецки. (Работая днём и ночью в «Литгазете», тщетно искала я потом такого доброго человека для своих детей – бедных русских немцев, как известно, в самом начале войны упекли в Казахстан).

Маргарита Романовна говорила по-немецки свободно, с русско-балтийским акцентом, который меня забавлял. Она приносила мне аккуратно переплетённые тома немецкого журнала «Der Backfisch» («Девочка-подросток»), который выписывала до революции. Я ещё не была «бакфишем», добродетельные и очень домовитые немецкие девочки, краснеющие при встречах с молодыми адвокатами и делопроизводителями, меня не увлекали.

Увлекало меня тогда другое: Чистопрудный бульвар. Маргарите Романовне родители поручили также ежедневно сопровождать меня на Чистопрудный бульвар, что меня очень унижало: мои подружки с пятого этажа, правда, все на год-два старше меня, ходили на бульвар без бонн.

И всё же я никогда не забуду Чистопрудный бульвар – это был и Лазурный Берег и Елисейские Поля.

Во-первых, пруд, где летом можно было кататься на лодках. Даже папа иногда в выходной день спускался со мной на бульвар, брал напрокат лодку и катал меня по пруду.

А зимой на том же пруду катались на коньках. Да и по всему бульвару можно было кататься на коньках и даже на лыжах.

Летом на бульвар приводили маленьких осликов, пони, верблюдов, на которых опять же можно было кататься.

Впрочем, летом особенно привлекало меня другое: в большом павильоне устраивались массовые танцы. «Барыня», «цыганочка», «яблочко», «лезгинка», «кабардинка»...

Несмотря на рваные ботинки,  
Мы танцуем танец кабардинки...<sup>69</sup>

Массовыми детскими танцами – лица старше 16 лет к участию в них не допускались – всегда руководил затейник. Папа раз-другой взглянул на это действо и, казалось – примирился с моим увлечением танцем (впрочем, будущее показало, что это впечатление было ошибочным).

Наверно, я неплохо плясала – отставная примадонна парижской школы пластических танцев (см. опус «Мэри Карловна»), – но всё же звездой Чистопрудного бульвара была не я, а Соня Ельянова, с того же пятого этажа нашего дома 12а. Она и без парижской выучки плясала лучше всех.

Сплошной «чистопрудный» год прошёл быстро, мы расстались с Маргаритой Романовной, – ведь мне исполнилось 9 лет, и меня определили в 3-й класс школы в соседнем Лабковском переулке, где нас обучали по бригадному методу, придуманному педологами: всё должно было совершаться коллективно.

Папа, помнится, однажды зашёл в школу и ужаснулся её нищете – нищете всей обстановки и нищете преподавания.

Но что было делать: советская школа тридцатых годов – не Lycee Pfsteur.

Впрочем, сейчас всяких лицеев в Москве полно.

Что если бы мне сейчас отправиться на Чистые Пруды, в дом 12а, который сфотографировала Светочка Файн – в этот дом, где бывшие жилые этажи уже давно отданы под учреждения?

Из лифта, которым тогда нам, жильцам, пользоваться воспрещалось, я вышла бы на 5-й этаж, но, конечно, не в центральный коридор, где тогда, в 1931-ом году, сколотили деревянную будку для милиционера. Ночью милиционер охранял наш Наркомлегпром, а днём отсыпался.

В стенах его наспех сколоченной будки были щели, и мальчишки то и дело прокрадывались к ним – посмотреть, «как милиционер спит со своей женой». Иногда милиционер замечал эти проделки, с матом, в одном исподнем, выскакивал из будки и больно драл за уши пойманного мальчишку.

Девочки, насколько я знаю, в этих развлечениях не участвовали.

В этом коридоре жили многие девочки, с которыми, как тогда выражались, я «водилась». Валька Стратилова говорила мне:

– Тебе, Соня, хорошо. У тебя папа – ответственный работник. Небось, и литер «Б» у вас есть! А у меня так даже нет отца...

После нашего возвращения из Парижа в 1931-ом году я часто слышала, как с почтением произносили этот титул, который казался мне очень странным.

– Папа, – спрашивала я, – вот ты ответственный работник. А остальные работники, значит, безответственные?

---

<sup>69</sup> Текст Г.А.Зайцева и С.М.Будённого. В.Ф.

Папа смеялся:

– Молодец, доня! Уловила суть системы! В том-то и дело, что у нас все – безответственные!..

Непонятны были мне его шутки.

Понятно было то, что «Литер Б», как оказалось, и вправду был нам пожалован. Это был пропуск в закрытый распределитель (магазин) для работников среднего звена, где по карточкам можно было получить то, чего нельзя было получить в обыкновенных магазинах.

– Это большая подмога, не знаю, как бы я кормила семью без неё, – застенчиво объяснила мне мама.

Судя по всему, родители как-то стеснялись этой привилегии, которой были лишены другие.

И уж во всяком случае, не кичились ею, как иные...

Доведись мне сейчас попасть в дом 12а, я, выйдя из лифта на 5-ом этаже, сразу свернула бы в наш левый коленчатый коридор, в самом конце которого мы жили.

Наискосок от нас, справа, была квартира Колтунов. Весь коридор тогда, бывало, слышал, как сам Колтун во время очередной ссоры кричал жене, такой же рыжей и злоющей, как он сам:

– Потише, мадам, не зарывайся! У меня литер Бэ! За меня всякая пойдёт!

Наша квартира была по левой стене последней.

А в самом тупике жили Павловичи. Их отпрыск – дебил Володька – был грозой детворы, лупцевал всех нещадно... кроме меня. Мне он даже стремился покровительствовать:

– Если тебя кто тронет, сразу говори мне, Сонечка! – наставлял он меня. – Я тому сразу в зубы дам!

К его мамаше, Наталии Ивановне, часто приезжала её сестра – красивая седая дама, иногда в сопровождении сына Ромы, толстоватого молодого человека.

В этих случаях Наталия Ивановна приглашала меня – показать родственникам, «как хорошо девочка говорит по-французски» (было бы довольно странно, если бы девочка не говорила... проведя в Париже три с половиной года).

А Ромочка потом превратился в Романа Михайловича Самарина и много лет заведовал кафедрой зарубежной литературы на филологическом факультете Московского университета.

Вряд ли ему, даже тогда, был интересен мой лепет.

Впоследствии я поняла, что показная благосклонность ко мне Павловичей, наверно, объяснялась просто: они побаивались папы...

В годы Гражданской войны Павлович был при белых не то городским головой, не то городничим (теперь сказали бы «мэром») в каком-то южно-русском городке. На столбе в центре города он оставил вступившим в город бойцам Первой Конной «приветствие»: «Мы уходим, но мы вернёмся! И повесим всех жидов на большой осине!».

(Разумеется, папа рассказал мне обо всём этом гораздо позже).

Павловичи понимали, что папа не забыл этого эпизода.

Но отец доношением не занимался.

В 1951-ом году нас переселили с Чистых Прудов на Сокол, и бывшие жилые этажи дома 12а были отданы Министерству заготовок.

И я могла бы войти (если бы, конечно, пустили) в кабинет, устроенный в нашей большой комнате – «фонаре», с четырьмя окнами.

– Извините, товарищи чиновники! Я к вам на минутку только... понимаете, наша семья прожила здесь двадцать лет...



Ох, сколько у вас столов! И столько же компьютеров! А у нас у окна слева стоял только один, правда, очень большой папин письменный стол. На нём всегда было много книг – они ведь не умещались на стеллаже.

Где стеллаж был? У входной двери, справа, там, где сейчас ваши куртки импортные висят! Рядом стоял старинный буфет, резной, ещё из Таганрога, из дома доктора Гутмана, моего деда, – антикварная ценность.

А слева от входа располагался родительский двуспальный складной диван, – его вывезли из Норвегии, где отец одно время работал.

Все эти вещи – будто геологические пласты в истории нашей семьи...

Что, заболталась? Простите, товарищи чиновники! Понимаете, двадцать лет... И эта комната была последним прибежищем отца...

Но я ухожу! Ухожу!

Прощайте, товарищи чиновники!

Желаю вам успешной карьеры!

Такое вполне можно себе представить. Но я уже не вернусь на Чистопрудный бульвар и увижу дом 12а только на Светочкиной фотографии. Впрочем, как сказал поэт<sup>70</sup>,

...истина проста:  
Никогда не возвращайся  
В прежние места...

Но в 1931-й год, пусть ненадолго, всё же придётся вернуться...

Мама очень уставала на службе. Она работала машинисткой в машинном бюро Наркомлегпрома, – нелёгкий хлеб. Однако на скромную зарплату так называемого ответственного работника семья не смогла бы прожить.

После работы маме хотелось одного: лечь на диван с французским романом в руках. Папа жалел маму, приносил ей чай с бутербродом. Но самому ему дома не сиделось.

В поисках общения он чаще всего просто поднимался на 6-й этаж, в просторную квартиру своего коллеги – Перцовского.

Перцовский был женат на внучке знаменитого адмирала Крузенштерна. Софья Николаевна, высокая красивая шведка, остро ненавидела советскую власть и даже была не в силах это скрыть. К папе она была очень расположена. Ещё бы: отец дважды вызволял Перцовского из лап ОГПУ – ездил туда, ругался с гепеушниками, ручался за арестованного коллегу. Уже тогда такое было почти невозможно, во всяком случае, никто другой, наверно, не стал бы ввязываться в подобные дела.

Отец много читал. Пильняк, Бруно Ясенский, Авдеенко, – новинки тех лет громоздились на его столе. Ещё Зощенко – всех лучше, считала я (я ведь почитывала тоже). Но папа перечитывал также русскую классику: Чехова, Толстого. И это я читала. Папа отобрал у меня «Анну Каренину», а затем и «Воскресение»:

– Тебе ещё рано это читать!

Но после этого я сама раздобыла эти книги и обе прочитала (а что уж там поняла – это другой вопрос!).

Так, благодаря папиной педагогике я рано познакомилась с творчеством Толстого. Чехова он у меня не отбирал.

---

<sup>70</sup> Геннадий Шпаликов. В.Ф.

### О чём мне напомнила папина открытка

1932-й год... Папина открытка, чудом сохранившаяся у меня, напомнила мне, что в конце этого года его послали в краткосрочную командировку в Берлин. Открытка с изображением Бранденбургских ворот...

На ней дата – 13-е ноября 1932-го года. Это единственное сохранившееся папино послание, адресованное **мне**.

Сохранились, слава Богу, снимки и открытки, которые папа присылал маме из Тодтмооса, где, как я уже писала, он лечился в санатории у знаменитого профессора Зауэрбруха (в 1923-1925 гг.).

Все эти реликвии я отдала дочке Наде, тем более, что именно она, вместе с мужем Лотаром, совершила несколько лет назад своего рода паломничество в Тодтмоос.

И папину берлинскую открытку, единственную, адресованную **мне**, конечно, тоже отдам ей, но не сразу: пусть она ещё немного поживёт у меня...

Есть разные формы сыновнего (и дочернего) пиетета. Отец Лотара был седельщик<sup>71</sup>. В подвале своего дома Лотар устроил нечто вроде отцовского музея: там и отцовское кресло, и рабочий стол, разные атрибуты седельного ремесла развешены на стенах. Варенья и компоты, заготовленные мамой, до сих пор стоят, у Лотара, в кладовой. Это её музей.

Володя Брагинский<sup>72</sup> вывез из Москвы в Лондон разобранный на части отцовский письменный стол. Теперь стол восстановлен, и за ним уже работает сам Володя. Возможно, он также опубликовал статью о научной деятельности отца.

Я же могу только писать вот эти заметки.

«Сегодня еду на два дня в Гамбург», – писал отец в своей берлинской открытке от 13-го ноября 1932-го года.

Поезжай, Арочка, поезжай! Там ждёт тебя правнучка Ленка, дочь твоей младшей внучки Надюхи, которую тебе уже не довелось увидеть, той самой, что поехала в Тодтмоос по твоим следам.

Конечно, временная дистанция в 70 с лишним лет несколько затруднит общение, но было бы желание...

Твоей внучке Наде с мужем Лотаром удалось недавно повидать Ленку. Они провели две недели отпуска у Северного моря, в курортном городке Бюзуме – по дороге туда заехали в Гамбург к Ленке, немножко побыли там. А потом Ленка с другом Олафом в свою очередь приехали на уикэнд к родителям, отпраздновали там, в Бюзуме, день рождения Олафа – 19-го августа.

Надюха потом рассказывала: был отлив, открылось большое пространство недавнего морского дна. Надя, Лена и мужчины – Лотар и Олаф – сидели у ваттена и любовались чайками, кружившими над берегом.

Вдруг появились музыканты: они быстро шагали по ваттену под бодрую маршевую музыку.

Повинуясь неожиданному импульсу, Ленка подбежала к оркестрантам и попросила сыграть что-нибудь в честь её друга, празднующего сегодня свой день рождения.

Музыканты кивнули и заиграли... вальс. И Ленка с Олафом начали танцевать, легко скользя в вальсе по твёрдому ваттену. Два стройных силуэта на фоне отступившего моря и неба...

---

<sup>71</sup> Мастер, изготавливающий сёдла. В.Ф.

<sup>72</sup> **Владимир Иосифович Брагинский** – брат моей жены. Востоковед. Доктор филологических наук. Был избран по конкурсу заведующим кафедрой Лондонского университета. В.Ф.

Я этого не видела. Но дочка Надя так рассказала об этом, что я это «увидела». И вижу до сих пор.

Неожиданный романтический вальс был праздником для Ленки с Олафом, которые так тяжело работают в своём Гамбурге.

Надя и Лотар были застигнуты врасплох – как назло не взяли с собой фотоаппарата.

Зато многие туристы, гулявшие по берегу, сразу наставили на танцующих свои кинокамеры. И где-то, в чьих-то чужих домах, на каких-то домашних экранах, наши потомки, Арочка, кружатся в вальсе на фоне моря и неба...

А сами вальсирующие уже давно вернулись в Гамбург и снова работают там с утра до вечера.

Поглядеть бы тебе на правнучкин вальс, Арочка...

Наш с тобой вальс, тогда, в Берлин-Груневальде, не удался, что деликатно отметила Мэри Карловна. Прекрасный танцор, ты вальсу обучен не был, я же всем танцам – фокстроту, слоу-фоксу, танго – выучилась у тебя. Было это в 1926-27 гг., мне было тогда года три-четыре, ты же даже был моложе сегодняшнего Олафа...

В той бесценной папиной открытке – щемящие слова, адресованные мне:

– Не забывай меня!

Словно папа из казавшегося столь далёким, а теперь уже близкого прошлого взывает ко мне:

– Не забывай меня!

Я вынесла эти слова в эпиграф к моим заметкам.

### Врачебная ошибка

В 1933-м году папу командировали на работу в Норвегию – заместителем торгпреда, затем торгпредом. Но ещё перед этим папа успел спасти меня от...

Придётся, наверно, рассказать всё по порядку.

Мне как раз исполнилось 10 лет. Во дворе нашего дома № 12а по Чистопрудному бульвару мы играли в лапту. Борька Виноградов засалил меня, и мячик очень больно ударился о грудь.

Шли дни, но боль не проходила. Мало того – вокруг правого соска образовалось уплотнение. Особенно сильно оно болело по ночам, мешало спать. Я пожаловалась маме.

Мама сразу же отвела меня в Кремлёвскую поликлинику. Еврейский врач в пенсне осмотрел меня, прописал компрессы, примочки. Всё это было довольно неприятно, а, главное, бесполезно. Уплотнение твердело и понемногу ширилось и по-прежнему болело по ночам.

Второй доктор в пенсне, после повторного осмотра, созвал консилиум.

После консилиума мама сказала мне, что врачи решили меня оперировать. Но я могу не беспокоиться: операция пройдёт под наркозом, боли я не почувствую. Зато потом, в награду за доблесть, я получу мороженого – сколько захочу. Я согласилась и жила беспечно.

Но у родителей покоя не было. Они показали меня – для контроля – Перцовскому, только не тому с 6-го этажа, мужу Софьи Николаевны, а его брату, Перцовскому-младшему, известному хирургу. Доктор Перцовский подтвердил диагноз врачей в пенсне: фиброма, операция необходима. Кстати, сам он тоже был в пенсне.

По ночам родители шептались:

– Не могу с этим примириться! – повторял папа. – Покалечат девчонку ни за что ни про что!..

– Но что же делать, Арочка! – возражала мама. – Был ведь консилиум... И Перцовский тоже...

– Не могу примириться! – твердил своё папа.

И вдруг:

– Герцен! Вот кто нам нужен! Надо пробиться к Герцену!

И он пробился! Хотя, наверно, это было очень трудно.

Петр Александрович Герцен, внук знаменитого публициста, был директором Онкологического института. Сам он тоже был уже знаменит, как непререкаемый оракул в сфере онкологии.

В назначенный день и час мы втроем приехали в Институт. Нас сразу же принял сам директор – высокий человек с большой загорелой лысиной и пышными чёрными усами.

Он гостеприимно распахнул дверь своего кабинета и, когда все уселись, кивнул родителям:

– Рассказывайте!

Запинаясь и перебивая друг друга, родители принялись излагать анамнез. Герцен бегло оглядел меня. По его лицу пробежала улыбка и спряталась в усах. Впрочем, может, мне это только показалось.

Когда анамнез был доложен, профессор коротко переспросил:

– Значит, девочке десять лет? И, если не ошибаюсь, она еврейка? То есть южанка...

И ещё:

– Как вы сказали – примочки вам рекомендовали? Компрессики?

– Дочка, – обратился уже ко мне директор. – Сними, пожалуйста, блузку! Я должен тебя осмотреть.

Я сбросила блузку.

Профессор внимательно ощупал больное место.

И вдруг сдавленным голосом произнёс:

– Так как вы сказали – примочки?..

Откинувшись назад в своём директорском кресле, он расхохотался так, что мгновенно весь опасно побагровел. На глазах у него выступили слёзы.

Между взрывами хохота он только и успевал выкрикнуть:

– Болваны! Кретины! Дебилы!

И еще:

– Компрессики рекомендовали вам? Примочки? Умора!..

От всего этого мне тоже стало смешно, и какое-то время мы с профессором смеялись дуэтом, а перепуганные родители только переглядывались.

Вбежала медсестра – подала профессору стакан воды, но он отмахнулся.

Наконец, Герцен вынул платок, вытер слёзы и, превозмогая смех, произнёс:

– Успокойтесь! Нет никакой фибромы! Об операции забудьте!

И дальше:

– Случай элементарно ясный. Не надо даже быть врачом, достаточно просто здравого смысла, чтобы понять: у девочки развивается грудная железа. Для девочки-южанки её возраста это явление нормальное и даже типичное. Скажите вашим кремлёвским врачам, что они ослы!

Похоже, вышло так, что мой собственный диагноз: «Лапта!» и диагноз врачей в пенсне «фиброма» имели примерно одинаковую научную ценность.

Родители облегчённо вздохнули.

Всё же мама отважилась спросить:

– Но почему же тогда, профессор, развивается только правая грудная железа?

– Природа не обязана соблюдать симметрию и синхронность, дражайшая! Не беспокойтесь, месяца через два-три, а то и раньше, тот же процесс начнётся и с левой стороны.

Родители так долго и горячо благодарили профессора, что, казалось, мы никогда не уйдём из его кабинета.

А мне Герцен сказал со смехом:

– Беги домой, дочка, пока я не передумал! И впредь берегись врачей!

Не знаю, как реагировали на заключение Герцена кремлёвские доктора. А хирург Перцовский с ним не согласился, только мрачно и зловеще произнёс:

– Будущее покажет, что я был прав!

– Мерзавец! – сказал папа.

Он был так счастлив, так гордился своей победой...

Прошло четыре года. Мне уже было четырнадцать лет. Я приехала в Кратово навестить отца, который здесь отдыхал в туберкулёзном санатории. Мы прогуливались с ним по аллее, и папа по обыкновению рассказывал мне о бурном экономическом развитии Америки, которым всегда восхищался. А пристало ли такое безоговорочное восхищение марксисту?

Этот вопрос я прояснить не успела, – навстречу нам по аллее двигалась какая-то фигура.

У папы в глазах заплясали черти. Он слегка подтолкнул меня к прохожему и весело окликнул его:

– Здравствуйте, доктор! А вот и ваша пациентка!

Перцовский – это был он – хмуро кивнул и молча прошёл мимо.

Я была в ярости.

Резко и сердито (в первый раз в жизни) я накинулась на папу: мол, я не Америка, и моё собственное «бурное развитие» никого не касается.

Я считала, что папа унизил меня своей выходкой. Знал ведь он, что я этого бурного развития стесняюсь. Не мог же он забыть историю, которая произошла в Немецкой школе всего год назад.

А история была такая.

В конце учебного года на фасаде Немецкой школы на Кропоткинской, у самого входа, вывесили портреты «наших отличников».

Портрет «отличницы Сони Тархановой» (поясной портрет!) мне очень не понравился, признаки «бурного развития» выделялись на нём слишком явно.

В первый же день я задержалась в школе. Конечно, надо было делать стенгазету, но на этот раз я особенно долго с ней не возилась.

Выйдя, наконец, из школы и убедившись, что рядом никого нет, я выплеснула в свой портрет пузырек с лиловыми чернилами и со всех ног бросилась бежать...

Пришла на другой день в школу: ура, нет портрета!

Но в самой школе меня ждал неприятный сюрприз: в рекреационном зале на первом этаже шёл митинг. Наша маленькая, толстенькая директриса товарищ Крамер, по обыкновению, нещадно путая немецкие артикли, кричала: мол, в школе произошёл акт политического хулиганства – кто-то залил чернилами портрет «отличницы Сони Тархановой»!

Крамер требовала, чтобы виновный немедленно сознался. Так или иначе, он будет разоблачён и исключён из школы.

Но виновный не сознался...



Дома, после уроков, я застала переполох. Папа буквально только что вернулся в Москву из Норвегии. Но Крамер, оказывается, уже успела ему позвонить. Подчеркнув, что руководство школы сознаёт серьёзность инцидента, она заверила отца в том, что по этому случаю будет произведено тщательное расследование с последующим политическим анализом всех обстоятельств...

– Доня, – тревожно спросил папа, – у тебя, что ли, в школе появились недруги? Ты не догадываешься, кто это сделал?

– Нет! – отчеканила я. – Понятия не имею!

– Но почему же испоганили только твой портрет? Значит, есть всё-таки недруги! Не лучше ли, если так, перейти в другую школу? Жалко, конечно, немецкий язык, но покой важнее. Завтра же займусь поисками хорошей русской школы!

Зная папину энергию и оперативность, я взмолилась:

– Не надо мне другой школы! Я не хочу расставаться с подругами! И никаких врагов у меня нет!

– Доня, – вдруг сказал папа, – по-моему, ты что-то недоговариваешь. Расскажи-ка мне лучше всю правду!

Я взяла с него слово, что он не расскажет её никому, даже маме.

– Так скажи мне, наконец: кто залил портрет?

– Я! Я сама!

Папа остолбенел. Потом принялся меня ругать. Главное: не мог понять причины столь нелепого поступка.

Тщетно я пыталась ему объяснить: поясной портрет, «бурное развитие», неприятно...

– Это ещё что за дурость! Я, можно сказать, тебя от ножа увёл, а ты теперь стесняешься результата. Может, ещё чадру станешь носить?

Долго ещё распекал меня папа:

– А что ты со своей директрисой сотворила! «Политический инцидент»! Глупо, конечно, но ведь время какое. Бедная женщина решила на всякий случай «бдительность» проявить. Это она, конечно, со страху...

Этого страха я тогда понять не могла. Шёл 1936-й год. Ещё не 1937-й, когда арестуют родителей многих моих друзей, затем многих учителей и старших учеников нашей школы и, наконец, закроют и школу имени Карла Либкнехта...

---

<sup>73</sup> **Немецкая школа имени К. Либкнехта** – первая в Москве школа с преподаванием на немецком языке открыта в 1924 г. для детей немецких политических эмигрантов. Носила имя одного из основателей Коммунистической партии Германии. В историю вошла как «репрессированная школа». Репрессии начаты осенью 1936 года, когда были арестованы четверо учителей и 40 родителей учеников. На встрече выпускников школы в конце 80-х выяснилось, что репрессии коснулись практически всех. Школа была закрыта 24 января 1938 года. В.Ф.

### Пути, ведущие в ГУЛАГ

Страх директрисы, увы, оказался провидческим.

Моя подруга и одноклассница Таня Ступникова<sup>74</sup> в своей книге «Ничего, кроме правды» рассказала о встрече в Потье<sup>75</sup>, куда она приехала на свидание со своей тётёй, заключённой в здешнем концентрационном лагере.

Из-за колючей проволоки её окликнула дряхлая старушка, в которой она с изумлением и огорчением узнала нашу бывшую столь энергичную директрису, бывало, гордо шествовавшую по залам и коридорам школы – всё ту же геноссин Крамер...



Татьяна Ступникова

---

<sup>74</sup> **Ступникова Татьяна Сергеевна** (1923-2005) – переводчик. Немецким овладела в детстве в Германии, куда был командирован её отец химик Сергей Данилович. Гл. инженер Гипрохима С.Д. Ступников (1890–1949) получил Сталинскую премию второй степени за 1943-1944 гг. за разработку и внедрение в промышленность методов интенсификации производства серной кислоты, а потом репрессирован. После возвращения в Москву Татьяна Сергеевна училась в Немецкой школе им. Карла Либкнехта. Разведчица, перед отправкой на фронт окончила разведшколу при Военном институте иностранных языков. Принимала непосредственное участие в операции по задержанию генерала Власова. Была прикомандирована к штабу Г.К. Жукова. Работала синхронным переводчиком на Нюрнбергском процессе, о чём написала книгу «Ничего, кроме правды».

Любопытный эпизод из этой книги: ««В один из жарких летних дней начала августа я мчалась по коридору в наш рабочий «аквариум», ничего не замечая вокруг, напрягая все силы, чтобы не опоздать. Но вдруг поскользнулась на гладком полу, пролетела по инерции некоторое расстояние и наверняка бы упала, если бы кто-то большой и сильный не подхватил меня. В первый момент я ничего не могла понять и только почувствовала силу мужских рук, сжимавших меня в объятиях. Всё это длилось, наверное, несколько секунд, которые показались мне вечностью. Когда же я очнулась и подняла глаза на моего спасителя, передо мной совсем рядом оказалось лицо Германа Геринга, который успел прошептать мне на ухо «Vorsicht, mein Kind!» (Осторожно, дитя моё!). Помню, что от ужаса у меня всё похолодело. За спиной Геринга стоял тоже почему-то улыбающийся американский охранник. Не знаю, как я дошла до двери в «аквариум», но и здесь меня ждало новое испытание. Ко мне подскочил откуда-то взявшийся французский корреспондент. Нас, переводчиков, все хорошо знали, так как мы ежедневно сидели в зале суда рядом с подсудимыми у всех на виду. Хитро подмигнув, корреспондент сказал по-немецки: «Вы теперь будете самой богатой женщиной в мире». И очевидно, заметив мою растерянность, пояснил: «Вы – последняя женщина в объятиях Геринга. Неужели непонятно?» Да, мне этого было не понять. Француз не учёл главного, а именно того, что в объятиях нацистского преступника оказалась советская женщина». В.Ф.

<sup>75</sup> Концлагерь в Мордовии, где содержались инакомыслящие, был создан в 1931 г. В.Ф.

Все пути, как известно, ведут в Рим. Но, боюсь, в моём рассказе все истории, в конечном счете, ведут в ГУЛАГ...

В 1936-м году террор стремительно набирал силу. Но народу был прописан оптимизм. «Жить стало лучше, жить стало веселее», – провозгласил Сталин. И придворный стихотворец Лебедев-Кумач тотчас сочинил гимническую песню:

Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек.  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек...

Официальным гимном СССР по-прежнему оставался «Интернационал», но в этом качестве он всё больше вытеснялся сочинением Лебедева-Кумача, поддержанным вдобавок популярной музыкой Дунаевского.

Песня звучала везде – в школах, на концертах, по радио...

Как-то раз, в том же 1936-м году, меня пригласила к себе моя школьная подруга Марианна Вайнерт, дочь известного в ту пору немецкого поэта коммуниста Эриха Вайнерта<sup>76</sup>, – посмотреть новую квартиру, которую её отец только что получил в писательском доме в Лаврушинском переулке.



Эрих Вайнерт

Марианна открыла мне дверь и сразу приложила палец к губам. В переднюю доносились звуки рояля и пения.

– Отец получил важный заказ, – с гордостью сообщила Марианна, – переложить на немецкий язык вашу песню «Широка страна...».

– Кто пришёл, Марианна? – крикнул из гостиной Вайнерт.

– Папа, это моя подруга Соня! Мы тебе не мешаем...

– Идите сюда! – неожиданно позвал поэт.

Суровый, не улыбкающий человек, он коротко кивнул мне и взял несколько аккордов:

– Вот что! Ты сейчас споёшь всю песню по-русски! А я буду повторять за тобой каждый куплет по-немецки. Начинай!

Я испугалась:

– Геноссе Вайнерт, извините, но я совсем не умею петь! У меня нет слуха. Мама говорит, что слон...

Вайнерт махнул рукой и, проиграв вступление, сам пропел всю песню до конца, разумеется, по-немецки.

<sup>76</sup> Эрих Вайнерт (Weinert) (1890-1953), немецкий поэт-коммунист. После фашистского переворота эмигрировал в Швейцарию, затем в СССР. В 1937 году политработник 11-й интернациональной бригады в Испании. В годы 2-й мировой войны возглавил антифашистский комитет «Свободная Германия». Обращался по радио к немецким солдатам, Автор антифашистских стихов, рассказов и других произведений. С 1946 г. жил в ГДР. Удостоен Национальной премии; избран членом Немецкой академии искусств. В.Ф.

Так случилось, что первой русской слушательницей немецкого варианта знаменитой песни стала 13-летняя школьница.

Мы с Марианной онемели от восхищения.

Вайнерт увидел, какое впечатление произвёл на нас перевод, и впервые улыбнулся...

Вернувшись домой, я поделилась этим впечатлением с родителями. Как-никак, я стала свидетельницей исторического эпизода. Но папа лишь усмехнулся и коротко отрезал:

– Халоймес!

Папа редко употреблял слова на идиш (в доме у Ёсельсонов в пору его детства, видно, в основном говорили по-русски). Но этими словами он всякий раз предельно лаконично, а, главное, метко словно бы припечатывал явление.

Так и тут. «Халоймес!». Что это? Никак «бредни»?

3 октября 2005 г. радио «Голос России» сообщило: сайт общества «Мемориал» [www Mos Mem@ru](http://www.MosMem.ru) указывает, что в 30-е годы в Москве было расстреляно 12 тысяч человек. Указываются улицы, номера домов, квартиры.

Кажется, я так долго тасовала и перетасовывала карты нашей жизни и соответственно – папиной биографии, что те немногие, которые (надеюсь!) будут читать эти заметки, могут запутаться в датах и эпизодах.

Значит, так: в 1931-м году мы вернулись в Москву из Парижа. Папа стал работать в «Разноэкспорте», помещавшемся в здании Наркомлегпрома. В том же доме № 12а по Чистопрудному бульвару ему дали квартиру.

Эпизод с нашим визитом к Герцену относится к лету 1933-го года. Кстати, сразу же после этого у папы отняли прикрепление к Кремлёвской поликлинике, но, разумеется, не в отместку за то, что он увёл меня из-под ножа, а в силу логики событий.

Потом папа выехал на работу в Норвегию, и мы с мамой вскоре последовали за ним. Папа проработал там с 1933-го по 1936-й год, сначала – заместителем торгпреда, потом – торгпредом. Меня мама в 1935-м году, т.е. по достижении 12-ти лет, привезла в Москву и определила в школу имени Карла Либкнехта.

В 1936-м году папа вернулся в Москву и снова стал работать в доме Наркомлегпрома.

Но сначала давайте, наконец, выедем в Норвегию.

### В Норвегии

1933-й год...

В Норвегию папа выехал первым, а мы вскоре последовали за ним. Наш маршрут: Ленинград, Хельсинки, Або (Турку), Стокгольм. В Стокгольме нас сразу же приняла Александра Михайловна Коллонтай<sup>77</sup>, красивая пожилая дама, советский посол в Швеции.

---

<sup>77</sup> **Александра Михайловна Коллонтай** (урождённая Домонтович) (1872-1952) – русская революционерка, государственный деятель и дипломат. Дочь высокопоставленного генерала, участника Русско-турецкой войны 1878-79 гг. Третья сестра поэта Игоря Северянина. Была введена в великосветское общество. Полиглот. В 1917-1918 гг. была наркомом государственного призрения в первом Советском правительстве Ленина, что делает её первой женщиной-министром в истории. Первая в мире женщина-посол: полпред СССР в Норвегии, Мексике, Швеции. Её именем названы малая планета, улицы в ряде городов СССР. В 1972 г. к 100-летию Коллонтай почта СССР выпустила почтовую марку. Она стала героиней фильмов и литературных произведений. В.Ф.



**А.М. Коллонтай**

<http://www.oboznik.ru/wp-content/uploads/2014/03/t36.jpg>

Такой увидела её Тарханова

Этой честью мы, разумеется, были обязаны папе. Оказалось, что Александра Михайловна хорошо знает и уважает его.

За чаем Коллонтай угощала нас необыкновенно вкусными пирожными. Когда был съеден первый эклер, посланница предложила мне второй и сама положила его в моё блюдо. Я с удовольствием съела его, за что мне потом изрядно влетело от мамы.

Прощаясь, Коллонтай чмокнула меня в щёку:

– Смотри, детка, хорошенько заботься о папе! Он же такой славный человек!

Наставление это, конечно, было адресовано маме, что очень её обидело: в чём – в чём, а в отсутствии заботы о муже маму нельзя было упрекнуть...

В Осло нас встретил папа и отвёз в гостиницу – дожидаться служебной квартиры.

Мне кажется – насколько я теперь могу чудить – что эта командировка в Норвегию была для папы истинным подарком судьбы. Я думаю, что благотворный норвежский климат должен был укрепить его здоровье, тем более что отпуск он проводил в норвежских пансионатах и санаториях, обычно расположенных в горах, в сосновых лесах.

Как-то раз, во время экскурсии на горный каток папа взял напрокат коньки и начал ловко описывать круги на льду, чем совершенно меня поразил... Прежде всего, конечно, умением. Хотя главным было другое: значит, окреп настолько.

Надеюсь, был у него тогда и хоть какой-то душевный покой.

Конечно, надо думать, и тут, в Осло, посольские стукачи исправно несли свою службу. Отец, понятно, ничего мне об этом не говорил. Я знаю лишь об одном случае – когда товарищ Беляева, типичная совпартбаба тех лет, с мужской стрижкой и в мужском галстуке на пышном бюсте, донесла начальству, что «консул Ананов и замторгпреда Тарханов дают своим дочерям буржуазное воспитание».

Дело было в том, что Леде Анановой (8 лет) и мне (10 лет) родители разрешили танцевать в местной балетной школе. После доноса Беляевой папа мгновенно извлёк меня оттуда...





Аркадий Тарханов. 30-е годы

Впоследствии он признался мне, что и без доноса сделал бы это.

– Я боялся, что ты станешь балериной и попадёшь в порочную среду.

Не знаю, какие ещё подвиги стукачей относятся к той поре. Но всё же тихая норвежская столица вряд ли могла быть таким же объектом внимания спецслужб, как Париж.

Здесь папе было обеспечено то же важное удобство, что и в Москве: служебная квартира находилась в том же доме, что и его контора. Так, даже в холод ему не надо было выходить на улицу и мучительно задышаться.

Сюда, на Inkognitogaten fireogtyve B – на улицу Инкогнитогатен 24 Б – я пришла полвека спустя в дни неожиданной командировки, когда в условиях перестройки мне вдруг разрешили поехать в Осло на семинар для переводчиков норвежской литературы.

Я подошла к «нашему» подъезду, и мне показалось, что вот-вот отсюда, как когда-то, выйдет папа...

А за полвека до этого, как только наша семья прибыла в Осло, меня сразу же определили в школу, хотя я и не знала норвежского языка. Но, как все дети, я быстро его освоила. Взрослым новое даётся труднее. Торгпредство наняло папе учительницу. Я особенно чётко вспомнила об этом, когда внучка Ленка, живущая в Гамбурге и работающая там в фирме медицинского оборудования, рассказала мне, что фирма наняла ей учительницу испанского языка, чтобы она выучила и этот язык, дополнительно к английскому и французскому (немецкий теперь – родной).

Папина учительница, высокая красивая дама, приходила несколько раз в неделю к нам на дом и всякий раз оставляла отцу для заучивания тексты, напечатанные на машинке.

Каждый день, возвращаясь из школы, я обязательно забегала в его кабинет – посмотреть, что папа «проходит».

В первый раз я прочитала: “Per går på gaten. Jeg går også på gaten. Jeg treffer Per. “Goddag!” – sier Per”. Что означает: «Пер шагает по улице. Я тоже шагаю по улице. Встречаю Пера.

– Добрый день, – говорит Пер».

И на другой день, и на третий я прочитала то же самое. Сколько ни шагал бедняга Пер, – в отношениях с папой ему не удалось продвинуться ни на шаг: на папином столе в кабинете всегда лежал только этот текст.

И красивая учительница скоро перестала приходить...

Впрочем, насколько я знаю, ни один сотрудник тогдашней советской «колонии» в Осло не освоил норвежского языка. Деловая переписка шла на английском и немецком. Английский язык отец знал номинально, а немецким владел свободно. В остальном выручали переводчики – преимущественно из смешанных русско-норвежских семей, например, 19-летний Кула Даниельсон (конечно же, он был просто «Коля» – только латинское «о» произносится по-норвежски, как «у»).

В то время я ещё иногда видела отца смеющимся, в хорошем настроении. За бритъём он часто напевал:

Як до тебе ходити,  
Тебе вірно любити?  
В тебе мати лиха,  
В тебе мати лиха,  
Серце мое, серце мое!

И еще:

Сонце низенько, вечір близенько,  
Вийди до мене, мое серденько!

И то, и другое – по-украински. Отец с детства свободно владел этим языком, ведь он вырос на Украине.

Певал он и другие украинские песни, а из итальянских – «Вернись в Сорренто». Пел темпераментно, но всегда фальшивил, и это отсутствие слуха, к ужасу моей музыкальной мамы, полностью передалось мне...

В 1935-м году мама отвезла меня в Москву. По достижении 12 лет детям советских сотрудников уже не разрешалось испытывать на себе «тлетворное влияние Запада», как сказал бы Александр Галич.

Меня определили в Немецкую школу имени Карла Либкнехта, за что я до сих пор благодарна моим родителям. Многие нити моей судьбы протянулись оттуда.

Ещё до отъезда в Норвегию папа вызвал в Москву из голодного Таганрога свою младшую сестру Нюсю с маленькой дочкой, о которых он впоследствии всю жизнь заботился. А по случаю нашего с мамой приезда в Москву папа распорядился: снять где-нибудь под Москвой на всё лето дачу и собрать там для отдыха всех «двоюродных». Главной хозяйкой-распорядительницей на этой даче, снятой на Клязьме, была тётя Нюся. При ней была 4-х-летняя кудрявая дочка Циля. Из Ростова-на-Дону приехала Зиночка с двухлетним Витюшей, ещё откуда-то – восьмилетняя Симочка, дочка покойной папиной сестры Цили. В этом «цветнике» я была старшей. Детки были очень милые, но порядком мне надоедали. Особенно донимала меня Симочка, которая всё время хотела играть в «подкидного дурака» и «мокрую курицу». Иногда мне удавалось удрать от них в кино, где однажды даже показали пьесу «Чужая жена и муж под кроватью».

Разумеется, всю эту дачную акцию профинансировал папа.

Мама вскоре уехала в Осло, и папа проработал там ещё год.

### «Спасибо курице»

В конце 1936-го года родители вернулись в Москву. Папа стал снова работать в каком-то экспортном учреждении – главное, в том же доме, где мы жили.

Вскоре он разругался с Розенгольцем<sup>78</sup>, тогдашним наркомом внешней торговли. Розенголец, впоследствии репрессированный, разумеется, не был ни иностранным шпионом, ни вредителем, а просто заносчивым парвеню, третировавшим подчинённых. Кроме того, папа ещё и считал его плохим руководителем.

На каком-то совещании высокого уровня подхалимы хвалили наркома за то, что он в своей работе неуклонно соблюдал генеральную линию партии. Папа не стерпел – взяв слово, он заявил: «Если поймать курицу и пригнуть её головой к стене, а на стене мелом провести белую линию, то курица вообразит, что она привязана к этой черте. Она застынет в этой позе и не пошевелинется. Так вот: если вообще была линия в работе нашего руководства – то только такая!».

Произошёл скандал. Папа уволился из Наркомвнешторга.

Возможно, уход из системы внешней торговли в период массовых репрессий оказался для него спасительным.

Спасибо той самой курице...

Перед отцом поначалу замаячили какие-то престижные посты, но плохое здоровье и политическая обстановка заставили его сузить поле деятельности. Вместо того, чтобы возглавить ЦАГИ (Центральный аэродинамический институт), как ему предлагали, папа стал директором Архитектурно-проектной конторы ВЦСПС, где было всего 12 сотрудников.

В нашем доме появилось несметное количество книг по вопросам архитектуры, они громоздились не только на папином письменном столе, но и на подоконниках. Папа всегда брался за любое дело основательно.

Ещё в своё время в Тодтмоосе, едва оправившись от смертельно опасной операции, отец захотел, насколько можно, изучить свою болезнь. Он раздобыл, или, наверно, ему раздобыли по его просьбе книги по туберкулёзу и лёгочной хирургии как на русском, так и на немецком языках. И тяжело больной человек, можно сказать, вернувшийся «с того света», к тому же и не медик по образованию, он принялся упорно штудировать всю наличную литературу. Я знаю, что в дальнейшем при всей своей занятости, отец продолжал следить за прогрессом в лечении туберкулёза и лёгочной хирургии.

Это может показаться сказкой. Но в 1937-м году я несколько раз навещала папу в туберкулёзном санатории на подмосковной станции Кратово. И всякий раз при мне его приглашали на консилиум, посвящённый лечению того или иного пациента. Увидев моё удивление, папа пояснил, что главный врач санатория профессор Стойко<sup>79</sup>, с которым он сдружился, настолько доверяет его знанию дела, выверенному на собственной судьбе, и интуиции, что сплошь и рядом считает необходимым выслушать его мнение. Никто, кроме Стойко, конечно, не знает, что он не врач, – с улыбкой добавлял папа.

Возглавив Архитектурно-проектную контору, папа, конечно, не стал архитектором, как не стал он прежде пульмонологом. Но он так глубоко изучил

---

<sup>78</sup> **Аркадий Павлович Розенголец** (1889-1938) – советский государственный и военный деятель. Занимал разные государственные должности: главный начальник Воздушного флота РККА, полпред в Великобритании (занимался шпионской деятельностью, что привело к разрыву дипломатических отношений между СССР и Великобританией в 1927 году), член Президиума ЦКК, Нарком внешней торговли СССР и др. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) с 1934 г. Арестован 7 октября 1937 года, расстрелян 15 марта 1938 г. Посмертно реабилитирован в 1988 г. В.Ф.

<sup>79</sup> **Николай Георгиевич Стойко** (1881-1951) – хирург-фтизиатр. С 1932 г. руководил хирургической клиникой Центрального туберкулёзного института. Труды посвящены изучению туберкулёза и разработке методов хирургического лечения при туберкулёзном поражении лёгких. Лауреат Сталинской премии (1950). В.Ф.

новое дело, что мог компетентно разбираться в вопросах, связанных с осуществлением проектов. И на производственных совещаниях в Конторе посторонние архитекторы, как и кратовские врачи, тоже не догадывались, что он – аутсайдер.

Кстати, своей дружбой с профессором Стойко папа воспользовался для того, чтобы помочь моей подруге Леночке Ротменш, заболевшей туберкулёзом. Он устроил её в кратовский санаторий, и там Лёну поставили на ноги.

Впрочем, таких добрых дел на папином счету было много.

1937-й год. Достаточно обозначить эту цифру – и всё станет ясно.

У родителей не было ни минуты покоя. Любой советский гражданин в любую минуту мог ожидать, что его арестуют и бросят в тюрьму, а, может, даже сразу ликвидируют. А ведь папа вдобавок ещё был «заграничником» (особо уязвимая категория лиц).

Годы показательных процессов, повальных арестов.

По ночам «они» приходили в наш дом, проходили по его длинным коридорам, пока шаги не останавливались у какой-нибудь двери. Родители не спали, с замиранием сердца прислушивались к этим шагам. У отца, как и у многих других, стоял под кроватью чемоданчик: две смены белья, полотенце, мыло. «Чтобы быть готовым, если за мной придут», – рассказывал он мне впоследствии. До сих пор не понимаю, как я тогда могла спокойно спать по ночам – как-никак, я была уже большая девочка...

У многих из моих друзей были арестованы родители. Отец Тани Ступниковой, выдающийся учёный-химик, был в одной «шарашке» с Солженицыным и Копелевым<sup>80</sup>. Отцов Морица и Фаньки, видно, расстреляли сразу же после ареста. В школе на комсомольских собраниях ученики поднимались на сцену и публично отрекались от своих арестованных родителей.

Естественно, я приставала к папе с вопросами, но он отвечал уклончиво. Наверно боялся, что я стану болтать. И берёг мой душевный покой (я ведь тогда ещё не знала про чемоданчик). Иногда он ронял:

– Знаешь, это сложная проблема. Чем задумываться о политике, ты лучше ходила бы в театр!

И я ходила. Папа помогал мне доставать билеты на «дефицитные» спектакли, – впрочем, все хорошие были тогда дефицитные.

Как-то раз я сказала, что хотела бы сходить в оперетту. Но наткнулась на решительный отказ:

– В оперетту не надо! Это безнравственное зрелище!

После этого, конечно, мне особенно захотелось бросить взгляд в бездну порока.

Я перестала покупать булочки в школьном буфете. Мой приятель Мориц, начавший понемножку подрабатывать на каком-то вокзале, тоже стал откладывать часть «гонорара». Так мы скопили сумму, достаточную

---

<sup>80</sup> Лев Зиновьевич (Залманович) Копелев (Копелевич) (1912-1997) – критик, литературовед – германист, диссидент и правозащитник. В 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Благодаря знанию немецкого языка служил переводчиком и пропагандистом. В 1945 г. приговорён к 10 годам заключения за пропаганду «буржуазного гуманизма и сочувствие к противнику». В «шарашке» Марфино встретился с Солженицыным и стал прототипом Рубина в его книге «В кругу первом». Освобождён в 1954 г., реабилитирован в 1956-м. С 1966 года активно участвовал в правозащитном движении. В 1968 г. исключён из КПСС и Союза писателей, уволен с работы за протестные письма против преследования диссидентов и вторжения в Чехословакию. В 1980-90 гг. был лишён советского гражданства. Почётный доктор философии Кёльнского университета. Умер в Кёльне, где созданы фонд и музей Льва Копелева. В.Ф.

для покупки двух билетов на оперетту «Роз-Мари». Оперетту давали в летнем театре сада «Эрмитаж», и потому билеты были намного дешевле обычных.

Мы пришли в «Эрмитаж» задолго до начала спектакля, уселись на скамью и стали ждать.

Наконец, поднялся занавес. На сцену выкатились двое: толстенький плешивый еврей в клетчатой рубаше и его такая же толстенькая и пожилая партнёрша. Он запел: «О Роз-Мари, о Мэри! Цветок душистых прерий... Твои глаза, как небо голубое, пленяют сердце юного ковбоя!...».

Исполнив куплеты, они должны были сплясать. Но их натужные телодвижения вызывали лишь чувство жалости.

Из программы я узнала, что юный ковбой – знаменитый корифей опереточной сцены Ярон, а его толстенькая партнёрша – тоже какая-то очень заслуженная.

В первом же антракте мы сбежали...

Пир во время чумы...

Папа, обычно столь доброжелательный к людям, при появлении мальчишек хмурился. Всех без исключения он встречал настороженно и всегда отзывался о них насмешливо.

Впрочем, одно исключение было: Муся Довгалеvский.

Муся был мой сверстник, учился в соседней школе и с некоторых пор повадился ко мне заходить.

Услышав его фамилию, папа тяжело вздохнул и рассказал следующую историю:

Довгалеvский-отец работал в Берлинском торгпредстве одновременно с ним<sup>81</sup>. В 1927-м году он получил распоряжение вернуться в Союз. В назначенный день и час он прибыл с семьёй на вокзал, поднялся вместе с женой и маленьким сыном в поезд и принялся расставлять чемоданы на полках купе.

За минуту до отправления поезда он вдруг хлопнул себя по лбу:

– Жара! А я забыл купить сельтерскую!

С этими словами он выбежал из вагона. Тщетно жена пыталась его удержать.

Через минуту поезд тронулся. Довгалеvская надеялась, что муж успел вскочить в последний вагон и вот-вот вернётся в купе. Но он не вернулся.

Она вызвала начальника поезда, тот дал телеграмму на Берлинский вокзал, потом – в Торгпредство.

Но Довгалеvский как в воду канул.

Позже выяснилось, что он сговорился с дочкой хозяина одного немецкого предприятия и, женившись на ней, стал совладельцем фирмы...

Папа очень жалел Мусю, которого так подло предал родной отец. Но зато его мать, видно, была хорошая женщина, и он, как и положено еврейскому юноше, очень её уважал...

---

<sup>81</sup> Летом 1928 года секретариат ЦК ВКП(б) рассмотрел вопрос “О работниках совхозучреждений за границей, отказавшихся вернуться в СССР». К тому времени численность так называемых невозвращенцев достигла 123 человек, из которых 18 являлись членами партии, треть из них – с дореволюционным стажем. В их числе упомянут заведующий Хлебным отделом Гамбургского отделения торгпредства Р.Б. Довгалеvский, член партии с 1917 года, работал за рубежом с 1928 г. <http://historystudies.org/2012/07/genis-v-l-nevozvrashhency-1920-x-nachala-1930-x-godov/>. В.Ф.



В 1943-м году, на фронте, я неожиданно получила от Муси письмо с предложением выйти за него замуж: «... и, взявшись за руки, мы вместе пойдём навстречу солнцу!».

Я очень удивилась: никаких поводов для такого предложения не было. Но, возможно, мама сказала Мусе, что, мол, пора жениться – и он разослал так называемое «круговое письмо» знакомым девушкам...

Спустя несколько лет, когда я гуляла со своими детьми на Чистых Прудах, у выхода на Покровку, кто-то вдруг остановил машину рядом с оградой.

Это был Муся, изрядно повзрослевший, солидный. Судя по всему, его судьба сложилась вполне благополучно. Ни у кого из наших знакомых тогда машины не было, а тут...

Наверно, Муся решил, что и навстречу солнцу ездить удобнее, чем топтать пешком. И, надо думать, нашлась и спутница – автолюбительница...

Странно, но именно папа, человек, казалось бы, далёкий от литературы, и уж, во всяком случае, от филологии (далёкий, разумеется, в профессиональном смысле, читал он всегда очень много), указал мне путь, к которому я много позже и сама пришла, – профессию переводчика художественной литературы. Я ведь хотела стать журналисткой.

Но папа сказал:

– Ну, знаешь, быть журналистской в наших условиях и писать «чего изволите» – решительно не советую!

Не знаю, откуда брались у отца душевные силы заботиться – пусть с несколько излишней прямолинейностью – о моём нравственном воспитании и размышлять о моей будущей профессии.

Когда ко мне приходили подруги, мы включали привезённую родителями еще «оттуда» немецкую радиолу “Blaupunkt” («Голубая точка») и танцевали. Если появлялись мальчишки, танцы отменялись: мальчишки танцевать не умели.



Соня Тарханова среди одноклассниц (4-я во 2-м ряду)

Всё в том же 1939-ом году моя хорошенькая подруга Мима стала приводить ко мне своих одноклассников, разумеется, в неё влюблённых. Казалось бы, никаких оснований для отцовской ревности у папы не было. Тем не менее, он обозвал Колю Гусева, по общему суждению, очень интеллигентного юношу, – «сыном колбасника», а Валю Островского, с его редкими дарованиями, – «заучившимся ешиботником»<sup>82</sup>.

<sup>82</sup> «ешиботник» – учащийся ешивы, ешива – высшее училище по изучению Талмуда. С.Т.

На этот раз папина интуиция, блестяще проявившаяся в провидении моей будущей профессии (художественный перевод), изменила ему.

Высокий кудрявый мальчик Валя Островский, с чудесной улыбкой... В ней было всё – и сознание своих возможностей, и смущение от этого сознания, неотразимое тепло и безмерная скромность.

Именно он, шестнадцать лет спустя, взял на себя заботу о нашей семье, обожая папиных внуков и правнуков так, как мог бы обожать только он, мой отец...

Именно этот человек с чудесной улыбкой стал главой нашей семьи и нашим поводырём в этом сложном мире.

Конечно, между теми днями в квартире на Чистых Прудах, когда мы, шестнадцатилетние, сочиняли пародии на стихи русских поэтов, и счастливым временем, когда мы с Валькой, как принято говорить, – «соединили наши судьбы», пролегли годы: война и мой первый брак, появление детей, работа в Берлине и Москве, мучительный развод...

Да что уж говорить о папиной интуиции, тогда в 1939-ом году, – когда моя собственная интуиция дремала, хоть и тогда я увидела и по достоинству оценила прекрасную улыбку «ешиботника».

И всё та же прекрасная улыбка вот уже полвека встречает меня по утрам... и варит мне кофе...

Но надо вернуться в 1939-й год.

В том 1939-м году произошло событие, которое потрясло всю нашу семью: арестовали мою подругу Фаньку. Смешливую очкастую Фаньку, с которой мы полтора года просидели за одной партой в Немецкой школе имени Карла Либкнехта на Кропоткинской, пока не закрыли школу, – после ареста большинства наших учителей – эмигрантов и многих старших школьников («шпионское гнездо», – сказал тогда один из «компетентных» товарищей) – и не разогнали нас, учеников, по микрорайонам.

Как только увели Фаньку, её мать, благородная женщина, поспешила к общим друзьям – предупредить, чтобы я ни в коем случае не приходила к ней, потому что я у «товарищей» на примете: они забрали все мои письма и фотографии.

Естественно, я пренебрегла запретом и в тот же вечер помчалась к фанькиной маме, в дом у Киевского вокзала. Она открыла мне дверь, сердито крикнула:

– Уходите! Я вас не знаю и знать не хочу! – и захлопнула передо мной дверь.

Дома пришлось всё рассказать родителям, которые, конечно же, разволновались. Папа сказал:

– Эта добрая женщина права, она тебя бережёт. Не лезь ты к ней, ради бога! Подруге ты сейчас не поможешь, зато ты сама у них на крючке. Впрочем, все мы у них на крючке...

Фанька вернулась через 17 лет – больная, измученная, без зубов. Позднее Ульбрихт<sup>83</sup>, как и многих других немецких антифашистов, пригласил её в ГДР. Там она получила образование, работу и квартиру в престижном доме на Сталинской аллее (!) и жила благополучно до самой своей смерти, последовавшей, конечно же, преждевременно, – в 1990-м году.

А арестовали её, когда ей было 16 лет...

---

<sup>83</sup> Вальтер Ульбрихт (1893-1973) – Первый секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии, руководитель ГДР в 1950-1971 гг. В.Ф.

Арестовали тогда ещё трёх девочек из нашего уже несуществующего класса 7 «с» несуществующей Немецкой школы. Дело в том, что в этом нашем бывшем классе училась Лена Аросева, одна из трёх дочерей председателя ВОКС. Когда арестовали Аросева с женой, три сестры (в отличие от чеховских, уже жившие в Москве), остались одни в большой роскошной квартире, кажется, на улице Грановского.



Наталья, Ольга и Елена Аросевы. Середина 30-х годов  
<http://www.kommersant.ru/gallery/2831261>

К ним приходили по вечерам, гонимые тоской, другие девочки из нашего бывшего класса: у всех были арестованы родители и, естественно, им хотелось хоть немножко веселья. Они танцевали под радиолу и пили чай с вареньем.

Соседи, зарившиеся на просторную квартиру Аросевых, сбегали куда надо и заявили, что в этой квартире собираются дети врагов народа и рассказывают антисоветские анекдоты.

И тогда арестовали сразу четырёх девочек из нашего бывшего класса<sup>84</sup>: Фанни Нойман, Лену Аросеву, Нину Эверлинг и Эльзу Боровую<sup>85</sup>...

<sup>84</sup> С.А. Тарханова, конечно, не могла знать подробностей этой истории. Тогда, в 37-м, она, возможно, обросла легендами. Поэтому изложила её неточно.

Три сестры Аросевы – Наталья, Елена и Ольга – учились в Немецкой школе. Их отец, Александр Яковлевич Аросев (1890-1938) – революционер, советский партийный деятель, чекист и дипломат, писатель. До революции неоднократно подвергался арестам, был в ссылке. Во время Октябрьской революции был членом Военно-революционного комитета в Москве и командовал большевистскими отрядами. До 1927 года работал в ВЧК. В 1927-33 гг. – на дипломатической работе. С 1934 по 1937 годы – председатель Всесоюзного Общества культурных связей с заграницей (ВОКС). Жил в знаменитом «Доме на набережной» («Дом правительства» на улице Серафимовича, 2). Репрессирован в 1937 году. Расстрелян 10 февраля 1938 года.

Мать, Ольга Вячеславовна Гоппен, родом из польских дворян, работала секретарём-референтом у Полины Жемчужиной, жены Молотова. Сбежала из Стокгольма на Сахалин (!) к любимому мужчине в 1929 г., оставив детей мужу. Это их и спасло: после ареста бывшего мужа ей позволили забрать дочерей к себе. Никто из них репрессирован не был.

Старшая из сестёр, Наталья (1919-1990) – один из ведущих переводчиков СССР с чешского, писатель – автор романа «След на земле», посвящённого отцу. Елена – ровесница Сони (род. 09.06.23) –участник Великой Отечественной войны, актриса, Заслуженная артистка РСФСР (1974). Самая знаменитая – младшая, Ольга Аросева (1925-2013), актриса Театра Сатиры, «пани Моника» в Кабачке «13 стульев», Народная артистка РСФСР (1985). В.Ф.

<sup>85</sup> Оксана Боровая, внучка Эльзы Боровой, сообщила, что её бабушка сидела «где-то под Карагандой», осталась жить в Сибири и умерла примерно в 1979 году. А отец Эльзы, Исая Исаевич Боровой, был, оказывается, прототипом самого знаменитого литературного персонажа последней четверти XX века Штирлица (он же Максим Максимович Исаев). Руководитель советской разведки в Германии, он пробрался в самые верхи гитлеровской власти. Лично знакомый с Берией, он был арестован в 1944 году: в конце войны Берия разгромил всю сеть советской военной разведки. Его пытали – поломали все руки и ноги, повредили позвоночник. Упрятали в самый глухой угол Красноярского края. В 1953-м он был главным свидетелем

Спустя много лет Фанька спросила меня:

– А ты знаешь, какой день был самым ужасным в моей жизни?

– Наверно, день ареста? – предположила я.

– Нет – день, когда я получила письмо из КГБ: в нём говорилось, что мы с отцом реабилитированы «за отсутствием состава преступления»... (а отца-то её, Натана Ноймана, расстреляли!..).

В 1940-м году папу то и дело начали вызывать для «бесед» товарищи из органов. Речь шла о прошлом – о заграничном периоде работы отца. Не знаю, в чём хотели его уличить. Но эти «беседы» измучили его настолько, что однажды он не выдержал и крикнул «товарищам»:

– Мне не в чем перед вами виниться! Не верите – можете меня посадить – один конец.

У папы сделался сердечный приступ. Вызвали врача, тот сделал ему укол. Когда отец пришёл в себя, ему сказали:

– Идите домой, Аркадий Семёнович! Мы не можем выполнить Вашу просьбу: Бутырка – не туберкулёзный санаторий!

Только война оборвала эти беседы. Наверно, у «товарищей» появились другие заботы.

### Война

Фашистские войска неуклонно приближались к Москве. Начались бомбёжки, ночные походы в подвал дома, считавшийся бомбоубежищем.

Когда начали официально отправлять семьи работников ВЦСПС на Урал, папа вызвал меня к себе в Контору на улице Веснина и заявил: мой долг вывезти маму и помогать ей жить в эвакуации. Я и сама видела, как трудно маме, с её больной ногой, спешить по ночам в так называемое бомбоубежище.

С грустью уволилась я из Радиокомитета, куда, после окончания школы, я сразу была приглашена на работу (благодаря знанию иностранных языков). И мы с мамой уехали, точнее, уплыли на пароходе по Каме на Урал. Там, в деревне Малая Вильва Пермской области, я добросовестно проработала 2 месяца в колхозе и заработала немало трудовней.

Но мне прислали вызов на учёбу в ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории), – ведь за день до начала войны я, не подозревая о том, что случится завтра, подала документы в этот институт, на немецкое отделение.

Вопреки маминым возражениям, я вернулась в Москву. Я считала, что имею на это моральное право: вроде бы заработала для мамы продукты за мои трудовни, кроме того, в Малую Вильву должна была вскоре приехать Зина. Но так думала я одна. Даже Зина осудила меня за этот отъезд.

А папа... Приехав в Москву, я два дня не решалась ему показаться. А потом... когда я предстала перед ним на пороге квартиры, он расстроился и разгневался настолько, что обрушился с упрёками даже не на меня, а на маму – в письмах, разумеется. Мама плакала. Я очень жалею об этом – она-то во всяком случае не была виновата: как могла она удержать совершеннолетнюю дочь, твёрдо решившую ехать учиться?

Папа думал, что отправил семью в безопасное место, а тут вдруг заявила я. Обуза...

---

по делу Берии, а год спустя умер от инфаркта. Боровой прожил страшную жизнь: у него никогда не было ничего своего – ни дома, ни семьи. Его жена сошла с ума после его ареста. За подробностями отсылаю читателя к сайтам <http://www.proza.ru/2008/04/24/554> и <http://shraiman.livejournal.com/332340.html>. В.Ф.

Правда, я никак обузой быть не хотела. Я привезла с собой небольшую сумму денег, из заработанных на трудодни. Гроши, конечно. Но ведь в то время на деньги всё равно ничего нельзя было купить: в ходу были только карточки. Всё же я сразу начала подрабатывать в Радиокomite: по старой памяти мне стали давать там переводы.

ИФЛИ к тому времени закрыли. Меня зачислили на исторический факультет МГУ. Но я не могла ходить на лекции. У меня разыгрался такой тяжёлый бронхит, что я беспрерывно кашляла и мешала остальным студентам в аудитории слушать лектора. Папа, скоро простивший мне самовольство, беспокоился теперь за моё здоровье и гнал меня к врачу.

15-го октября меня вызвали в университет по телефону. Я приехала на Моховую и застала во дворе митинг: студентов призвали срочно ехать на рытьё окопов, де – враг уже близко. «Кто болен, идите на медпункт – вас освободят. Но попусту не ходите – симулянтов отчислим!».

Я вернулась на Чистые Пруды – собираться на окопы. Но папа по случаю болезни был дома. Он разволновался, сказал, что «на окопы» меня не отпустит:

– Только через мой труп!

Я упорствовала.

Папа вызвал с шестого этажа Софью Николаевну Перцовскую. Та тоже принялась кричать, но даже не на меня, а на папу:

– Вы сами виноваты! Вы патологически добры! (Это она так отблагодарила его за то, что он дважды выручал её мужа из лап ГПУ). И девочку тем же глупостям учите – в струнку становиться перед этими бандитами!

От напряжения у меня сделался новый приступ кашля, и они напустились на меня уже вдвоём:

– Вот-вот, поезжай на окопы, покашляй там! Небось, Гитлер испугается, сразу отступит от Москвы! Ты же вконец там расхвораешься, и никто тебе не поможет. Ещё попадешь в руки врага!

Я поехала на медпункт. Врач сразу подписал мне освобождение, вздохнул:

– Скверный у вас бронхит. И, кажется, что-то в правом лёгком у вас затевается... Надо бы сделать рентген, но нам сейчас не до этого. Если сможете – сделайте обязательно...

Дома я сразу завалилась спать. Но уже на рассвете зазвонил телефон.

Дежурная из ВЦСПС передала отцу распоряжение начальства: «возьмите минимум вещей и кусок хлеба и ступайте на Курский вокзал. Оттуда через несколько часов отправится эшелон в город Свердловск. Эвакуируются сотрудники ВЦСПС и члены их семей. Враг уже на подступах к Москве. Оповестите всех своих подчинённых».

Папа кинулся обзванивать своих сотрудников, а меня послал в город – я должна была обегать и известить об эвакуации всех бестелефонных.

Прихватив минимум вещей, мы сами с некоторым опозданием – так долго я бегала по городу – поехали на Курский вокзал. Папа беспокоился, не ушёл ли уже эшелон. Но куда там...

Тут мы вспомнили, что нам нечего есть. В суматохе «оповещения всех сотрудников» никто из нас не успел позаботиться хотя бы о минимальном запасе еды.

Спасибо, мой друг Миша принёс нам на вокзал буханку хлеба.

Только ночью тронулся эшелон. Нас погрузили в дачные вагоны. В наш вагон набилось столько людей, что мне долго даже негде было присесть. По дороге нас то и дело бомбили.



Ехали три недели. На каждой сколько-нибудь крупной станции я выбегала из поезда в надежде добыть хоть какую-нибудь еду в станционном буфете. Но всякий раз меня, несмотря на мою тогдашнюю спортивную закалку, беспощадно оттесняли мужики, и я возвращалась в вагон с пустыми руками. А ведь папе никак нельзя было голодать.

Естественно, никто с нами не делился. Только папин сотрудник Елинсон, крепкий мужчина в крепкой дублёрке, время от времени восклицал:

– Аркадий Семёнович, хотите чесночку?

Наконец, на одной из крупных стоянок мне повезло: вдвоём с дочкой архитектора Моделя Любой мы сбегали в местную рабочую столовую, и там в наши молочные бидоны нам налили доверху горячих душистых щей.

Но когда мы вернулись к месту, где недавно стоял поезд, его там не оказалось: эшелон ушёл. Можно представить себе наш ужас: две девчонки, без денег, без документов, в чужом краю.

Оставалось одно – идти по шпалам, в надежде когда-нибудь догнать эшелон. И в самом деле: спустя полчаса мы – о, счастье! – увидели наш поезд. Железнодорожные пути в те дни были так забиты, что поезда то и дело останавливались.

Но когда мы взобрались в свой вагон, можно сказать, со щитом, т.е. с бидоном, нас встретили отнюдь не комплиментами. И папа, и родители Любы так переволновались, что тут же начали на нас кричать, укоряя за легкомыслие.

Тем не менее, щи весьма пригодились...

В Свердловск мы приехали через три недели. В прекрасном розовом дворце у реки, где разместился ВЦСПС, нас поселили на самой верхотуре, в деревянной будке.

Отца сразу же начали травить. Спасибо хоть за то, что травили в том же доме, – когда надо было выходить на мороз, папа мучительно задыхался.

Оказалось: как только стало ясно, что гитлеровцы Москву не возьмут, папин заместитель по Архитектурно-проектной конторе некто Иваньков явился в ВЦСПС (в Москве) с заявлением, что «Тарханов-де бежал, увёз с собой всех евреев, а русских бросил на произвол судьбы. Контора развалена». Его тут же назначили директором несуществующей Конторы, а против папы возбудили дело.

Тщетно отец доказывал, что выехал по приказу ВЦСПС, что сам известил о нём всех сотрудников и, в первую очередь, Иванькова, а дочь его в это время колесила по Москве, оповещая о предписанной эвакуации всех бестелефонных.

Но у него не было письменного текста приказа, а дама, в тот роковой день 16-го октября передавшая ему этот текст по телефону, куда-то слиняла: должно быть, эвакуировалась куда-нибудь сама.

Профсоюзные злопыхатели-антисемиты с улюлюканьем набросились на папу, благо был найден подходящий повод. Его травили, конечно, не только как еврея, но и как – в прошлом – «заграничника». Одно время его даже уволили, перестали платить зарплату и – самое страшное – отняли пропуск в столовую. Мы уже ждали, что нас вот-вот прогонят с верхотуры в розовом дворце.

Неожиданно отца защитила Секретарь ВЦСПС Клавдия Николаева:

– Я верю, что он честный, – сказала она.

И травля прекратилась. Кроме того, стало очевидно, что реорганизовать Контору в условиях Свердловска, да ещё без участия папы, – невозможно.

Ранней весной 1942-го года, после того, как гитлеровцев отогнали от Москвы, папу вызвали в столицу – воссоздавать Архитектурно-проектную

контору. Иванькова Бог сурово покарал за предательство: он умер от инфаркта. Его вдова, видно, не особенно скорбевшая по мужу и явно уже собравшаяся замуж за кого-то другого, сказала папе:

– А знаете, Аркадий Семёнович, что заявил муж в тот день 16-го октября, когда Вы нам позвонили? Вот что: «пусть жида едут на Урал, там бы навсегда и остались, а мы, русские люди, уж как-нибудь с немцами поладим!».

Скоро папа вызвал в Москву и меня.

Мы вернулись в нашу разграбленную квартиру с пустыми окнами – стёкла были выбиты при бомбежке. Только наши любимые пластинки как-то уберегла Софья Николаевна, и мы периодически обменивали их на масло, муку или крупу.

Вызвали меня в Москву не просто так. Папа был знаком по прежней работе с Мануильским<sup>86</sup>, он рассказал ему про меня, и Мануильский, курировавший в то время 7-й отдел Политуправления Красной Армии, сказал, что человек со знанием нескольких языков ему пригодится. Меня сразу же взяли туда на должность архивариуса.

7-й отдел был отделом «по работе среди войск и населения противника». Здесь выпускались листовки, обращённые к немецким солдатам и призывавшие их осознать безнадёжность затеянной Гитлером войны и сдаваться в плен к советским войскам.

Все трофейные документы в огромных мешках сносили в моё хранилище. Я должна была их разбирать, изучать и составлять соответствующие обзоры. Работы было очень много. Сплошь и рядом я возвращалась домой, часто пешком, потому что транспорт уже не ходил – после полуночи. Папа, естественно, очень волновался.

Скоро я огорчила его ещё больше. В конце 1942-го года я подала начальству заявление с просьбой направить меня на работу в Действующую Армию. Глубоко расстроенный, папа пошёл к Мануильскому в надежде как-то приостановить мою затею. Но Мануильский объяснил ему, что невозможно дать делу обратный ход, и папа, как ни огорчился, всё же великодушно простил мне (не в первый раз!), что я проделала всю эту операцию за его спиной.

Конечно, я жалела отца, но – рассуждала я тогда – скоро он уже будет не один, вот-вот вернётся из эвакуации мама, и вообще... я же не на бал иду, в конце концов, а еду на фронт защищать Родину.

“Charity begins at home” («Милосердие прежде всего в семье». Милосердие прежде всего должно быть обращено на близких» – вот, пожалуй, наиболее точный (по смыслу) перевод) – эту истину я поняла лишь много позже.

Я вернулась через два года, за несколько недель до окончания войны, в сопровождении мужа – майора Василия Михайловича Мамонтова и 23-летнего австрийца Франца, недавнего солдата немецких войск, перебежавшего на сторону Красной Армии.

Дверь нам открыл папа. Он не дрогнул при виде нашей компании. Зато я внутренне содрогнулась, увидев, как плохо он выглядит, как измучен.

До сих пор не понимаю, как родителям удалось всех нас разместить на ночёвку в маленькой квартирке, тем более, что у нас ещё жила милая старушка тётя Лина, мать маминой кухни Жени. Но тогда я о таких вещах не задумывалась.

На другой день Василий отвёл Франца в 7-й отдел, откуда его наверно направили в Антифашистскую школу. Василий вернулся на фронт.

---

<sup>86</sup> **Дмитрий Захарович Мануильский** (1883-1959) – выдающийся советский государственный деятель, в 1928-43 гг. секретарь Президиума Исполкома Коминтерна, в 1942-44 гг. работал в ЦК ВКП(б) и в Главном политическом управлении Красной Армии. В.Ф

Недовольный моим замужеством, папа всё же принял нас со своей обычной сердечностью. Впрочем, вскоре он полюбил Василия и стал говорить: «Хороший гойчик».

### Прощание

В июне 1945-го года у нас родилась дочь Оля, та самая, что сегодня, 23-го июня 2005-го года, когда я пишу эти строки, через несколько часов приедет к нам в Фульду из Франкфурта, где живет уже 15 лет...

Она талантливый искусствовед.

Но я снова непростительно забежала вперёд.

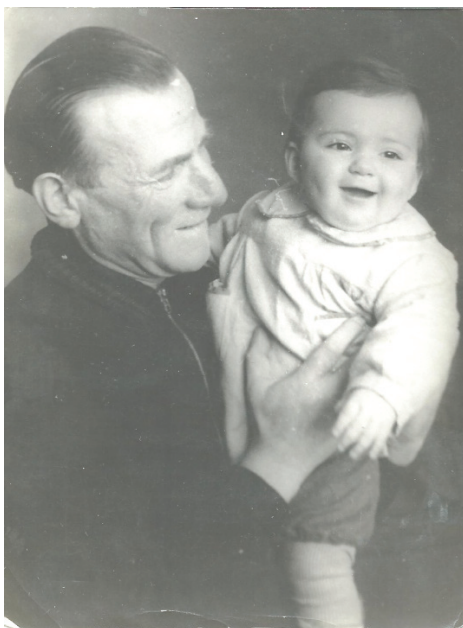
Ведь тогда, летом 1945-го года, это был просто маленький и очень хорошенький ребёнок, которого папа обожал.

– Красавица, богиня, ангел! – то и дело повторял он.

Как он заботился о нас!

Где-то он отыскал для Оли модного тогда в столице детского врача Виленкина. Виленкин, человек необыкновенно приткий, был и правда, молодец. Главное, он снабжал меня рецептами и записками к разным аптекарям, что давало мне возможность покупать для ребёнка дефицитный тогда сироп шиповника и рыбий жир. А за морковью и антоновскими яблоками я, само собой, бегала на рынок.

Ребенок поправлялся и розовел на глазах.



А.С. Тарханов с внучкой Олей. 1945 г.

– Молодец, Сонька, хорошо ведёт маленькую! – сказал папа.

Учитывая, что папа прежде всегда безжалостно отмечал мою хозяйственную неполноценность, мне его похвала была особенно дорога.

Всё же над некоторыми рекомендациями Виленкина отец посмеивался. Он считал их своего рода кокетством с целью, как говорят французы, «épater les bourgeois», т.е. «поразить воображение обывателей» – родителей маленьких пациентов (теперь сказали бы: «считал своего рода пиаром»).

Доктор велел мне, например, протирать в прикорм ребёнка (само собой, разумеется, овощной) печёнку налима, как особенно полезную и питательную. Папа смеялся:

– Вроде бы раньше выкармливали младенцев и без печёнки налима! Это у Чехова – налим, а нам он зачем?

Налима я покупала на рынке, печёнку, перед тем, как протереть, кипятила, как велел доктор, ровно две минуты. А папа, посмеиваясь, тем не менее, всякий раз с удовольствием съедал оставшуюся рыбу.

Радовался он и тому, что я усердно выгуливала ребёнка на Чистых Прудах. Когда нельзя было выйти на улицу, я ставила утеплённую одеялом оцинкованную ванночку (поначалу у дочки не было даже кровати) у раскрытого окна, и так ребёнок у меня «гулял», пока я готовила ему обед (с печёнкой налима!).

К сожалению, по вечерам сквозь это раскрытое окно неизменно доносился с улицы звук тяжёлого астматического кашля, – это папа возвращался домой с работы.

Спустя несколько минут он уже входил в квартиру – у администрации нашего министерского дома он выхлопотал себе исключительное право пользоваться служебным лифтом и подниматься на этом лифте на пятый этаж. (Остальным жильцам, как известно, это запрещалось – на 5-й и 6-й этажи они поднимались по крутой лестнице с чёрного хода).

Как тяжело давался отцу каждый шаг, каждый новый день...

Горячо любимая внучка скрашивала ему жизнь. «Моя зацепочка», – говорил он о ней.

В июне 1946-го года, когда Оле было чуть больше 11-ти месяцев, за нами приехал папа Вася и забрал нас собой в Берлин, где он работал в Бюро информации СВАГ, своего рода местном ТАСС'е.



1946 г.

Для папы наш отъезд был большим горем.

Никогда не забуду трагической фигуры отца на перроне Белорусского вокзала.

Мы уже были в купе, и я показала ему смеющуюся внучку в окно.

Я не знала, что вижу его в последний раз.

Папа просил меня взять маму с собой в Берлин, очевидно, он считал, что для них обоих так будет лучше. По моей просьбе Василий вроде бы

предпринял соответствующие шаги, но в то время оформить мать для выезда за границу уже не разрешалось.

Мы переписывались.

В Берлине нам удалось найти хорошую няню – Frau Sophie Lobert (я надеюсь, что Оля её помнит), и я устроилась на работу референтом-переводчиком (вечный референт!) в Бюро информации сначала на полставки, затем, когда Оля немного подросла и привыкла к новой среде (впрочем, это произошло очень быстро!), – на полную ставку.

Всю свою зарплату в русских рублях (другая часть начислялась сотрудникам СВАГ в марках) я посылала родителям в Москву. Я думала, что эти деньги – плюс мои ежемесячные продуктовые посылки – как-то решат проблемы. Но увы...

Всю свою зарплату, да и деньги, которые он брал взаймы (о чём я узнала позже), он тратил на оплату такси – ездить по делам, служебным делам, на метро он уже не мог.

Мама давала уроки французского, но уроков было мало, и денег, соответственно, тоже.

В декабре я должна была приехать в Москву на экзаменационную сессию в университете. Но уже в ноябре пришла весть, что папу положили в больницу. После соответствующего лечения он должен был поехать в подмосковный санаторий.

Поначалу казалось, что этот план успешно осуществляется – папа и впрямь перебрался (точнее, был переведён) из больницы в санаторий. Но вскоре его состояние обострилось. Пришлось вернуться в больницу.

10-го декабря он умер.

За несколько дней до этого друг нашей семьи Ольга Сергеевна Флорианская послала мне телеграмму: «Состояние отца ухудшилось. Выезжай немедленно!».

Телеграмма опоздала.

Но и в принципе выехать немедленно из Берлина тех лет было невозможно: самолёты курсировали лишь каждые 2-3 дня, да ещё предварительно надо было оформить пропуск на выезд.

Я опоздала на похороны отца.

Позднее Ольга Сергеевна, видя, как я мучаюсь ещё и этим, скажет:

– Зато ты унесла в своём сердце живой образ отца...

Захоронение урны – вот что выпало на мою долю. Мне помогли раздобыть место (и это было нелегко) в колумбарии на Немецком кладбище.

Потомки, помните: направо от главного входа мимо могилы доктора Гааза, 9-я (широкая) ячейка внизу – там хранятся урны с прахом моих родителей. Они защищены мраморной плитой, на которой написаны их имена. Великое спасибо Наташеньке Баевской, она – единственная – навещает их! А соответствующее свидетельство хранится у Витюши.

Тогда, в декабре 1946-го года, я пришла на Немецкое кладбище впервые. Прошла через пропускную будку. В будке висела кладбищенская стенгазета с лозунгом: «Выполним и перевыполним план!»...

Но перед тем, как приступить к захоронению урны, мне пришлось зайти в поликлинику ЦКБУ (не помню, как это сокращение расшифровывается – много тогда было идиотских аббревиатур<sup>87</sup>), к доктору Лебедеву, папиному лечащему

---

<sup>87</sup> ЦКБУ – Центральная клиническая больница управления. В.Ф.



врачу. Свидетельство о смерти, выданное маме, вызвало недоумение какой-то инстанции: «Эмфизема лёгкого не может быть причиной смерти».

Короче, велели: «уточнить летальный диагноз».

Я зашла в кабинет доктора Лебедева и увидела совершенно растерянного, глубоко подавленного человека.

– Это я виноват в смерти твоего отца!

Доктор рассказал: у отца не было сил тянуть директорскую лямку. Главное, он не мог – без служебной машины, которую у него отобрали в первые же дни войны – совершать необходимые повседневные рейсы, не только на Калужскую, где заседало профсоюзное начальство, но и в свою Контору на улицу Веснина. Особенно на морозе его донимали приступы астматического кашля.

И он беспрерывно нанимал такси во все концы, на что уходила почти вся его зарплата ответственного работника.

Но даже такси ещё не решало проблемы. На частых совещаниях у калужского начальства, когда папа с мороза приходил в жарко натопленную комнату, вдобавок ещё и основательно прокуренную, его всякий раз одолевали те же тяжёлые приступы кашля. Ещё одна опасность подстерегала его: откашлявшись и измучившись, он, случалось, в этом жарком чаду засыпал. Вот это и угнетало его больше всего. Заснуть на служебном совещании у начальства! Ясно: решат, что он инвалид. Не работник. Выкинут за борт.

Лебедев:

– Твой отец постоянно требовал, чтобы я выписывал ему амфетамин. Этот препарат придаёт человеку силы, но только поначалу. Если принимать его подолгу, он, напротив, изнуряет пациента, даже может убить...

Именно это произошло с Аркадием. Я ведь отказывал ему в рецептах, предостерегал против приёма этого лекарства. Но твой отец приходил ко мне снова и снова, кричал на меня, говорил, что без работы всё равно жить не сможет, просил рецепт со слезами на глазах.

Я сдавался. И вот результат... Я не имел права этого делать. Я убийца!.. Можешь меня ненавидеть...

Что же теперь было делать...

Я заплатила все папины долги. По моей просьбе архитектор Раухваргер (профорг АПК) составил список всех отцовских кредиторов. Их было много. О долгах я, конечно, догадывалась и привезла с собой пишущую машинку, отрезки, изначально предназначавшиеся родителям, что-то ещё. Всё это пришлось продать. У меня ведь и тогда не было сбережений: вся зарплата в рублях (та же сумма выплачивалась сотрудникам СВАГ в Берлине в марках) направлялась по моему заявлению на родительский счёт в Москве. Но, видно, и этих денег отцу не хватило. Такси...

У него ведь, как я уже написала, в первые же дни войны отобрали служебную машину. Он неустанно ходатайствовал перед калужским начальством о её возвращении – возможно, она спасла бы ему жизнь. Но в силу жестокой иронии судьбы, новую машину подали к подъезду Архитектурно-проектной конторы в день его смерти.

Я думаю, с того момента, когда его снова доставили в больницу из санатория, папа понимал, что умирает.

Узнав, что его состояние резко ухудшилось, Зиночка выехала в Москву. Она рассказывала мне, что встреча в больнице прошла спокойно, и простились они с папой тоже спокойно. Но выходя из палаты, она в дверях обернулась

и поймала взгляд, полный отчаяния и боли: «Я тебя больше никогда не увижу», – прочитала она в этом взгляде.

– Как будет жить семья... Как будет жить семья... – неустанно повторял он. Эти слова я слышала и раньше, ещё до моего отъезда в Берлин. Угроза потери работы из-за болезни была для него страшнее смерти.

Я успокаивала его:

– Папа, я буду работать, буду помогать. Не беспокойся!

– Доня, я не привык быть дармоедом!

– Как тебе не стыдно! Это же естественно, что дочь будет помогать родителям.

– А я, значит, в статусе инвалида, буду сидеть на печке...

– Могут ведь быть разные формы работы, папа! Может быть, надо подумать о какой-нибудь редакторской работе?

(Я тогда сама только что ступила на эту стезю).

– Знаешь что, доня. Я ведь организатор, строитель, созидатель, – не побоюсь громкого слова. Сидеть за письменным столом и играть в бирюльки словесные, – нет уж, увольте! Тогда уже лучше и не жить!

У него была мечта: построить в Крыму по своему плану и замыслу туберкулёзный санаторий, стать его директором и организовать там лечение и отдых для больных. Скольких людей он бы спас! Да и сам бы окреп в благотворном климате...

Но нет, не дано было этой мечте осуществиться. Вместо этого его травили за несуществующую вину, таскали на допросы.

Его письма к маме, записки, которые он писал из больницы, полны нежности, трогательной заботы о ней. А ведь их отношения в браке складывались непросто, гармонии между ними не было. Но перед смертью он всё это отринул, и осталась лишь забота о ней, и великая жалость.

Щадя её хрупкую нервную систему, он не допускал её к себе в самые последние минуты, и она в страхе и отчаянии сидела у дверей палаты.

Он умер на руках у своей сестры, моей тёти Нюси.

Мне рассказывали, что на смертном одре, нет, уже в гробу, – он лежал с порозовевшим лицом (очевидно, под влиянием тонизирующих средств, которые ему впрыскивали для поддержания сердечной деятельности) и казался совсем молодым. Ещё кто-то другой, не мама, рассказал мне, что с кем-то из наших пожилых родственников (с тётёй Маней? с тётёй Соней? – обе они были папиными двоюродными сёстрами) случилась истерика. Женщина кричала:

– Аркадий жив! Остановите похороны! Мы хороним живого!

Это было почти что правдой.

Папе было всего пятьдесят два года. Как в момент смерти, и его матери – моей бабушке Софье Осиповне.

Мои дети и внуки ничего не знают о нём, как и я почти ничего не знаю о моей бабушке.

Для этого я и написала эти страницы, – чтобы хоть как-то сберечь его память.

14 июня – 23 октября 2005 г.  
г. Фюльда.

## Послесловие

Так уж повелось, что я всякий раз пишу послесловие к моим заметкам.

Некоторые мысли и впрямь приходят «после»... Речь пойдет об этой загадочной фамилии «Ёсельсон».

В процессе моих непрекращающихся поисков наилучших методов преподавания русского языка и соответственно определения основного необходимого словарного запаса я установила: **первый** частотный словарь русского языка составил и издал в 1953-м году американский профессор Гарри Иоссельсон (Harry Josselson “The Russian Word Count”, Detroit, Wayne University Press, 1953).

Стремясь облегчить американским студентам чтение русской художественной литературы, учёный у себя в Детройте произвёл статистический анализ множества текстов – с целью выявления наиболее употребительных слов и словосочетаний (объём выборок – 1 миллион, объём словника – 1700 слов).

В энциклопедии «Русский язык» фамилия «Josselson» транскрибируется как «Иоссельсон». (А не вернее ли по-русски написать «Ёссельсон»?).

Фамилии с окончанием «-сон» (от немецкого «Sohn», т.е. «сын») были широко распространены среди ашкеназийских евреев и, видимо, «пришли» в Россию из германоязычного пространства через Польшу.

А «Josse» – это краткая форма имени «Joseph» (Josef), т.е. Josselson означает: «Сын Иосифа».

«Josse» – свидетельствует далее изданный в Германии Philo-Lexikon, – распространённое имя (а порой и обозначение) учителей Талмуда.

Можно предположить, что фамилия «Josselson» поначалу передавалась в России, как «Ёссельсон». Но вскоре и точки над «ё» (особенно нелепые в заглавной букве), и вторая буква «с» выпали из написания, и получилось «Есельсон».

Разумеется, это только гипотеза, но, как мне кажется, правдоподобная.

Впрочем, возможно всё это давно известно ученым-лингвистам, и я лишь пытаюсь заново изобрести велосипед.

Интересно, что сказал бы о моих «раскопках» папа. «Халоймес, доня, халоймес»?..

Фульда, 1.12.2005 г.

## Записки младшего лейтенанта<sup>88</sup>

Полевая почта 92876А

### Архивариус

«Настоящим приказываю Вам убыть в г. Торопец с последующим проследованием в распоряжение воинской части генерала Дребеднёва на Калининском фронте...», – такое предписание я получила в начале 1943-го года от начальника Главного политического управления Красной Армии.

Но сначала была осень 1942-го года.

Был конец октября.

Я шла по Чистопрудному бульвару вверх от Мясницкой к Покровке.

Здесь был в разгаре листопад. С деревьев осыпалась блестящая золотая листва.

Внезапно налетел шквальный ветер. Он подхватил золотые листья, закружил их вокруг меня в бешеном хороводе.

Ветер срывал с веток остаточную листву, взметал опавшие на землю россыпи.

Золотое облако, ссыпаясь по краям то в пруд, то на трамвайные рельсы, тянувшиеся за оградой, стремительно несло над бульваром.

И вдруг разом всё стихло. Взбаламученные листья, шурша и шепчась, ложились на землю.

Я шла вдоль пруда сквозь это золотое буйство. И в моей душе тоже вдруг улеглась смута. Всё было просто – пришло решение, ясное и простое: «уйду на фронт».

Мне было 19 лет.

Незабываемая золотая метель...

Как известно, 22-го июня 1941-го года на Советский Союз напала армия гитлеровской Германии, застав врасплох пограничников, войсковых командиров (тех, кто уцелел после сталинских репрессий), да и само руководство страны.

Гитлеровцы неудержимо продвигались вперёд и были остановлены лишь у самой Москвы осенью 1941-го года.

С тех пор они совершали прорывы, а то и крупные наступления в разных районах страны, но на участке Калининского фронта, к которому была приписана загадочная часть генерала Дребеднёва, в ту пору (т.е. уже в феврале 1943-го года, когда я, наконец, добилась отправки на фронт) шла позиционная война.

До получения приказа «убыть в город Торопец» я более полугода проработала в VII-м отделе Политуправления Красной Армии, который ведал пропагандой «среди войск и населения противника».

Моя должность носила архаически-торжественное название: «архивариус».

Я должна была обрабатывать трофейные документы, которые приносили в мою обитую железом комнатку в огромных мешках (их свозили сюда со всех фронтов). Наиболее важные из этих документов надо было переводить. Я должна была также регулярно составлять обзоры писем немецких солдат для анализа настроений в гитлеровских частях. Эти письма (речь идёт о неотправленных письмах самих солдат, а также о хранившихся у них письмах

---

<sup>88</sup> Войну С.А. Тарханова закончила в звании лейтенанта, а в 1965 г. ей присвоена звание старшего лейтенанта. В.Ф.

их родных и невест), как правило, вместе с другими личными документами, отбирались у пленных. Кроме того, специальные трофейные команды в советских войсках подбирали бумаги убитых и раненных солдат прямо на поле боя.

Поначалу мне было стыдно читать чужие письма. Но потом я привыкла: рутина.

Пропаганда, осуществляемая сетью 7-х отделов и отделений, с помощью листовок, радиопередач и других средств, ставила себе целью разъяснять немецким солдатам преступный характер и безнадёжность развязанной Гитлером войны. Отсюда – призыв: переходить на сторону Красной Армии и сдаваться в плен<sup>89</sup>.

Пропагандистский ассортимент отдела, стало быть, был мне знаком. Я часто переводила на русский язык – для начальства – листовки немецких писателей-эмигрантов Фридриха Вольфа и Эриха Вайнерта, а стихи последнего, по просьбе начальства, также обычно переводила в стихах.

### Калининский фронт

В конце 1942-го года я подала этому самому начальству заявление с просьбой послать меня на фронт. Эта первая попытка успеха не имела: мне отказали – «сиди, мол, в своём архиве и не рыпайся».

Но я не унималась, и вскоре мне стал деятельно помогать в оформлении моей фронтовой судьбы полковник Брагинский, заместитель начальника VII-го отдела<sup>90</sup>.

Как-то раз он по ошибке накричал на меня, мило извинился – и мы подружились.

Перед моим отъездом на фронт он подарил мне книжечку стихов Некрасова с таким (некрасовским) напутствием:

Иди и гибни за свободу!  
Умрёшь не даром, дело прочно,  
Когда под ним струится кровь!<sup>91</sup>

Он написал эти слова на обложке томика.

Папа прочитал это и содрогнулся.

Но, разумеется, полковник Брагинский отнюдь не желал мне смерти. Напротив, он проявил обо мне поистине отеческую заботу, пристроив меня

---

<sup>89</sup> Подборка советских агитационных листовок времён Великой Отечественной войны, предназначенных для деморализации немецких солдат, составленная сотрудниками 7-го отдела Главного политического управления РККА, приведена на сайте: <http://little-histories.org/2015/05/31/%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0/#prettyPhoto>. В.Ф.

<sup>90</sup> **Брагинский** руководил немецким отделом VII Отдела Главного политического управления РККА. В его работе принимали участие немецкие коммунисты-эмигранты, в том числе и будущие руководители ГДР Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт. Среди немецких военнопленных – подопечных Брагинского были генерал-фельдмаршал Паулюс, командующий германскими войсками в Сталинграде, и будущий Министр обороны ГДР генерал-полковник Хайнц Кесслер. В.Ф.

<sup>91</sup> У Н.А. Некрасова («Поэт и гражданин») эти строки звучат так (В.Ф.):

Иди в огонь за честь отчизны,  
За убеждение, за любовь...  
Иди и гибни безупречно.  
Умрёшь не даром: дело прочно,  
Когда под ним струится кровь...



на предмет «убытия» на фронт к двум молодым людям, тоже следовавшим в ту же самую часть генерала Дребеднёва.

Только потом, набравшись горького опыта, я оценила эту заботу по достоинству, – ведь даже «убыть» и «проследовать» на фронт было нелёгким делом.

Старший лейтенант Володя Шейнцвит, мой ровесник (нам обоим было по 19 лет), в котором я узнала мальчика из той же московской Немецкой школы, где и мне довелось учиться, сопровождал к Дребеднёву бывшего немецкого солдата, перебежчика Ханса Циппеля. Тот только что окончил Антифашистскую школу, учреждённую 7-м отделом под Москвой. Этот новоиспечённый антифашист должен был стать на Калининском фронте уполномоченным Национального Комитета «Свободная Германия» (политический и организационный центр немецких антифашистов, созданный в 1943-м году на территории СССР. В него входили немецкие писатели-эмигранты, а также офицеры и солдаты из числа немецких военнопленных).

В АХО (Административно-хозяйственном отделе) Главного политического управления на Гоголевском бульваре не нашлось для меня женского обмундирования. Мне выдали мужской ватник, мужские ватные штаны, мужское нижнее бельё – кальсоны и нательную рубашку, кирзовые сапоги 43-го размера и две пары портянок. Да ещё тёплую шапку-ушанку.

Моих спутников мой наряд не смутил. Они вообще встретили меня хорошо, и на протяжении всего нашего пути – а мы добирались к Дребеднёву сначала поездом, потом на попутках, а кое-где и пешком – мы втроём всё время смеялись, шутили и даже поддразнивали друг друга.

Словно мы ехали не погибать за Свободу, а нежиться на берегу Чёрного моря.

Я ушла на фронт в феврале 1943-го года, т.е. спустя полтора гола после начала войны, и не видела ужасов отступления русских войск под натиском гитлеровцев, трагедии гибели десятков тысяч людей.

Когда мы прибыли «во фронт» (эти два слова обозначали максимальное удаление от передовой – туда ехали «на фронт») – так называлась резиденция штаба Политуправления Калининского фронта, – здешние машинистки, связистки и прочий фронтовой бомонд с брезгливой жалостью оглядывали нелепое существо в ватнике и ватных штанах, в кирзовых сапогах номер сорок три.

Сами эти красотки щеголяли в сшитых по мерке шинелях из первосортного английского сукна и – также сшитых по мерке – хромовых сапожках.

Впрочем, всё это моего настроения не омрачило.

Володя сдал Циппеля фронтовому начальству, и дальнейший жизненный путь этого представителя Национального Комитета «Свободная Германия» мне неизвестен.

Он же – Володя – легко уговорил дребеднёвский отдел кадров направить меня переводчиком в 7-е отделение 4-й Ударной Армии, где он и сам служил.

Хоть вначале для меня было намечено назначение в 43-ю армию, на смену раненной переводчице Гене Коссой.

Однако оказалось, что Геня хотела непременно вернуться в «свою» армию, о чём не раз писала из госпиталя помощникам Дребеднёва. Так что всё решилось просто.

Геня была ранена во время рупорной передачи, каких потом и я провела немало, но меня бог миловал. Обычно рупорист через мегафон обращался к солдатам противника из окопа, но иногда вылезали и на нейтральную полосу, как в данном случае поступила отважная Геня.

Цель была одна – призвать немецких солдат переходить на сторону Красной Армии, сдаваться в плен.

За свою отвагу Геня едва не расплатилась жизнью. Раненная, она осталась лежать на нейтральной полосе, и к ней уже ползли по снегу немецкие солдаты, чтобы её захватить. Её спас капитан Фенстер: он ринулся на нейтральную полосу и вынес оттуда Геню, но при этом сам получил тяжёлое ранение. За спасение Гени Фенстер был награждён орденом.

Впоследствии он однажды приехал к нам в отделение по какому-то делу. Я сказала ему, что наслышана о его подвиге, но он неожиданно рассвирепел и крикнул, что вся эта история была идиотская, и вообще женщинам на войне не место.

– Вот и Вы зря сюда полезли! – крикнул он мне, – от меня похвалы не ждите!

Бедняга! И в Библиотечном институте, где он учился, и потом в армии, среди семиотдельцев, его – заглазно, да и в лицо, иначе, как «дас фенстер» (по-немецки: «окно») не называли...

Меня представили Дребеднёву, и генерал милостиво отпустил меня в 4-ю Ударную армию. Я была этим назначением довольна: как-никак мы с Володей уже подружились в пути. Кроме того, мне импонировали его восторженные рассказы о начальнике тамошнего 7-го отделения – подполковнике Немчинове: в этих рассказах подполковник вырастал почти в некую легендарную фигуру.

Коллеги встретили меня хорошо. Правда, сам подполковник Немчинов был лишь сдержанно-приветлив: он не скрыл от меня, что в принципе всегда возражал против присутствия в отделении женщин.

Зато не скупилась на улыбки остальные офицеры: высокий широкоплечий хохол, инструктор отделения Василий Ратушняк, звукотехник Георгий Мартынюк, тоже хохол, но совсем другой, более деликатной стати. Диктор-переводчик МГУ<sup>92</sup> – маленький чернявый Рафаил Цехановский... Все они наперебой галантно предлагали мне уступить свои топчаны – на эту, а, может, и на последующие ночи.

В «оборонке» семиотдельцы шикарно вкушали ночной сон на деревянных топчанах, водружённых на козлы.

– Сегодня уже поздно, – сказал Немчинов, – а завтра сколотим Вам персональный топчан.

Я отказалась от любезных предложений новых коллег, свернувшись калачиком на хозяйском сундуке, предварительно завесив плащ-палаткой выделенный мне угол избы.

Утром я удивилась нефронтовой атмосфере фронта. Мы «стояли» (т.е. располагались) в нескольких уцелевших крестьянских домах в обыкновенной тверской деревне. В этих домах жили их хозяйки и, кажется, были довольны постоем. Все причитавшиеся нам продукты, кроме, может быть, сахара и банок американской ветчины из офицерского пайка (эти банки именовались не иначе как «рузвельт»), мы сдавали нашей хозяйке, а уж её дело было накормить нас вкусными щами или борщом. В то голодное время это, конечно, устраивало хозяйку. Да и мы были довольны – повара по штату нам поначалу не полагалось.

---

<sup>92</sup> Это не Московский государственный университет, а «Мощная говорящая установка» – радиопередатчик на колёсах, через который велось вещание на врага. С.Т.

Старший инструктор майор Егоров строго следил за тем, чтобы мы после каждого обеда восторженно благодарили нашу стряпуху.

– Похвала, понимаете, – она стимулирует человека! – наставлял он нас, неразумных.

Естественно, я была разочарована таким деревенским житьём-бытьём. Никакой фронтовой романтики.

Само собой, я не была так глупа, чтобы возомнить себя некоей Жанной д'Арк, призванной изгнать из страны захватчиков. Мне ведь не надо было освобождать из орлеанского пленения короля, – товарищ Сталин спокойно сидел в своей подземной крепости под станцией метро Кировская, и в моей помощи не нуждался.

Однако мне было трудно изгнать из моих инфантильных мечтаний образ Девы-Воительницы: Жанна д'Арк верхом на коне!

Но Жанна д'Арк верхом на топчане...

Всё же я с благодарностью приняла этот топчан, когда наши бойцы на другой день вместе с козлами водрузили его в моём новоявленном будуаре за плащ-палаткой. Хозяйский сундук ночью порядком намял мне бока. Хотя я была готова и дальше довольствоваться этим ложем. Таковы были мои спартанские установки.

Итак, топчан сколотили для меня наши бойцы. Это надо объяснить.

Дело в том, что при отделении был Кентавр – Мощная говорящая установка, уже упоминавшаяся в сноске.

Кентавр состоял из двух частей: в большом крытом фургоне помещался радиопередатчик, предназначенный, прежде всего, для «живого» вещания на противника. Обычно его вёл бесстрашный Цехановский, по штату приписанный к Кентавру. В этом же штате состоял и Мартынюк, отвечавший за звукотехнику. Кажется, он даже считался командиром Кентавра. Постоянным водителем Кентавра был ещё один хохол, красноармеец Лобода. А автотехникой ведал долговязый латыш, красноармеец Круминыш. Он же временами сменял Лободу за рулём МГУ.

Лобода и Круминыш, а также удалой водитель семиотдельской полуторки, неизменный кумир всех деревенских девушек Саша Третьяков, – это и были «наши ребята».

Был ещё один человек, не принадлежащий к комсоставу – «старик» Пахомыч (думается, ему тогда было лет 45-50, а, может, и того меньше). Он был, по сути, «директор» нашей походной типографии, выпускавшей листовки, которые мы сами писали, стараясь использовать в них свежий оперативный материал.

А ещё Пахомыч был главным поваром команды «наших бойцов».

Была в отделении ещё одна загадочная личность – не офицер и даже не боец, вообще не военнотружущая. Стыдно сказать, вольнонаёмная... Это, конечно же, была я.

Но армейский отдел кадров решил эту проблему просто: он издал приказ – «красноармейцу Тархановой присвоить звание младшего лейтенанта административной службы».

Мне это показалось очень обидным: Жанна д'Арк – и на тебе – «административная служба»...

В отделе кадров вместе с означенным выше приказом мне вручили офицерские погоны (к счастью, у них не нашлось «административных», и мне выдали обычные, строевые) и маленький трофейный немецкий пистолет,

из которого я за всю войну, слава Богу, не произвела ни одного выстрела (кроме положенных тренировочных).



В отделе снабжения мне, наконец, дали женскую шинель, правда, такую плохонькую, что, думается, долго искали, пока нашли, а также гимнастёрку с портупеей и юбку плюс дополнительную пару кальсон, чтобы, как мне сказали, «не мёрзла по женской части».

«Наши бойцы» во главе с Пахомычем, состоявшие при Кентавре, типографии и третьяковской полуторке, занимали все вместе один просторный дом.

Цехановский и Мартынюк располагались в маленьком домике по соседству.

Трудно представить себе двух людей, более непохожих друг на друга, чем эти двое – маленький, быстрый, черноволосый семит Цехановский и Мартынюк – высокий степенный блондин с резным овалом лица, с нежным румянцем на щеках.

Но, кажется, они отлично ладили друг с другом.

В самом большом доме жили: начальник отделения Немчинов (отдельный «кабинет»), старший инструктор Егоров, инструктор отделения Ратушняк, инструктор-литератор Шейнцвит и – в отдельном углу в общей комнате переводчик Тарханова.

В большой комнате стояли рабочие столы, на них – пишущие машинки – русская и немецкая – и папки с протоколами допросов военнопленных.

По вечерам майор Егоров подолгу задерживал в большой комнате подчинённых и рассказывал им разные байки.

Единственный из всех офицеров, он встретил моё появление если не враждебно, то, во всяком случае, с нескрываемой иронией – мол, пожаловала к нам на войну столичная жидовочка...

Подолгу задерживая по вечерам подчинённых в общей комнате, он рассказывал одну за другой жуткие истории, явно предназначенные для жидовочки за плащ-палаткой. Одну до сих пор не могу забыть – как баба рубила топором убитому немцу ноги. Ей, понятно, нужны были его сапоги – по тем временам ценная и остродефицитная вещь. Но ей никак не удавалось стащить их с окостеневших ног мертвеца, а бросать было жалко. И баба рубила, рубила...

Егоров аж причмокивал от удовольствия.

Небось жидовочка за плащ-палаткой от страха уже в обмороке...

Впрочем, всего через несколько дней столичной барышне пришлось пережить более серьёзное испытание.

### «Узорчатая ограда»

Молодых семиотдельцев – а молодые были почти все – вызвали на комсомольское собрание в политотдел.

Проехать в расположение политотдела было невозможно. Снега намело столько, что обыкновенный большак превратился чуть ли не в тропинку, и Саша Третьяков не мог нас отвезти. Пройти предстояло километров восемь. Мы вышли загодя: Ратушняк, Цехановский, Шейнцвит, Мартынюк и я. Загодя, но уже в сумерках. Шли быстрым шагом, весело, перебрасываясь шутками и поддразнивая друг друга.

Нам надо было спешить. Генерал «сверху», приехавший в политотдел с целью прочитать комсомольцам доклад о Дне Красной Армии, не потерпел бы опоздания.

Дорогу окаймляли высокие сугробы. Слева вдруг потянулась какая-то странная, плотная, узорчатая ограда. Я стала присматриваться к ней близорукими глазами и с ужасом увидела вдруг, что из неё то тут, то там торчат... сапоги. Припорошенные снегом, но явно – сапоги. Я подбежала к «ограде»: она была сложена из наваленных друг на друга солдатских трупов. А если – не трупов? Может, кто-то ещё жив? Я стала стряхивать снег с этих тел, трогала открывшиеся под снегом лица. Камень...

Мои спутники сердито оттащили меня от «ограды»:

– Они уже сутки здесь лежат! Если даже и был кто-то живой, сейчас его уже не воскресишь...

Я знала, что накануне одна из наших дивизий отбила у немцев крохотную деревушку. Оказывается, в этом бою полегло больше двухсот бойцов...

– Девчата из санбата вывезли раненых, несмотря на метель и заносы. А уж мертвецов взять было не под силу. Завтра, надо думать, уберут...



Мл. лейтенант Тарханова. Фото из удостоверения личности

Мы быстро зашагали дальше. Но мои спутники продолжали мне выговаривать:

– Кисейным барышням на войне делать нечего! Сидела бы дома! Ещё не то увидишь... И вообще – шагу надо прибавить! Не опоздать бы на собрание. Нас и без того в политотделе не жалуют!

– Почему – не жалуют?

– А за немецкий язык! За то, что напрямую с противником разговариваем!



– Кроме того, среди нас слишком много евреев! – насмешливо вставил Цехановский.

– Причём тут евреи? – недовольно огрызнулись остальные.

– А евреи всегда причём! – невозмутимо гнул своё Цехановский.

Еврейская тема жгла его душу, как рана. Он уже успел рассказать мне, что в довоенной Риге, откуда он был родом, организовал еврейскую самооборону. Молодые евреи защищали еврейские семьи от налётов хулиганов-антисемитов и лупцевали их так крепко, что под конец налёты почти прекратились.

Об этом Рафа, обычно такой скромный, рассказывал с гордостью...

Когда мы вошли в жарко натопленный дом политотдела, генерал уже читал свой доклад. Жестом он указал на пустой первый ряд, и мы сели. После долгого марша по морозу и пережитого потрясения меня сразу разморило в политотдельском тепле, и я заснула. Но меня тут же разбудил сердитый окрик генерала:

– Лейтенант! Спать дома будем!

Мои спутники с двух сторон зажали меня в тиски и до самого конца доклада толкали меня в бок локтями, чтобы «преступление» не повторилось.

После доклада мы скопом устремились к выходу. Стоявший в дверях генерал теперь уже добродушно, по-отечески окликнул меня:

– Ну что, ворона, не будешь больше спать на докладах?

Совсем как наш директор школы Александр Аполлонович, когда я опаздывала на урок...

Обратного пути я не запомнила. Наверно, я спала не ходу, как часто делают на войне солдаты<sup>93</sup>.

Узорчатая ограда... Из неё торчат солдатские сапоги, человеческие руки...

Эти солдаты отдали свою жизнь за крохотную деревушку, названия которой я не помню.

– Стратегического значения она не имела, просто нашему командованию не терпелось доложить в центр хотя бы о такой победе, – разъяснили мне коллеги.

Как у Галича:

«где полегла в сорок третьем пехота  
без толку, зазря...».

Совсем недавно были рассекречены официальные сведения Министерства обороны СССР о потерях советских вооруженных сил в войне 1941-1945 гг.

Согласно этим данным, безвозвратные людские потери Красной Армии в этой войне составили 11,4 миллиона человек.

Однако, по официально не признанным расчётам Института теории и истории социализма при ЦК КПСС, опубликованным доктором исторических наук Мерцаловым, потери эти в действительности измеряются цифрой в 14 миллионов человек...

Стало быть, людские потери Красной Армии в войне 1941-1945 гг. в 5 раз превышают потери гитлеровского вермахта убитыми на Восточном фронте, составившие 2,8 миллионов.

Только в битве за Берлин погибло 80 тысяч советских солдат.

3 миллиона бойцов Красной Армии пропали без вести.

Солженицын в своих рассказах о войне сурово осудил советское командование за то, что солдата не берегло.

---

<sup>93</sup> Современный читатель может поразиться: их заставили прошагать пешком 16 километров только для того, чтобы прослушать дежурный доклад о Дне Красной Армии?! Меня же это совершенно не удивляет: в советские времена политико-воспитательной работе всегда придавали первостепенное значение. В.Ф.

Генерал Эйзенхауэр, командовавший американскими оккупационными войсками в Германии, а впоследствии ставший президентом США, рассказал в своих мемуарах, что однажды, уже в конце войны, при встрече спросил у маршала Жукова:

– А как вы преодолеваете немецкие минные поля?

Советский полководец спокойно ответил:

– А вот наши солдаты идут и преодолевают.

– А как же потери? – изумился Эйзенхауэр, потрясённый этим ответом: значит, советские солдаты своими телами обезвреживают минные поля!

– А что, технику прикажете бросать? – в свою очередь изумился Жуков.

Как сказал о нём в одном из своих стихотворений Иосиф Бродский:

«Сколько он пролил крови солдатской!»

Тут я вынуждена сделать оговорку.

Во-первых, я цитировала Эйзенхауэра не по первоисточнику, а по статье русскоязычного автора в здешней русскоязычной прессе<sup>94</sup>.

Во-вторых, цитируемые слова советского полководца настолько чудовищны, что трудно поверить в реальность всего эпизода.

К сожалению, сама реальность пренебрежительного отношения к жизни солдата, изначальная готовность советского командования воевать, не считаясь с жертвами, оспариванию не подлежит.

И поэты, которых я цитировала, на этот раз по такому первоисточнику, как память, не ошибались...

«Узорчатая» ограда на занесённом снегом большаке – эта картина в феврале 1943-го года была для меня первым военным потрясением на фоне мнимого затишья в оборонке.

Сколько я потом видела солдатских трупов на пути нашего «неуклонного», как писали газеты, продвижения к цели...

Я надеюсь, что убитые были потом хотя бы захоронены, как полагается, но уверенности в этом нет.

Историки отмечали «золотоордынское» отношение советского командования к собственным солдатам – полное пренебрежение к трупам павших в боях...

## Пропаганда

Хоть мы и стояли в «оборонке», в работе отделения не было спячки.

Пример всем показывал неутомимый Немчинов. Он писал листовки, допрашивал редких «языков», которых доставлял нам разведотдел, возглавлявшийся безупречно толковым лейтенантом по фамилии Кульгав. Мы всегда располагались рядом с разведотделом, т.е. ближе всех других штабных единиц – к линии фронта, – ведь пленные были, можно сказать, нашим «хлебом».

Немчинов часто выезжал в дивизии, инструктировал тамошних «инструкторов по работе среди войск противника» – в каждой дивизии полагалось по одному.

Впрочем, за эту часть работы отвечали в первую очередь Егоров и Ратушняк. Наверно, Немчинова гнал на передовую его беспокойный темперамент: он должен был сам всё видеть, всё проверить, всё организовать.

Душой отделения был инструктор-литератор Володя Шейнцвит. Он писал листовки, составлял агитационные радиопередачи и сам часто выезжал

---

<sup>94</sup> Прочитав эту страницу, Валька сказал мне, что не раз встречал упоминание об этом в англо-американской прессе. С.Т.

на вещание на нашем Кентавре – Мощной говорящей установке. К этим выездам ревниво относился Рафа Цехановский: как-никак, по штатному расписанию это была его прерогатива.

Володя владел немецким языком, как родным: до поступления в Немецкую школу он несколько лет учился в хорошей гимназии в Швейцарии, где юристом работал его отец. И листовки, и тексты передач «на противника» Володя писал сразу по-немецки. Это несколько сужало объём моей работы: на немецкий надо было переводить лишь листовки Немчинова, а на русский – все материалы Володи – для начальства.

Я с самого начала порывалась выезжать на вещания, но мои коллеги-мужчины единодушно отказывали мне в этом, мол «женский голос не даёт устрашающего эффекта».

Разбор трофейных документов, составление обзоров писем немецких солдат (убитых, раненых или пленных) – всё это было для меня делом знакомым и привычным – полгода работы в московском 7-м отделе не прошли даром.

Там же я прочитала столько протоколов допросов военнопленных, что методология этого дела была мне ясна: для вида (потому что выяснять такие вещи было задачей разведки) мы вначале спрашивали у пленных, где стоят танки и пушки, а потом переходили к выяснению «политико-морального состояния войск противника».

Мы записывали фамилии командиров и солдат, их высказывания, особенно оригинальные. Впрочем, оригинальных было мало. Пленные догадывались о том, что нам хотелось бы услышать, и все, как один, твердили: «Hitler kaputt! Der Krieg ist Scheiße» (Гитлер капут, война – г...).

Нам вменялось в обязанность записывать всё это для последующего использования в листовках.

Увидев, что у меня остаются ресурсы времени, Немчинов дал мне два важных задания.

Во-первых, собрать всех дивизионных инструкторов и проверить их знания немецкого языка.

Инструктора прибыли в отделение.

Самым знающим из них был капитан Лернер, рижский еврей, интеллигентный человек, свободно владевший немецким языком. После войны он стал известным историком.

Он сразу расположился ко мне и доверительно рассказал, что до призыва в армию два года – по оговору – просидел в тюрьме. За это время он самостоятельно прошёл полный курс исторического факультета и, выйдя на свободу, сразу окончил институт.

Естественно, я прониклась к нему искренним уважением.

Немецкий язык он знал хорошо, можно сказать, интеллигентно.

Он сам писал и печатал оперативные листовки, но, главное – систематически вёл вещание по ОГУ – Окопной говорящей установке.

Он тут же зачитал мне две-три из этих авторских передач. Но, увы, эффект был не тот, на который он рассчитывал. Он писал длинными вычурными фразами, усложнённость которых усугубляли неизбежные стилистические огрехи.

Конечно, никто из других инструкторов не мог с ним сравниться в активном владении немецким. Но те – если вообще отваживались писать передачи – делали это просто, без затей – мол, ваше дело безнадёжное, мы вас разгромим, так что сдавайтесь в плен, пока не поздно!

У Лернера же претенциозность застилала суть того же, в сущности, сообщения. Из показаний пленных я знала, что немецкие солдаты

над его передачами смеются, чего я ему из деликатности не сказала. Не желая его обижать, я лишь посоветовала ему писать попроще и, главное, покороче.

Но он всё равно обиделся, уехал, не простившись со мной и даже спустя двадцать лет, встретив меня в редакции «Литературной газеты», смерил меня сердитым взглядом.

Своего рода антиподом Лернеру был рыжий лейтенант Шойхет, молодой харьковский сапожник. Ему, бедняге, даже не довелось окончить шуйские курсы (в Шуе обычно наскоро готовили кадры для семиотдельской работы).

Непонятно, как он попал в инструктора, хотя, похоже, армейские кадровики предпочтительно назначали на эти должности евреев, полагая, что те, зная идиш, смогут хоть как-то разобраться с немецким.

Спору нет, идиш, язык ашкеназийских евреев, сложившийся в Средние века на базе одного из верхненемецких диалектов, принадлежит к германской группе индоевропейских языков. Разумеется, это было известно армейским кадровикам. Но всё же идиш и немецкий не идентичны.

Лейтенант Шойхет отнюдь не страдал комплексом неполноценности.

А ведь он уже успел прославиться среди семиотдельской братии. Рассказывали, что не так давно, во время великолукской операции, Шойхет кричал – и по ОГУ, и в рупор – окружённым немцам: «Kommt herüber mit weißen Tuches!».

Он призывал их переходить на сторону Красной Армии с белыми платками или полотнищами в руках. И то, и другое по-немецки – Tuch. Только что множественное число от этого слова по-немецки – Tücher.

Тот же мнимый плюраль, который употребил Шойхет, на идиш означает «задница» (а это слово известно всем евреям, даже не знающим идиша).

Вот и вышло у нашего лейтенанта: – Переходите к нам с белой задницей!

То-то смеху было...

Проверив шойхетские знания немецкого языка, я отдала ему заранее заготовленную для него примерную схему допроса военнопленного, а также завалявшийся в отделении учебник немецкого языка для средней школы.

Видит Бог, я не хотела его обидеть, но он всё равно обиделся.

Так же, как Лернер.

Не везло мне с моими подопечными.

– Ничего этого мне не нужно! – крикнул Шойхет. – Прикажете ввести пленного! Увидите, как я веду допрос!

Как только ввели пленного, лейтенант впился в него взглядом:

– Нуме!?

– Оберефрейтор такой-то! – отчеканил пленный.

– Фон велхем пулк? – прогремел второй вопрос.

– Инфантерирегимент (пехотный полк) номер такой-то! – раздался незамедлительный ответ.

Казалось, допрашивающий и допрашиваемый составляют своего рода симбиоз...

– Разрешите перейти к выяснению политико-морального состояния войск противника? – уже с нескрываемым торжеством осведомился Шойхет.

Я кивнула.

И тут рыжий лейтенант выстрелил свой козырной вопрос:

– Вус шпрехен ди зольдатен дурхайнандер?

Пленный и тут не растерялся и выдал обычное:

– Hitler kaputt! Der Krieg ist Scheiße.

Что означало: «Гитлеру – крышка! Война – г...».

Победоносный взгляд Шойхета в мою сторону...

Что было делать...

Когда я доложила Немчинову о результатах проверки, он улыбнулся и понимающе закивал, словно заранее всё это так себе и представлял.

Так кого же тут, в конце концов, проверяли? Может быть – меня: умею ли я вообще работать?

А ведь я привезла с собой из Москвы прекрасную характеристику, написанную другим заместителем Бурцева<sup>95</sup>, полковником Самойловым...

### Рупористы

Второе задание Немчинова: вызвать из ближайшей дивизии десятка два бойцов и за два дня подготовить из них рупористов.

Считалось, что такое прямое обращение – простых солдат к простым солдатам через линию фронта – сможет оказать желаемое психологическое воздействие на противника. Солдаты вермахта, как известно, не спешили переходить на сторону Красной Армии и даже попросту сдаваться в плен.

Не было на нашем участке фронта и таких впечатляющих – с нашей стороны – атак, которые могли бы склонить немцев к такому решению.

Тем важнее – указывало нам командование – было бы донести до них новый приказ Сталина о введении особых льгот в системе продовольственного обеспечения перебежчиков.

Приказ был отпечатан в тысячах листовок, поступавших из Москвы. Некоторые из них сбрасывались на вражеские линии непосредственно самолётами, другие присылались нам для дальнейшего распространения. От нас они передавались разведчикам, отправлявшимся на добычу «языка». Разведчики же, понятно, тяготились этим подарком и сбрасывали как главпуровские, так и наши собственные драгоценные листовки – пачками – в ближайшее болото. Конечно, Цехановский через нашу МГУ давно «озвучил» приказ Генералиссимуса (этот дурацкий, ныне модный в России термин, как раз наилучшим образом подходил к той, описанной выше ситуации).

Но начальству этого было мало...

В назначенный день – с самого утра – в отделение прибыли 20 бойцов, в чисто выстиранных и отглаженных гимнастёрках, в начищенных до блеска сапогах, – радостные, весёлые.

Какое неожиданное счастье привалило им – вырваться, пусть на миг, из окопного ада в глубокий тыл, каким, наверно, казалась им наша стоянка...

На машинке с прыгающими во все стороны буквами я заранее распечатала для них – русскими буквами – короткий текст рупорной передачи, который они должны были выучить наизусть, чтобы затем донести его до немцев.

Тем троим из них, которые, оказывается, изучали в школе немецкий язык, текст был роздан также и в нормальном виде – латинским шрифтом. Вот он:

---

<sup>95</sup> **Михаил Иванович Бурцев** (1907-2002) – генерал-майор, создатель службы спецпропаганды в Красной Армии. В 1939-1940 гг. организовывал пропагандистскую войну против японских войск на Халхин-Голе и против финских во время войны с Финляндией. С начала и до окончания Великой Отечественной войны возглавлял отдел (с августа 1944 года – управление) спецпропаганды Главного политического управления Красной Армии, занимавшийся информационно-пропагандистской работой среди немецких войск. В.Ф.



Deutsche Soldaten!

Ihr seid eingekesselt. Eure Lage ist aussichtslos. Gebt Euch gefangen! Ihr werdet gut behandelt. Kommt freiwillig herüber!

Laut Befehl des Oberkommandierenden der Roten Armee Generalissimus Stalin, erhält jeder deutsche Soldat, der freiwillig herüberkommt, pro Tag: 60 Gramm Fleisch, 60 Gramm Butter, 60 Gramm Zucker!

Kommt herüber!

Что означало:

«Немецкие солдаты!

Вы окружены. Ваше положение безнадёжно. Сдавайтесь в плен! С вами будут хорошо обращаться. Переходите к нам добровольно!

Согласно приказу Верховного Главнокомандующего Красной Армией Генералиссимуса Сталина, каждый немецкий солдат, добровольно перешедший на нашу сторону, будет ежедневно получать 60 грамм мяса, 60 грамм масла, 60 грамм сахара!

Переходите к нам!».

Все вместе, хором, мы несколько раз прочитали этот текст. Затем его должен был прочитать вслух каждый боец. Я старалась научить моих слушателей правильно произносить немецкие слова.

В перерыве экипаж нашей МГУ накормил всех «студентов» отличным борщом, сваренным Пахомычем, да ещё хозяйка выставила им горшок пшённой каши.

Ребята мгновенно всё умяли и с новой охотой приступили к занятиям.

В разгар наших экзерсисов в комнату вошёл старший инструктор майор Егоров. Какое-то время он спокойно сидел в углу и слушал. Потом вдруг встал и сказал:

– Всё это хорошо. Но надо проверить на объекте!

Т.е. на передовой.

Лицо Егорова по обыкновению ничего не выражало, но в глазах его притаилась сатанинская усмешка:

– «Что, жидовочка, никак ты сейчас при всех струсил и откажешься!...».

Я и сама собиралась ехать с рупористами «на объект», но только завтра утром: весь сегодняшний день я хотела посвятить тренировке.

Егоров спутал мне все карты.

Но послушаться приказа – а это был приказ, хоть и сформулированный в нейтральной форме, – было нельзя.

– Велите, пожалуйста, Третьякову отвезти нас в ближайший полк! – попросила я.

Понятно, я не собиралась брать с собой весь мой хедер – взяла только двух лучших моих учеников.

Саша Третьяков быстро примчал нас «на объект». Там уже поджидал нас здешний инструктор подива<sup>96</sup> по работе среди войск противника, которому позвонил Егоров.

Он встретил нас хмуро. Ведя нас по окопу к избранной им точке, он сказал:

– Вы только не затягивайте это ваше мероприятие. У нас здесь тихо, а вы можете эту тишину разворошить. Ребятам за вас расплачиваться.

Первый солдатик, самый лучший мой ученик, пристроил рупор и начал:

– Дойче зольдатен! Ойре ляге ист аусзихтлѐс...

---

<sup>96</sup> подив — политический отдел дивизии. В.Ф.

Поначалу всё шло довольно гладко.

Но как только мой рупорист дошёл до перечисления обещанных перебежчикам щедрых норм выдачи продовольствия, значительно превышающих нормы солдатского пайка, его вдруг охватила ярость.

Дальше передача звучала примерно так:

«...про таг 60 грамм фляйш... я тебе – трам-пам-пам – такого фляйшу покажу! Я те – трам-пам-пам твой главный фляйш отрежу!..

И вдруг спохватившись, ко мне виновато, вежливо:

– Простите, барышня!..

(Не «товарищ младший лейтенант», как следовало бы по уставу, а «барышня»).

Я прошипела:

– Продолжайте передачу! Только нормально, без штук!

Солдатик продолжал:

– Ляут бефель дес генералиссимус Сталин... про таг зехциг грамм буттер унд цуккер...

И снова приступ ярости:

– Вишь, буттеру нашего ему захотелось! Да я тебе, б... такая, трам-пам-пам-пам... такого буттеру покажу, такого цуккеру, что ты своим трам-пам-трам-пам-пам-пам подавишься!

И снова ко мне виновато, ласково:

– Простите, барышня!

Безнадёжно.

Немцы открыли стрельбу.

Инструктор подива сердито сказал:

– Комедию кончать надо! Срам один!

Я отняла рупор у горе-пропагандиста и, даже не испытав умения второго ученика, велела всем тикать.

Немцы усилили огонь, явно хотели нас «накрыть».

Еле ноги унесли.

Вечером семинаристы пили чай из самовара, который умело раздул Пахомыч, и закусывали. Хлеб у них был с собой, а мы угостили их офицерским «рузвельтом».

Разомлев от благодостной передышки в окопной жизни, они запели:

Бьётся в тесной печурке огонь,  
На поленьях смола, как слеза,  
И поёт мне в землянке гармонь  
Про улыбку твою и глаза.  
Про тебя мне шептали кусты  
В белоснежных полях под Москвой.  
Я хочу, чтобы слышала ты,  
Как тоскует мой голос живой.  
Ты сейчас далеко-далеко,  
Между нами снега и снега.  
До тебя мне дойти нелегко,  
А до смерти – четыре шага...  
Пой, гармоника, вьюге назло,  
Заплутавшее счастье зови.  
Мне в холодной землянке тепло  
От твоей негасимой любви...

Слова этой песни написал в конце 1941-го года Алексей Сурков.

Как мог этот литературный функционер, многолетний руководитель Союза советских писателей, написать эту неприхотливую, но, что называется,

по-настоящему душевную песню, которую пела вся армия, пели и в тылу? Загадка.

Весной 1943-го её упоённо, самозабвенно пели солдатики в нашей тверской деревне, мои горе-рупористы.

Мой «лучший ученик», так меня опозоривший, то и дело подбегал ко мне, подливал чаю, извинялся:

– Понимаете, товарищ младший лейтенант, сердце у меня не выдержало!..

Я твёрдо решила с утра снова заняться тренировкой рупористов и затем повторить эксперимент с другими учениками.

Но уже на рассвете застрекотал полевой телефон: командир приказал вернуть всех бойцов на передовую.

И они уехали недоучившись.

Дня через два вернулся из очередной командировки Ратушняк.

Он коротко бросил мне:

– Тут заварушка небольшая была. Деревню отбили, потом отдать пришлось. Все твои рупористы в том бою погибли...

### Донос

Иногда к нам приезжали гости. Чем-то привлекало их наше отделение – может быть, необычностью работы.

Приезжал на велосипеде молодой военврач по фамилии Гутшейн. (Фамилия эта кажется мне особенно забавной сейчас, когда я живу в Германии: Gutscheine – так называются талоны на скидку при любых покупках в магазинах. Фирмы наперебой заманивают ими к себе покупателей).

На другом велосипеде приезжал другой молодой человек, кудрявый симпатичный блондин... из СМЕРШа.

СМЕРТЬ ШПИОНАМ – так назывался армейский КГБ, особый отдел, искавший врагов в рядах собственного войска. Много народу погубил он...

Но симпатичный блондин считался приятелем Володи и вроде бы приезжал к нему по дружбе. Он проникся уважением к нему в дни великолукской операции. Боевой темперамент Володи, его изобретательность в работе и смелость поразили его.

– Отчаянный ты парень! – сказал тогда смершовец Володе. – А вообще это для вашей нации не характерно...

Володя вспыхнул. Увидев это, смершовец поспешил извиниться.

– Я же это не про тебя... Я тебя, наоборот, уважаю! Но ты, небось, сам знаешь: в народе не верят, что евреи готовы сражаться, как все. «Иван воюет в окопе, Абрам торгует в Рыбкопе» – так ведь говорят<sup>97</sup>...

Глядя на этого улыбчивого молодого человека, с приятным открытым лицом, трудно было поверить, что на самом деле он – Бармалей...

Ещё приезжал к нам подполковник Фисун, близкий друг Немчинова, тоже, как и он, средних лет. Умный, интеллигентный человек.

Бывало, Немчинов и сам уезжал к нему и почти всегда брал с собой Володю. Восторженное отношение к нему юноши, конечно же, трогало нашего командира, и он ему полностью доверял.

---

<sup>97</sup> Не «в народе не верят», а антисемиты постоянно подпитывают своё юдофобство, распространяя самые фантастические измышления. Во Второй мировой войне в рядах Советской Армии принимали участие примерно 500 тысяч солдат и офицеров еврейской национальности, 27% из них ушли на фронт добровольцами. За годы войны погибло в боях и умерло от ран 200 тыс. воинов-евреев. В.Ф.

С одной из таких встреч Володя вернулся в радостном волнении. Оказывается, Немчинов, Фисун и ещё несколько офицеров из их круга обсуждали проблему террора. Немчинов сказал:

– Война кончится ещё нескоро. Но мы победим. Мы принесём нашему народу победу, и правительству придётся прислушаться к нашему голосу. Мы не допустим повторения 1937-го года! Террора больше не будет!

Остальные офицеры, все сплошь люди зрелые и в чинах, вторили ему.

Страшно подумать, что было бы, найдись среди них предатель...

Скоро у нас забрали нашего старшего инструктора. Майор Егоров, или как он сам называл себя с белорусской артикуляцией – Егору – был откомандирован в другую часть, как говорили, «на повышение».

Никто из-за этого не огорчился.

Прошло сорок два года...

В 1985-м году в стране широко отмечалось сорокалетие победы над фашистской Германией. Многие ветераны войны приехали тогда на торжества в Москву.

Приехал и Кульгав, бывший начальник разведотдела 4-й Ударной Армии. Он был теперь деканом немецкого факультета Ставропольского университета.

Нас обоих пригласили на обед к бывшим сослуживцам.

При первой же встрече он спросил меня:

– А Вы знаете, Сонечка, что я все годы войны был Вашим цензором?

– Не понимаю... Каким цензором?

И Кульгав рассказал:

Оказывается, майор Егоров перед тем, как его отозвали, успел сбежать к политотдельскому начальству с доносом.

Мол, в отделении мальчик и девочка из немецкой школы напрямую разговаривают с противником на его языке. Листовки, радиопередачи, – всё это они пишут по-немецки. И листовки наши, написанные по-русски, тоже переводят, как хотят. Никто их не проверяет. А ведь они из **немецкой** школы! Что если они передают врагу зашифрованную информацию о наших войсках?..

Донос был принят благожелательно. Кульгава назначили цензором всей продукции нашего 7-го отделения, и он, по совместительству с основной работой, исполнял эту должность до конца войны.

Хорошо ещё, что не пострадали тогда мальчик и девочка из немецкой школы.

А Егорова, видно, в награду за проявленную бдительность, откомандировали куда-то «на повышение».

### Лицом к лицу с фашистом

Всё же весть о приказе Генералиссимуса Сталина, сулившем перебежчикам завидные льготы, как видно, была услышана.

В отделение позвонил лейтенант Кульгав. Дело было летом 1943-го года.

– Посылаю вам пленного унтер-офицера! Вообще-то, он не обычный пленный, а перебежчик. Но, видно, продувная бестия, темнит что-то, врёт. Я бы его в эту самую вашу Антифашистскую школу не посылал!

Разговори его, Соня! Может, вытянешь из него правду: отчего он перебежал, и вообще...

Конвойный ввёл высокого красивого блондина лет 26-27. Типичная «белокурая бестия» – эстетический идеал грязноволосых, кривоногих, тостозадых правителей Рейха. Таких, наверное, отбирали для пресловутой программы

“Lebensborn”: многочисленным энтузиасткам-истеричкам, также отбираемым согласно строгим критериям, предлагалось родить от них высокопородистое арийское потомство...

Увидев меня, красавчик ослабился и ещё в дверях развязно заявил:

– Если бы я знал, что меня будет допрашивать такая красивая девушка, я бы ещё раньше перебежал!

Конвойный не знал немецкого, но он уловил развязную интонацию. По тому, какие взгляды он бросал на унтера, было ясно, что у него чешутся руки...

Но такие методы не входили в наш арсенал.

– Оставьте кривлянье! – сказала я. – Отвечайте на мои вопросы!

Он отвечал с показной готовностью. Он де всегда был против Гитлера и против войны. И не мог вынести презрительного отношения нацистов к славянам:

– Славяне – вовсе не низшая раса! Они европейцы.

Вот как, – выходит, он перебежал из любви к славянам. Такого ещё никто не придумывал.

– Так что же всё-таки побудило вас перейти на сторону Красной Армии?

– Я же уже сказал... Славяне... и так далее...

Настроение, говорил он, у немецких солдат скверное. Понимают, что дело плохо: война у Гитлера не заладилась. «Да только никто из них не решится перебежать, как это сделал я. Это же всё сплошь жалкое быдло. А для побега нужна смелость!».

Было ясно, что он не откроет мне истинной причины своего поступка.

– Расскажите, где и когда солдаты вашей дивизии жгли деревни, расстреливали мирных жителей. Перечислите все факты!

– Таких фактов не было! Клянусь вам, фроляйн, не было!

– Как так – не было? (У меня были точные сведения на этот счёт). В белорусском городке Энске солдаты вашей группы войск расстреляли около двухсот человек!

– Так это же были евреи! А евреи – не люди! – вырвалось у него.

Так. Вот и открылся.

Впервые в жизни я оказалась лицом к лицу с настоящим (не киношным) фашистом.

Только что услышанной сентенцией я завершила протокол допроса. От себя добавила, что направлять унтер-офицера в Антифашистскую школу, куда обычно направляли перебежчиков, было бы смешно.

Конвойный подтолкнул допрошенного к выходу. Всё же в дверях тот остановился и, вновь ослабясь, спросил:

– А с какого момента я буду получать повышенный продовольственный паёк, обещанный вашей пропагандой?

В последующих стычках на нашем участке фронта были взяты пленные, служившие в той же части, что и красавец-унтер, кто-то – даже под его началом.

– Он подонок, садист! – единодушно твердили на допросах эти пленные. – Он всегда издевался над солдатами.

(Настолько, что они обещали ему в первом же бою “eine blaue Bohne in den Rücken” – т.е. пулю в спину).

– Только поэтому он к вам перебежал! Понял, что мы не шутим...



### Судьба оберлейтенанта фон Цулега

Да, скудны были плоды наших титанических усилий. За редкими исключениями (истинный антифашистский настрой, принадлежность к семье рабочих-коммунистов), немецкие военнослужащие добровольно сдавались в плен только в исключительных ситуациях – очутившись, например, в кольце окружения.

И причиной тому была не идейная «стойкость», не фанатическая преданность Гитлеру (хотя было и это!), а панический страх перед русскими: боялись жестокости плена, Сибири...

Я до сих пор до конца не знаю, что побудило к переходу на нашу сторону оберлейтенанта фон Цулега, адъютанта фельдмаршала Шернера, командующего Прибалтийской группой немецких войск.

Фон Цулег был отпрыском старинного немецкого аристократического рода. Его отец, потомственный офицер, превыше всего ставил служение отечеству, но при том глубоко презирал Гитлера и осуждал его военные авантюры.

Так, по крайней мере, рассказывал о своих корнях оберлейтенант фон Цулег.

Цулега-отца связывала с Шернером давняя дружба. Он был против войны с Россией, но коль скоро эта война стала фактом, патриотический долг повелевал защищать Германию. И Цулег-отец отдал Шернеру в адъютанты своего сына.

Сделав упор на антигитлеровских настроениях в своей семье, Цулег, однако, не скрывал, что непосредственным толчком к его побегу через линию фронта послужил его личный конфликт, какой-то очень серьезный и опасный, с командующим Прибалтийской группы немецких войск.

Суть этого конфликта так и осталась мне неясна.

Цулег перебежал на сторону Красной Армии, видимо, в конце 1943-го года – точно сказать не могу, потому что это произошло на другом участке фронта.

Не знаю, какие сведения – полагаю, что весьма ценные – принёс советской разведке оберлейтенант. Но так или иначе советская сторона приняла его хорошо.

Он прошёл традиционный путь от всех седьмых отделений и отделов, включая московский, при Главном политическом управлении Красной Армии, к Антифашистской школе и оттуда снова на фронт, но уже в новом качестве – в роли уполномоченного Национального Комитета «Свободная Германия», в котором, как известно, объединились истинные патриоты Германии – эмигранты-антифашисты, с противниками гитлеровской войны из числа немецких военнопленных.

Именно в этом качестве, как представитель НКСГ, и был направлен к нам, в наше 7-е отделение, оберлейтенант Цулег<sup>98</sup>.

Правда, он существовал словно бы «при нас», не числясь сотрудником отделения. Он сам писал листовки и вёл вещание на противника от имени НКСГ, хотя, само собой, эта деятельность была подконтрольна политотдельскому начальству.

---

<sup>98</sup> Майор в отставке А.Г. Мосяков в статье «Памятные встречи» (сборник «Особый фронт» – М.: Военное издательство, 1986, с.152-160) упомянул: «Правильный немецкий язык (листовок) обеспечивался военным переводчиком лейтенантом С.А. Тархановой и доверенным Национального комитета «Свободная Германия» военнопленным Цулегом». В.Ф.

Жил он в доме, где стоял наш экипаж МГУ, который и возил его систематически на вещания и обстреливался в этих случаях особенно яростно.

Ребята рассказывали, что Цулег никогда страха не проявлял и не прекращал передачи.

И листовки свои он набирал сам, хотя и шрифт, и сорт бумаги со всей очевидностью выдавали нашу семиотдельскую типографию.

У нас сложились с ним вполне добрые коллегиальные отношения. Он попросил меня в «тихие» дни обучать его русскому языку. (Германистка по образованию, я, однако, всю жизнь, начиная с московской Немецкой школы, обучала кого-то русскому языку – деятельность, которая увенчалась 12-летним преподаванием, уже на старости лет, в Народном университете города Фульда. Я не включаю в этот реестр самых способных моих учениц – собственных дочек и внуков – ведь я учила их немецкому...).

Взамен я потребовала, чтобы он занялся со мной латынью, которую он знал отлично, окончив элитную немецкую гимназию. Ведь перед отъездом на фронт я успела записаться в экстернат при филфаке МГУ (Московского государственного университета), и латинский язык, естественно, входил в программу факультета.

Мы читали с Цулегом “De bello Gallico” («О галльских войнах») Юлия Цезаря – ума не приложу, где я тогда раздобыла эту книгу.

Но всё это будет потом, в 1944-м году. Помню, что 6-го июня того же года мы с Цулегом слышали по радио сообщение из Швейцарии о высадке союзнических войск в Нормандии. Я, разумеется, слушала это с радостью, а он, возможно, со смешанными чувствами.

Скоро Цулега перебросили на другой участок фронта. Какое-то время он ещё писал нам письма полевой почтой, в которых рассказывал о своей жизни. Письма неизменно заканчивались русским словом «понятно?», написанным латинским шрифтом. “Puniatno?” – спрашивал Цулег в конце каждого письма, игнорируя обычную форму прощальных приветствий.

Впрочем, вскоре письма перестали приходить...

### Мы учились в одной школе...

Но надо вернуться в 1943-й год.

Не знаю, сколько индивидуальных заданий ещё собирался дать мне подполковник Немчинов. Но тут – фронт двинулся...

Развернулась, в начале августа, Смоленская операция: войска Калининского фронта стали наносить удары по дивизиям немецкой группы «Центр». Было захвачено много пленных, и дивизионные разведотделы попросили у нас, семиотдельцев, помощи.

Меня срочно перебросили в одну из дивизий, на помощь здешнему начальнику разведотдела.

Майор Ляхов, высокий офицер, лет на 6-7 старше меня, знал немецкий язык далеко не так блестяще, как наш Кульгав, но имел, само собой, большой опыт работы. Он энергично проворачивал допросы пленных, которых всё вели и вели. Некоторых мы допрашивали с ним вместе, других – порознь.

Мы напряжённо, без перерыва, проработали с ним до самого вечера, когда ординарец, наконец, принёс нам самовар.

– Ладно, остальных добьём завтра! – сказал майор. В этой фразе не было зловещего смысла. Он просто хотел сказать, что остальных пленных мы допросим завтра.

За чаем мы разговорились. Неожиданно оказалось, что мы оба окончили – только он на 6 лет раньше – одну и ту же школу, а именно – 327-ую школу Красногвардейского района города Москвы.

От этого мы оба пришли в неописуемый восторг, сразу перешли на «ты» и стали вспоминать учителей.

– Химика помнишь, Ивана Герасимовича? Мы у него в кабинете под столами бегали!

– А Бацмана, физика? И его лейденскую банку?

– Аделину Юльевну, немку? Вот бы она сегодня порадовалась, глядя на нас, как мы с тобой активно немецкий язык применяем!

И уже дуэтом:

– А Идола помнишь? Идолище Поганое!

«Идол» – так мы прозвали нашего милого, интеллигентного учителя литературы. Он имел обыкновение с несколько излишней экспрессией цитировать былины – об Илье Муромце и другие.

«Идолище Поганое! Идолище Поганое!» то и дело темпераментно проклинал он на уроках врага русских былинных богатырей, за что, естественно, давно и уже навсегда был прозван «Идолом».

– Идол идёт! – кричали мальчишки, когда он, не дожидаясь второго звонка на урок, уже спешил в класс.

Правда, он и сам внешне больше походил на татарина или монгола, чем на былинного русского богатыря.

Было такое ощущение, словно мы с Ляховым неожиданно породнились.

В восторге от этого интермеццо Ляхов чмокнул меня в плечо (прямо в «строевой» погон, который я незаконно носила, будучи, как известно, «административной крысой») и предложил по этому случаю выпить. Я сказала, что ничего не пью, кроме чая. Ляхов тогда сам опорожнил шкалик и, развеселившись ещё больше, стал называть меня «фроляйн» (по-немецки – барышня).

– Понимаешь, фроляйн, сижу я тут один, как бирюк, и вдруг такой сюрприз!

– А почему при тебе нет переводчицы? Понятно, невозможно одному справиться с таким наплывом пленных!

Ляхов сразу помрачнел:

– Была переводчица – Ася Вайнштейн. Жена моя! Так начальники назло разлучили нас. Перевели в другую дивизию.

На глазах у него выступили слёзы.

Я устроилась на ночлег в соседнем доме, где жила машинистка. Снова выручил хозяйский сундук. Привычно свернувшись на нём калачиком, я заснула.

Проснулась рано. Шум канонады нарастал. Наскоро умывшись, выбежала на улицу.

Ляхов уже стоял у большого дома напротив, который я при моём умении смотреть и не видеть накануне даже не заметила. Ляхов показал мне на груды книг, разбросанных вокруг. Я подбежала к этим книгам, которые мокли во влажной траве. Томики русской поэзии – Бальмонт, Северянин, **Надсон**...

Надсон!.. Любимый папин поэт, кумир его юности!

Друг мой, брат мой, страдающий брат,  
Кто б ты ни был, не падай душою!

Я Надсона никогда не читала до этого. Его при советской власти не издавали, считали носителем «упаднической» поэзии.

Я схватила томик, чтобы сохранить его для папы. Спросила:

– Здесь, что, библиотека была?

– Нет, частный дом. Хозяин счёл за благо унести ноги!

– Но что будет с книгами?

– Вряд ли их вывезут. Не до книг сейчас. Думаю, пойдут на растопку...

Увидев, что книжная река «вытекает» из подвала, я очертя голову ринулась туда.

Там, на широком столе, громоздились тома – на русском, немецком, французском языках...

Вдруг я услышала над собой грозное сопение. Вскинула голову и увидела багровое лицо Ляхова, с налитыми кровью глазами. Он схватил меня за плечи...

Я отбивалась руками, локтями, кулаками. Вырвалась – и помчалась вон из подвала, – так быстро, что меня, наверно, не догнал бы ни один олимпийский бегун.

Бежала долго, сколько хватило сил.

Наконец, остановилась перевести дух.

Увидела, что к дому разведотдела уже ведут пленных. Они шли вереницей, медленно. И конвойные, и пленные с интересом наблюдали за моим спринтом.

Издалека, размахивая книжкой, что-то кричал мне Ляхов. Я медленно зашагала назад.

– Фроляйн! – кричал Ляхов. – Отбой! Чеши назад! Работать надо!

Когда я вошла в разведотдел, Ляхов сразу протянул мне томик Надсона, который я выронила в пылу драки.

Потом он спросил, насмешливо улыбаясь:

– Наверно, я должен извиниться?

Я пожалала плечами. Не ожидала я такого от мальчика из 327-й школы, мужа переводчицы Вайнштейн...

В напряжённой работе прошло несколько часов.

Внезапно в дверях вырос Саша Третьяков, наш шофёр.

– Разрешите войти, товарищ майор! Разрешите обратиться?

Ляхов кивнул.

– Подполковник Немчинов велел им – Саша пальцем показал на меня – возвращаться. Говорит: дома работы много!

Ляхов нахмурился.

– Как же так? Её ко мне прикомандировали!

Он принялся крутить ручку телефона, но тот молчал. Телефонистка не откликалась.

Ляхов махнул рукой.

– Что поделаешь... Езжай, фроляйн! За помощь – спасибо!

Мы холодно простились друг с другом. Забыты были и «немка» Аделина Юльевна, и Идолище Поганое...

Я радовалась избавлению от тягостной ситуации, да и просто – возвращению «домой».

### Володя Шейнцвит

Как только возникает у человека чувство «дома»? Чудно...

Но и дома было безрадостно: у нас забирали Немчинова. Он должен был вскоре лететь в Москву – «на повышение».

Все коллеги приуныли. Особенно горевал Володя Шейнцвит, хотя в отзыве Немчинова на повышение была и доля его «вины»: попав в Москву после великолукской операции, он на всех совещаниях в 7-ом отделе,

да и в частных беседах с тамошними начальниками, восторженно рассказывал всем о подвигах и достоинствах Валентина Иосифовича (так звали нашего начальника отделения).

Было и другое огорчение: серьёзно заболел сам Володя Шейнцвит.

У него всё время держалась субфебрильная температура<sup>99</sup>, и он слабел с каждым днём. Доктор Гутшейн неофициально, кажется, первым диагностировал заболевание – он назвал его «туберкулёзом желез».

Мы старались кормить Володю получше. Сам Гутшейн принёс ему рыбий жир – по тем временам необыкновенно дефицитное средство. Подружки нашего Дон-Жуана – Саши Третьякова собирали где-то для Володи ягоды, и яблоки тоже приносили ему все, кто мог. Но Володя не поправлялся.

Вызванный к нему военврач подтвердил неофициальный диагноз Гутшейна и предложил госпитализацию. Володя отказался.

Немчинов немедленно сообщил о случившемся полковнику Брагинскому. Он знал, что тот высоко оценил энергию, изобретательность и смелость Володи во время великолукской операции.

Не знаю, как ему это удалось, но Брагинский выхлопотал для него путёвку в подмосковный санаторий «Архангельское», где отдыхал и лечился высший комсостав.

С большим трудом подготовили отъезд, и Саша Третьяков отвёз Володю на лётную базу, откуда он вылетел в Москву.

Сразу же вслед за Володей уехал и Немчинов. На его место прибыл – в чине майора Матвей Яковлевич Маркушевич<sup>100</sup>, до войны – редактор издательства «Художественная литература».

Скромный, интеллигентный человек, несмотря на внешнюю суровость, с добрым, мягким характером, он, кажется, немало гордился тем, что до войны издал в переводе Мицкевича, знаменитого польского поэта.

Он сам процитировал нам ходившую в литературных кругах эпиграмму:

Встал из гроба Мицкевич:

«Кто мой редактор?» – Маркушевич.

Кто мой переводчик?» – Румер.

Лёг и снова умер.

Было много работы – листовки (многие я теперь писала сама), обзоры, допросы пленных. Всё, кроме вещания. Цехановский, как и Володя, отказывался брать меня с собой: «женский голос де не даёт устрашающего эффекта».

22-е октября 1943-го года. Я печатала очередную листовку, когда вдруг из своей комнаты вышел Маркушевич:

– Соня, звонил Брагинский. Он вызывает Вас в Москву. Умер Володя...

Самолет ПО-2. Москва. Похороны. Ужас...

Оказывается, только что завершилась дерзкая операция, задуманная и осуществленная полковником Брагинским<sup>101</sup>. Он возглавил отряд офицеров,

---

<sup>99</sup> **Субфебрильная температура** — повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах 37–38°. В.Ф.

<sup>100</sup> **М.Я. Маркушевич** (? – 1963), член РСДРП с 1916 г., в 1917-1918 гг. был членом Воронежской ученической организации РСДРП(б), о которой он в 1957 г. опубликовал статью ([http://94.231.19.8/482\\_part\\_2\\_ebook/files/assets/flash/pages/page0536.swf](http://94.231.19.8/482_part_2_ebook/files/assets/flash/pages/page0536.swf)). В.Ф.

<sup>101</sup> Речь идет не о Великолукской пропагандистской операции, в результате которой в плен сдались более 2500 немецких солдат и офицеров. Подробности описаны её руководителем И.С. Брагинским: «Великолукская агитоперация», в книге «Особый фронт», под общей редакцией генерал-майора в отставке М.И. Бурцева – М., Военное издательство, 1986, с. 34-45. Эта операция осуществлена в январе 1943 года, когда С. Тарханова на фронте ещё не была. Возможно, Володя Шейнцвит сопровождал её на фронт в феврале, возвращаясь туда после этой операции (см. главу



для которых немецкий язык был родным, с целью совершить рейд в тыл противника. Переодетые в немецкую форму, члены этого отряда, среди которых были и вчерашние военнопленные, выпускники Антифашистской школы, – старались в прямом общении с солдатами противника раскрыть им глаза на преступный характер гитлеровской войны и её безнадёжность, побудить их к переходу на сторону советских войск.

Брагинский, хоть и хорошо знал немецкий, всё же не был, как принято говорить, «носителем» этого языка. Зато он был командиром отряда и по всем показателям рисковал больше всех. Если бы он попал в руки немцев, его мгновенно распознали бы, как комиссара, да еще еврея, и...

К счастью, он вернулся...

Непонятно, как Володя, отдыхая и лечась в своём «Архангельском», узнал о готовящемся походе. Но, узнав, немедленно приехал в Москву, в 7-й отдел, и потребовал, чтобы его включили в отряд.

Брагинский отказал ему:

– Об этом не может быть и речи! – строго сказал он. – Возвращайтесь в санаторий и долечивайтесь!

Обиженный отказом, Володя бросился к генералу Бурцеву, начальнику отдела, и, скрыв от него решение Брагинского, настойчиво повторил свою просьбу.

– Что ж, поезжайте! – сказал генерал и приказал Брагинскому зачислить его в свой отряд.

Иосиф Самойлович вынужден был уступить...

С огромным трудом удалось ему потом вывести вконец ослабшего и больного Володю из тыла врага. На «нашей» стороне его сразу же отвезли в армейскую больницу. Врачи поставили диагноз: сыпняк. Лечили его интенсивно, подстёгиваемые к тому же требовательным вниманием 7-го отдела.

Но ослабевший организм не справился с болезнью.

22 октября 1943-го года Володя умер. Ему было всего 20 лет...



**Владимир Шейнцвит. Фото на могиле**

---

«Калининский фронт»). В 1975 году начальник Главного политического управления Советской армии генерал-лейтенант А. Шевченко подписал справку, где перечислены шесть основных пропагандистских спецопераций, в которых И.С. Брагинский принимал личное участие. В.Ф.

Его похоронили на Новодевичьем кладбище, недалеко от могилы известной героини Зои Космодемьянской. И поставили памятник: Володя, с ружьём в руках (хоть его истинным оружием было не ружьё, а авторучка), стоит, как часовой.

Там и стоит он до сих пор и не стареет<sup>102</sup>...



**Зоя Космодемьянская, ровесница Тархановой и Шейнцвита (13.10.1923 – 19.11.1941)**



**Памятники Владимиру Шейнцвиту и Зое Космодемьянской на Новодевичьем кладбище  
Автор фото: Наталья Мушкинская**

<sup>102</sup> На могилу Зои Космодемьянской приходят многие. И обращают внимание на скромный памятник капитану Владимиру Шейнцвиту, стоящий рядом. Обратил на него внимание и историк, член Союза журналистов Владимир Ильич Шляхтерман (р. 1924). И заинтересовался, кто он такой и почему похоронен на элитном Новодевичьем кладбище рядом с Зоей. Так начиналось расследование жизни Шейнцвита, за публикацию которого автор получил премию имени Артёма Боровика. Благодаря нему я узнал, что Володя Шейнцвит родился 10.06.23 в Берлине в семье юриста Григория Яковлевича Шейнцвита, работавшего в торгпредстве СССР. В то же самое время, когда там до 1928 года работал Аркадий Тарханов. Они не могли не знать друг друга. Возможно, их малолетние дети и встречались в Берлине, но никаких следов в их памяти это не оставило. В 1937 г. Шейнцвит вернулся в Москву и учился в Немецкой школе имени К. Либкнехта, пока её не прикрыли в 1938 году. Соня вспомнила его, но настоящее их знакомство состоялось лишь в феврале 1943 года. Володя окончил школу в 1940 году, успел год проучиться на биофаке МГУ и даже стал заместителем секретаря университетского комитета ВЛКСМ. Был юнкором газеты «Московский комсомолец». Документы подтверждают, что Шейнцвит неоднократно ходил за линию фронта в офицерской немецкой форме с Железным крестом и медалью. Однако разведчиком в обычном понимании он не был. Он был пропагандистом, его интересовали данные о людях и их моральном состоянии, чтобы его пропаганда носила конкретный, адресный характер. С подробностями расследования Шляхтермана можно ознакомиться на сайте <http://www.lechaim.ru/ARHIV/218/shlyahterman.htm>. В.Ф.

Иосиф Самойлович остро переживал смерть Володи. Мне кажется, он мучился тем, что не уберёг его.

Спустя год у полковника родился сын. Он назвал его «Володя».

Мне Иосиф Самойлович предложил работу в своём отделе.

Казалось, он очень хотел, чтобы я осталась в Москве.

Ещё больше хотели этого мои родители.

Но я считала, что должна вернуться на фронт.

Я уехала... Поезд довёз меня только до Смоленска. Оставалось лишь кланяться попуткам. А они не спешили подбирать непрошенных пассажиров.

Как изменилось всё... Давно ли проделали мы тот же маршрут втроём – Володя, Циппель и я – весело шагали, перекидываясь шутками и поддразнивая друг друга... И хоть мы и мёрзли на обочинах большаков, когда попутки отказывались брать нас с собой, – всё же мы не унывали и упорно пробивались вперёд.

И пробились к Дребеднёву, помнится, довольно быстро.

А теперь, потеряв преданного друга, я возвращалась на фронт одна, и путь обещал быть нелёгким.

### Через минное поле

Поздно вечером я оказалась в буквальном смысле «на большой дороге». Долго плутала, пока, наконец, не прибилась к какой-то обозной части.

Вошла, замёрзшая, в жарко натопленный дом, где у самовара сидели бойцы. Вынула из полевой сумки кружку, попросила налить кипятку.

Налили. Но сразу же начали хамски приставать, нисколько не смущаясь моим офицерским званием.

Я кинулась к их начальнику, на второй этаж – искать защиты.

Он смерил меня тяжёлым взглядом.

– А ты чего ждала?

Всё же он разрешил мне позвонить в отделение.

Маркушевич сказал:

– Рад, что вы вернулись! Признаться, думал, что вы останетесь работать в Москве. Но машину до утра прислать не смогу. Третьяков уехал на базу за нашими пайками. Вернётся только на рассвете.

Он назвал мне деревню, в которой теперь стояло наше отделение. За время моего отсутствия фронт двинулся, и коллеги переехали на новое место без меня.

Обозный начальник, прослушавший весь разговор по отводной трубке, ухмыльнулся:

– И я сегодня не дам тебе машину. Поздно. Заночуешь здесь (он показал на соседнюю комнату). А завтра – посмотрим. Может, и отвезём.

Я достала из полевой сумки план-карту и расстелила на столе перед ним. Попросила прочертить путь в деревню, названную Маркушевичем.

Он нехотя провел пальцем по квадратам карты.

– Сказал тебе: заночуешь здесь. Поздно. От полустанка поезд пойдёт в твою сторону. Да только до него шесть километров. Не дойдёшь. Не дури, ступай чай пить!

Я поблагодарила, быстро вышла от него, сбежала вниз по лестнице, пробежала мимо пьяных бойцов – и за дверь...

И уже тут я припустилась по лесной тропинке, всё боялась, что станут меня догонять.

Постепенно я перешла на шаг. Вещевой мешок на спине всё же умерял мою прыть.

Дорога и дальше шла лесом. Под лунным светом она серебрилась и вроде бы не сулила ничего зловещего. Да и я не чувствовала страха – не столько от природной смелости, сколько, наверно, от глупости...

Наконец, дорога упёрлась в широкую полянку. Залитая светом луны, она излучала умиротворение. Я быстро пересекла её и лишь очутившись на другой стороне, обмерла. У края поляны стояла таблица с надписью: «заминировано».

Какой добрый ангел-хранитель провёл меня невредимой через минное поле?..

Должно быть, и с той стороны, откуда я шла, была поставлена такая же дощечка – так только ведь и бывает – но по близорукости и в силу тогдашней моей беспечности, я её просто не заметила.

А вот уже и полустанок... Но вдоль сельского перрона уже медленно полз состав. Тот, что должен был следовать в нужную мне сторону. В дверях вагонов, на подножках, гроздьями висели солдаты.

Недолго думая, я вскочила на буфер и, тоже уцепившись за поручни, поехала. Поезд стал набирать скорость. Резкий холодный ветер дул мне в лицо.

Несмотря на всю мою довоенную спортивную подготовку, я бы, наверно, скоро замёрзла, и, как сосулька, свалилась с буфера, но, по счастью, минут через двадцать поезд остановился у очередного разъезда. Солдаты ссыпались с вагонов и побежали к низкому вокзальчику на опушке леса.

Я спрыгнула с буфера, но поезд снова пополз вдоль насыпи.

Я попыталась вскочить на подножку, но одеревеневшие ноги не слушались. Чья-то сильная рука втащила меня на ступеньку – и в тамбур.

Мой спаситель, лейтенант-татарчонок, протолкнул меня в битком набитый вагон и усадил рядом с собой на скамью.

Неожиданно в вагоне погас свет. От усталости я в потёмках сразу заснула. Но приходилось то и дело просыпаться – татарчонок раз за разом лез ко мне с нежностями. Я его – локтями...

Наконец, я взмолилась:

– Слушай, я полночи лес бороздила, умаялась! Отстань, ради бога!

Скоро поезд дёрнулся и встал. Включился свет. Бойцы, толкаясь и давясь, устремились к выходу. Вышли и мы, вдвоём выбрались через лесок к большаку.

Тут наши пути разошлись. Татарчонок уехал с первым попутным грузовиком. Мне же пришлось долго топтаться на обочине.

Наконец-то и мне подфартило... Ещё долго, то на попутках, то пешком, добиралась я до нашего нового стойбища, и, наконец, добралась...

Увидев меня, Маркушевич только и сказал, вернее, приказал кому-то:

– Самовар!

Наверно, я напугала его своим посиневшим обликом...

### За наступающими войсками

После Смоленской операции осени 1943-го года, когда войска нашего фронта, совместно с другими, освободили от оккупантов не только Смоленскую область, но и большую часть Калининской, наша армия где быстрее, где медленней, продвигалась на запад.

Скоро началось освобождение Белоруссии.

Я не вела тогда военного дневника, да и всегда была не в ладах с географией. Поэтому не могу сказать, как полагалось приличному фронтовику, когда «мы» брали тот или иной населённый пункт. Помню только, что 1-го января 1944-го года был взят Невель...

Мы ехали вслед за войсками на нашей третьяковской полуторке, торопясь на привалах допросить пленных, провести вещание, выпустить оперативную листовку... и сварить пшённую кашу (естественно, последнее, как единственной женщине, выпадало на мою долю).

Замелькали тогда, впоследствии хаотически осевшие в памяти, названия городков (некоторые так и назывались: Городок, Городище) и деревень. Усваты, Озерки, Стайки, Большие и Малые Кресты, Сростки, Забабуры...

Многие из тогдашних названий мне сейчас так и не удалось отыскать на подробнейшей карте, присланной внучкой Ленкой.

Где-то мы «стояли» подолгу, где-то лишь останавливались на ночёвку.

Бесконечные переезды. На третьяковской полуторке ехало также наше «вооружение»: пишущие машинки, мешки с трофейными документами, листовки. Даже вся типография Пахомыча.

Казалось бы: лафа! Сиди себе под брезентом, хочешь – смотри по сторонам, хочешь – спи.

Бывало, по шоссе тянулась к западу длинная цепь машин с разной поклажей. Главной «поклажей» были мы – промёрзшие и продрогшие люди, обречённые на мучительное ожидание и бездействие.

Соскочить с грузовика и пройтись, чтобы только ноги размять, было нельзя: прерванное движение цепи возобновлялось неожиданно и стремительно.

Один из таких рейсов запомнился мне навсегда.

Добрая русская крестьянка тогда спасла мне жизнь...

Наша машина, зажатая среди многих других, медленно ползла по большаку, то и дело останавливаясь из-за заторов.

Было холодно. Мокрый снег застыл коростой. Нас сковала пронизывающая сырость.

Спрыгнуть, пройтись, как уже сказано, было нельзя, а потом уже и не стало сил. Продрогнув до костей, уже ко всему равнодушная, я, кажется, стала засыпать, а, может, и потеряла сознание.

Резкий толчок...

– Приехали! Марш в деревню!

Я того приказа не слышала. Мои спутники с трудом растолкали меня, вытащили из грузовика.

Мы вошли в избу. Точнее, вошли мои спутники, – меня они волокли под руки.

Хозяйка лежала с детьми на печи. Увидев меня, закричала:

– Что же вы девочку свою уморили! Посинела вся! Никак, помрёт!..

Она слезла с печи. Налила мне чаю:

– Пей!

А меня уже и губы не слушались.

– Пей! – прикрикнула она на меня. И к мужчинам:

– А покрепче у вас ничего нет?

Кто-то налил из фляги шкалик водки.

Я замотала головой, но хозяйка буквально влила мне эту водку в горло.

Стащив с меня мокрые сапоги и портянки, надела на мои одеревеневшие ноги валенки.



Уложила меня на печи, рядом со своими детьми, накрыла большим тулупом.

– А как же Вы? – пробормотала я.

– Спи! Это тебя не касается...

Я провалилась в сон. Ночью меня бил озноб. Дети говорили, что я бредила.

Но утром я сама слезла с печи.

Расцеловав хозяйку, подарила ей «рузвельта» – банку американской ветчины из пайка.

И мы поехали дальше.

К исходу зимы у меня распухли дёсны, стали кровоточить. Мы, конечно же, не голодали. Армейский АХО чётко отоваривал продаттестаты. Однако наши консервы, видно, не обеспечивали должной нормы витаминов.

В домах, где, на наше счастье, ещё жили хозяйки, мы отдавали им большую часть наших пайков, а уж они варили нам традиционные щи, наливали молока (там, где им удавалось сохранить корову): «забелить чай».

В избе, где мы тогда «стояли», когда у меня обозначились признаки цинги, была такая хозяйка. Она сказала мне:

– Я тебе каждый день простокваши кружку выставять буду. И квашеной капустки дам. Чесночку и лучку свежего возьмёшь у меня в клети. Ничего, превзойдёшь!

И правда, я «превзошла»!

Благодаря мудрости моего крестьянского доктора – ещё одной доброй русской женщины...

### Как меня пытались учить технике перевода

Вскоре после гибели Володи нам прислали нового инструктора-литератора.

Это был инженер-капитан Гуревич, долговязый малый неопределённого возраста.

Классический зануда, он ежедневно писал нудные листовки, которые Маркушевич сплошь и рядом даже не отправлял в набор (это после перевода!).

В принципе листовки выпускались в отделении только при оперативной необходимости.

Ведь любую листовку надо было не только перевести и набрать. Отпечатанный тираж надо было распространить – это была главная и самая трудная задача.

Часть тиража мы давали лётчикам, часть – разведчикам, направлявшимся в тыл противника. Но и летчики, и разведчики старались поскорее избавиться от принудительного багажа – ведь они же должны были распространять и листовки, выпускавшиеся 7-ым отделом ГлавПура.

Словом, листовки часто не доходили до адресата и сбрасывались, ещё до вражеских линий, в какие-нибудь кусты или болота.

Отсюда и решение: попусту в отделении листовок не выпускать!

Гуревич злился, добиваясь уважения к себе и своему «творчеству».

Самое «низкое» воинское звание – младший лейтенант – было в отделении у меня. И, должно быть, уязвлённое самолюбие побудило его покуражиться надо мной.

Как-то раз, отдав мне своё очередное творение на перевод, он тут же вернулся – посмотреть, как я работаю.

– Как это так Вы сразу печатаете перевод на машинке?

Я:

– Не понимаю вопроса...

Гуревич: Полагается сначала составить черновик! И только потом, сверив каждое слово со словарем, печатать немецкий текст!

Я: – Но...

Гуревич (раздражённо): Подождите! К тому же словарь у Вас даже не раскрыт!

– Я составляю черновик и обращаюсь к словарю в поисках синонимов или же при появлении каких-то сомнений, – но всё это при переводе сложных текстов! А при переводе элементарно простого текста это не требуется.

– Так, по-вашему, я пишу элементарно простые тексты?

– Товарищ инженер-капитан! Ведь даже Чехов советовал писать просто!

Гуревич: – Ваше дело не хохмить, а работать, как следует! Чтобы через час перевод был готов!

Я справилась раньше. Хотела отнести перевод Маркушевичу, чтобы он подписал его в набор.

Но тут снова вернулся Гуревич, взял в руки немецкий текст:

– Заголовок никуда не годится! Я написал «Затишье перед бурей». А Вы как перевели?

– “Ruhe vor dem Sturm”! Всё правильно.

Гуревич: – Нет! Неправильно! Я проверил по словарю! Надо было перевести: “Stillstand vor dem Gewitter”!<sup>103</sup>

– Товарищ инженер-капитан! Но ведь это же не по-немецки!

– Как это, не по-немецки? Вот, смотрите, первые значения обоих слов, которые Вы неправильно перевели: “Stillstand“ и “Gewitter”! (он раздражённо тыкал пальцем в русско-немецкий словарь, лежавший на моём столе).

Я: – Но надо же смотреть по контексту! В данном контексте пригоден только мой вариант!

Гуревич: Не спорьте со старшим по званию! Приказываю Вам отныне использовать в переводе только первые словарные варианты! Они потому и приводятся, как первые, потому что они самые верные!

– Товарищ инженер-капитан! За перевод отвечаю я!

– Ах так, ну, хорошо! Я доложу начальнику отделения!

Трясаясь от злости, он ушёл.

В дверях вырос Ратушняк:

– Хочешь, я ему морду набью?

Только этого ещё не хватало...

Я пожаловалась на адепта первых значений Маркушевичу. Тот вызвал инструктора-литератора:

– Слушайте, инженер-капитан, оставьте переводчицу в покое! Она своё дело знает.

– Есть оставить в покое! Да только что она может знать, товарищ майор? Девчонка! Даже института не кончила!

– Выживет если тут у нас – кончит! Ей всего 19 лет! (Майор ошибался: мне уже исполнилось двадцать).

После этого инженер-капитан и впрямь отказался от попыток курировать процесс перевода. Меня он демонстративно перестал замечать...

---

<sup>103</sup> Примерный русский смысловый эквивалент: «Стояние на месте перед грозой». С.Т.

Скоро его вообще от нас забрали. Не знаю, сам он ходатайствовал об этом, или мы были обязаны избавлением от него очередным игрищам политотдельских отделов кадров.

Потому что они всё время кого-то перемещали, отзывали одних, присылали других...

Так и на меня, ещё до отзыва Гуревича, пришёл запрос из «во-фронта»: «не сможет ли отделение отпустить переводчицу Тарханову для дальнейшего прохождения службы в 7-ом отделе ПО фронта?».

Маркушевич немедленно телеграфировал в ответ: нет, не сможет, без меня отделение не справится с работой.

После этого всё стихло. Впрочем, пока ведь это был только запрос... Но Маркушевич вовсе не хотел меня отпускать, а мне и вовсе не хотелось работать «во-фронте».

Всё стихло, и мы успокоились: стало быть, от меня оступились. Мы не знали, что этим мы обязаны Гуревичу.

Позднее знакомые из 7-го отдела «во-фронта» рассказали нам, как было дело.

Оказывается, ещё до своего отъезда Гуревич, узнав о запросе из «во-фронта», написал в тамошний 7-ой отдел от своего имени, что категорически не рекомендует приглашать в вышестоящий отдел переводчицу Тарханову. Она де не имеет элементарных навыков работы со словарём и вообще – недисциплинирована и своенравна...

Очевидно, он хотел мне отомстить за отказ переводить только «по первым значениям» и поломать мне – по его представлениям, желанную – карьеру.

Дальше, опять же по свидетельству наших «во-фронтовых» знакомых, события развернулись так: примадонна – переводчица из тамошнего 7-го отдела, она же ППЖ («полевая походная жена») тамошнего генерала, схватила это письмо и побежала с ним в отдел кадров – приостановить возможные дальнейшие попытки переместить меня в «во-фронт».

Эта дама, лет 39-40, до войны заведовала кафедрой немецкого языка, кажется, в Саратове. Наверно, она хорошо знала грамматику немецкого языка. Не знала она лишь самого – живого – немецкого языка, в чём, впрочем, скорее всего, была неповинна: где ей, в тогдашних условиях, было ему научиться?

Я видела «её» листовки: она переводила тяжёлыми ходульными фразами, сконструированными по-ученически искусственно. Допросы пленных показывали, что немецкие солдаты её языка абсолютно не воспринимают.

Впрочем, она была намертво против моего перемещения в 7-й отдел фронта не потому, что опасалась конкуренции с моей стороны. Кажется, она вообще полагала себя вне всякой конкуренции. Просто она не хотела – на фоне своих генеральских связей – допустить в отдел девушку вдвое её моложе...

Словом, усилиями этих двух «милых» людей – Гуревича и дамы-примадонны из 7-го отдела (я забыла её фамилию) – мы с Маркушевичем были избавлены от посягательств. По крайней мере, нам так казалось... Вроде бы даже всемогущий начальник отдела кадров по фамилии Пробей-Голова вынужден был уняться...

### Капитан Руднев

Но не тут-то было. Сколько-нибудь долго радоваться благополучному исходу происков Гуревича и Ко нам не пришлось: у нас забрали Цехановского. Чернявый маленький диктор-переводчик нашей МГУ был замечательным работником, отменным знатоком немецкого языка, вдобавок отчаянно-смелым офицером и прекрасным товарищем, а для меня даже другом, так как относился ко мне с особым теплом и в шутку именовал себя моим «старшим братом».

Все были огорчены его уходом, да и сам он из-за этого заметно приуныл.

Маркушевич ходил к кадровикам, пытался его отстоять. Но те были неумолимы: «решение начальства».

Маркушевич доказывал, что без Цехановского отделу не справиться со своими многочисленными задачами.

– Ничего, – утешали его кадровики, – мы подберём вам другого толкового парня!

И подобрали...

Однажды в отделение прибыл капитан Руднев. Высокий, статный мужчина с чёрными усами, лет пятидесяти, он походил на провинциального трагика – таким я почему-то всегда представляла себе Несчастливцева из известной пьесы Островского «Лес».

Он сразу взял с подчинёнными величественный тон – ведь его прислали к нам на вакантную должность старшего инструктора – но в остальном, как говорится, был мужик не вредный. В семиотдельской работе он явно ничего не смыслил, и, насколько я помню, даже не знал немецкого языка.

Зато он с великой охотой переезжал из одной дивизии в другую и «наставлял» тамошних инструкторов.

Мы скоро заметили, что он изрядно прикладывается к бутылке. Маркушевич строго выговаривал ему за это, но Руднев всякий раз начинал плакать и приводил трагические причины своего желания забыться во хмелю.

– У меня дочь в соседней армии. Связистка. Она тяжело ранена...

Бедная девушка! Сколько ранений она таким образом перенесла...

В его душе жила какая-то неуёмная тоска.

Работы в ту пору было очень много, особенно у меня. Мы с Маркушевичем писали необходимые листовки, допрашивали пленных, но печатать все рабочие материалы – протоколы допросов, обзоры документов – всё это, естественно, приходилось делать мне.

Вдобавок надо было варить кашу – пшённую или гречневую – чтобы кормить моих коллег. Ведь по мере нашего продвижения на запад, мы всё реже встречали в уцелевших домах хозяек. Самовар, слава Богу, раздувал Пахомыч. А я, вооружённая ухватом, вставляла в русскую печь и вынимала из печи огромные горшки с нашим бесценным «кормом».

Ратушняк тоже ездил из дивизии в дивизию. Это была его давняя и главная обязанность. Наверно, Руднев был для него зряшным конкурентом. Была ли какая-то польза от того, что он тормозил инструкторов подивов, – не знаю.

В отсутствие Цехановского Ратушняку иногда приходилось выезжать на вещание. Мы вместе составляли – по-немецки – оперативный текст, и он вполне грамотно его читал, разве что рубил его своим славянским произношением, как топором. Но верный традицией, заведенной ещё Володи, упорно отказывался брать меня с собой: «женский голос не производит устрашающего действия».

И я почти всё время сидела за машинкой...

Как-то раз вечером ко мне подсел Руднев.

– Брось ты эту писанину! Мура всё это – неужто не понимаешь? Мне говорили, что ты в Париже была... Будь человеком, расскажи про красивую жизнь!

Я уехала из Парижа, когда мне было восемь лет. Мулен Руж, ночные клубы с полуголыми красотками – ничего этого я не видела.

Я рассказала Рудневу про битву цветов на карнавале в Ницце<sup>104</sup> в 1930-м году. Мне было тогда семь лет.

Думала, что он будет разочарован, а он растрогался до слёз.

– Какая красота! Кареты, увитые цветами... Люди бросают друг в друга розы...

– Розы не бросают! Они колючие!

– Всё равно – главное, не гранаты бросают друг в друга, а цветы! Ирисеи, говоришь, тюльпаны! Какая красота! А у нас жизнь собачья...

Заплакал капитан и пошёл к себе в другую комнату, утешаться выпивкой.

Завтра, наверно, опять скажет про дочку...

Собачонка лизала ему руки и тихонько подвывала.

Я забыла сказать: при Рудневе была собачонка – белая, с шерстью торчком и в чёрных пятнах.

Он её нежно любил и никогда с ней не расставался. Каким-то образом он её приучил соблюдать тишину: она лаяла редко и всегда негромко. Ей суждено было сыграть роковую роль в его судьбе.

Но это будет потом. А сейчас все спят в этой холодной избе в полуразрушенной белорусской деревне...

### Майор Шлоссер

Из 7-го отдела «во-фронта» нам прислали подкрепление – майора Шлоссера. Это была временная командировка, которая могла бы к всеобщему удовольствию затянуться, если бы не... Но об этом потом.

Шлоссер был венгерский немец, человек лет 37-38. За плечами у него была сложная жизнь.

Он руководил коммунистической организацией в одном из рабочих районов Берлина. После прихода Гитлера к власти был схвачен нацистами и брошен в тюрьму, где подвергся избиениям и пыткам. Он говорил: «нацисты отбили мне почки».

Не знаю, как ему удалось вырваться из нацистской тюрьмы и бежать в Советский Союз. Он был племянником академика Варги<sup>105</sup>, в ту пору известного экономиста, жившего в эмиграции в Москве, – возможно, дядя ему как-то в этом помог. Одно время он был резидентом советской разведки в Англии.

---

<sup>104</sup> Ежегодный февральский карнавал в Ницце – самое яркое и красочное событие на Лазурном Берегу Франции. Регулярно проходит с 1294 года и привлекает множество туристов. Битва цветов: огромное количество специально выращенных различных цветов обрушивается на зрителей. В.Ф.

<sup>105</sup> **Евгений Самуилович Варга** – известный учёный в области политэкономии капитализма и мировой экономики. Родился в Венгрии в еврейской семье. Участвовал в социалистической революции в Венгрии. Министр финансов, Председатель Высшего совета народного хозяйства Венгерской советской республики. Эмигрировал в СССР. Директор Института мирового хозяйства и мировой политики АН СССР. В.Ф.

По поручению Ханы Натановны Дриккер, работавшей в то время – сразу после войны – в Воениздате, мне довелось перевести на русский язык одну из его брошюр. С.Т.



– Я бегло говорю по-английски, – рассказывал он, – и умею картинно курить трубку, совсем, как Шерлок Холмс. Впрочем, я и не выдавал себя за англичанина, а выступал в роли венгерского писателя-эмигранта. Я ведь и по-венгерски бегло говорю. И по-русски, как видите, объясниться могу (всё это, впрочем, он мне рассказывал по-немецки), вот только это Ваше «чиво-шиво-са»<sup>106</sup>, вы уж извините, я освоить не в силах...

Тут, кстати, Шлоссер попросил меня (насколько позволяют наши боевые будни!) заниматься с ним русским языком, хотя бы по 15 минут в день, особенно грамматикой.

Ещё один ученик после Цулега...

Шлоссер в полной мере обладал известной немецкой добродетелью – неизбыточной энергией и аккуратностью. Он допрашивал пленных, непрерывно писал листовки – столько, сколько сам ГлавПУР не смог бы издать, не то, что наше маленькое походное отделение. Но, в отличие от дурака Гуревича, он не обижался, когда Маркушевич отказывался визировать его очередное произведение. Он тут же перерабатывал листовки в тексты радиопередач – кстати и вещание по МГУ он вёл почти ежедневно. И к занятиям русским языком он относился так же ответственно и серьёзно, добросовестно заучивал таблицы склонения существительных и спряжения глаголов. Мы занимались с ним всегда, как только позволяла работа, но, само собой, редко укладывались в запланированные четверть часа...

Тем более, что Шлоссер часто ударялся в воспоминания, а тут уж трудно было его остановить. Он рассыпал факты, безусловно любопытные, но такие, о которых вроде бы полагалось молчать. Особенно это касалось его резидентского амплуа.

– Так Вы, значит, были шпионом? – как-то спросила я его напрямик.

– Фу! У Вас примитивное представление о деятельности резидента! Я никого не душил и бомб не бросал. Я должен был докладывать советским органам о настроениях британской интеллигенции. Как писатель, за которого я себя выдавал, я был вхож в литературные круги. Впрочем, я и в самом деле писал новеллы. Журналы охотно брали их у меня. Говорили, похоже на Хемингуэя.

Рассказывал мне Шлоссер и о своих проказах.

Он совершенно не выносил начальника 7-го отдела «во-фронта» полковника Соколова, кругломордого толстяка, который был известен тем, что – стоило только начаться заварушке на любом участке фронта – тотчас рассылал во все подчинённые ему отделения телеграммы, начинавшиеся классической фразой «Нахожусь в районе боевых действий...».

Дальше следовало пустое хвастовство. Ведь, собственно, только ради одной этой фразы и рассылались телеграммы. А наш Соколов в том же контексте приказывал нам «улучшить, расширить, повысить»... неважно, что (этого он и сам толком не знал).

Весь 7-й отдел «во-фронта» терпеть его не мог, но Шлоссер... тот и впрямь такое устроил... Он со смехом рассказывал мне о своих проделках.

В своём доме в «во-фронте» он надул презерватив, так, что тот принял форму шара, а затем начертал на нём «прекрасные» черты своего начальника. Нацепив на это создание офицерскую фуражку, он выставил его в окне своей хаты...

---

<sup>106</sup> Шлоссер имел в виду родительный падеж действительных причастий настоящего и прошедшего времени. С.Т.

Все подчиненные, проходя мимо, хохотали, а непосвящённые, случалось, даже козыряли «полковнику» в окне...

Естественно, Соколов сразу об этом проведал, но оказался в затруднительном положении. Наказать охальника означало бы – признать своё сходство с детищем Шлоссера. С другой стороны, надо было быстро прекратить балаган.

Я сказала:

– Шлоссер, Вы спятели (вечером можно было отбросить правила субординации). Как можно устраивать такое в советских условиях, да ещё в армии! Вы хоть убрали это ваше чучело из окна перед отъездом?

– И не подумал! – довольный произведенным эффектом, смеялся Шлоссер.

– Разве можно убирать начальника из окна? Должен же кто-то руководить отделом!

Шлоссер вообще всегда был готов излить на кого-то свою жёлчь.

Однажды он даже на меня напустился:

– Что-то Вы так однообразно готовите! Не пора ли изменить меню?

Я рассердилась...

Утром я вставала раньше всех, топила печку, вставляла в неё ухватом горшок с пшеном или гречкой.

Днём с помощью того же ухвата сервировала своим коллегам обед – картошку или горох. А «рузвельта» добавлять мог каждый из своего пайка.

При том загружена я была не меньше, а больше коллег-мужчин. Допросы пленных, переводы, обзоры трофейных документов... Да ещё приходилось печатать на машинке все материалы отделения. Ведь кроме Ратушняка, вышколенного ещё Немчиновым, никто управляться с машинкой не умел.

Сам Шлоссер отлично печатал на привезённой им с собой портативной машинке все свои немецкие материалы. Но переводы всего этого плюс шлоссеровские докладные на ломаном русском, которые надо было ещё редактировать, печатала я.

Словом, я рассердилась:

– Как Вам не стыдно, Шлоссер! Я не повар и готовить не обязана! Скажите лучше «спасибо» за то, что я Вас кормлю. Не нравится моё меню – ступайте в ресторан!

– В самом деле: отличная идея! – отозвался Шлоссер. – Может быть, порекомендуете заведение?

И весело пропел:

Dann geh' ich zu "Maxim",  
Dort werd' ich sehr intim...  
(Иду к «Максиму» я,  
Там ждут меня друзья.)<sup>107</sup>

Мы оба рассмеялись, и инцидент был забыт.

Однако этот разговор услышал Маркушевич. Он и сам понимал, что мне приходится трудно. А вакансии повара и машинистки у нас пустовали.

И он выписал машинистку.

Из банно-прачечного отряда к нам прибыла вольнонаёмная Людмила Степанова, на 2 года меня старше.

Правда, печатать она не умела, и долгое время все материалы отдела по прежнему печатала я, но у меня появилась подруга.

Люська, мой дорогой друг, тебя-то я никогда не забуду!

---

<sup>107</sup> Ария графа Данило из оперетты Легара «Весёлая вдова». С.Т.

Родом из города со смешным названием «Гусь-Хрустальный», Люська была замечательным порождением русской провинции тех времен, ещё сохранившей, во всяком случае, на бытовом уровне, какие-то достойные человеческие черты.

Отныне в будуаре за плащ-палаткой появился второй топчан. Рядом с моим походным ложем, застелённым, как нас учили в пионерском лагере, с серыми от многократной стирки в банно-прачечном отряде простынями и одеялом, Люськина кровать, с белоснежными, накрахмаленными простынями и наволочкой, с кокетливо взбитой подушечкой, – казалась неким символом чистоты и домашнего уюта.

Люська в любой обстановке ухитрялась самолично кипятить, белить и крахмалить своё постельное бельё, отполаскивать его в ручейках и даже в проруби, – всё подвиги, на какие я была неспособна.

Мы поделили с ней хозяйственные хлопоты, в которых опять же она была ловчей и сноровистей меня, а, главное, – крепко подружились...

Спустя 40 лет после войны Люська, приехавшая из Алма-Аты на лечение в Москву, разыскала меня.

Мы радостно встретились.

После войны она осела в Казахстане, куда переместилась наша 4-я Ударная Армия, вышла замуж за офицера и стала Люсей Тритенко. Родила и вырастила троих детей. Но при этом окончила исторический факультет и даже защитила кандидатскую диссертацию. Её уважали – однажды даже назначили секретарём избирательной комиссии на очередных выборах.

Она рассказала: вечером приехал на избирательный участок секретарь райкома КПСС.

– Как дела? – спросил он у Люськи.

– Плохо, – ответила она, – многие избиратели так и не пришли голосовать.

Секретарь райкома схватил все невостребованные бюллетени и засунул их в урну.

– У вас **все** проголосовали! – приказным тоном заявил он Люське. – Поняли? **Все!**

Но не только перлами демократии славилась (и, наверно, славится до сих пор, Алма-Ата). Люська говорила, что живёт в окрестностях столицы, на склоне горы, где царит первозданная красота.

Звала приехать к ней погостить.

Не довелось...

Но пора вернуться на фронт.

Шлоссер под воздействием моих увещаний не уgomонился. Теперь он избрал мишенью своих насмешек Ратушняка и не упускал случая его «поддеть».

– Смотрите, Шлоссер! – говорила я ему. – Когда-нибудь Ратушняк Вас просто поколотит.

Ратушняк был большой (что называется – косая сажень в плечах) и сильный, а Шлоссер – маленький и на вид довольно тщедушный.

Но он хорохорился:

– Хотел бы я видеть того, кто сможет меня поколотить! Я в совершенстве владею приемами дзюдо!

Однако не такими приёмами думал сразиться с ним Ратушняк, а избрал для этого самый обычный и беспроегрешный советский метод – донос.

Он направился прямоком в СМЕРШ и заявил, что не понимает, как можно держать во фронтовом 7-м отделении такого подозрительного человека, как Шлоссер.

Мол, Шлоссер – немец и вообще – тёмная личность. Пишет листовки и ведет вещание на противника по-немецки. Все тексты сочиняет сам, никто их не проверяет (он, что, не знал про Кульгава?).

А не передаёт ли он таким образом врагу секретные сведения?..

Донос имел успех.

7-й отдел фронта отозвал Шлоссера. (О поступке Ратушняка рассказал мне потом Маркушевич).

Шлоссер оторопел. Он был очень расстроен. Ведь поначалу для него планировалась длительная командировка, работал он у нас очень активно, закрывая собой две «бреши», – ведь у нас не было ни инструктора-литератора, ни диктора-переводчика. Да и жилось ему у нас вполне привольно, – а тут надо было возвращаться под начало ненавистного ему Соколова.

Он проделал вместе с нами ещё одну перебазировку: отделение со всем своим скарбом мчалось на третьяковской полуторке вслед за наступающими войсками.

Помню, поздно вечером мы приехали в деревню, где после боёв остался один-единственный полуразрушенный дом. Слава Богу, сохранилась русская печь, и Пахомыч, первым вселившийся в дом со своей типографией и самоваром, сразу её затопил.

В одной комнате расположился вместе с Пахомычем весь экипаж МГУ, в другой иззябшие, голодные, после глотка горячего чаю сразу завалились спать все остальные, т.е. мы.

Положив на пол доски от топчанов, мы накрыли их отсыревшими матрацами (такими же сырыми были одеяла) и, завернувшись в плащ-палатки, сразу заснули. Так и лежали рядком: слева от меня Люська, справа – Шлоссер.

Кутаясь в свой клетчатый английский плед («как у Шерлока Холмса!»), Шлоссер, кажется, долго что-то бормотал...

Рано утром он уехал. Обещал нам писать и сказал, что непременно вернётся.

Он и вернулся... но только в вот этих моих записках. А так...

Время шло, а вестей от него не было. Должно быть, ушли его в новую командировку...

От случайно заехавшего в наше отделение инструктора 7-го отдела фронта (это не был Утевский, о котором пойдёт речь дальше) мы узнали правду: Шлоссер умер.

Оказалось, что Шлоссер возвратился от нас в свой отдел уже совсем больной и сразу слёг с жаром и бредом.

Было ясно, что надо вести его в госпиталь. За 100 километров.

И тут многократно осмеянный и униженный им полковник ему отомстил. Он не дал машины для эвакуации больного: «Все машины, – сказал он, – нужны на боевом участке».

Заезжий инструктор рассказал, что Шлоссера, прикрытого лишь какой-то овчиной и плащ-палаткой (английский плед, похоже, уже успел кто-то стибрить), повезли в госпиталь на телеге... А ведь стоял сильный мороз. Короче, в госпиталь Шлоссера доставили уже в состоянии агонии.

Он умер, не приходя в сознание.

Все мы были подавлены этой вестью.

Ещё одна утрата...

Даже Ратушняк ходил хмурый. Наверно, он всё-таки не ожидал таких последствий своего поступка.

Скоро он выехал в очередную командировку.

Мы холодно простились с ним.

Спустя какое-то время выехал в командировку на тот же участок фронта и Руднев.

Но уже на другой день он вернулся.

Сначала с визгом вбежала в дом его собачонка. За ней, как всегда величественно, вошёл сам капитан.

Но уже с порога:

– Где вещи Ратушняка?

– А зачем?.. – начала было я.

Но Руднев осадил меня непривычно резко:

– Отставить вопросы! Покажите мне вещи Ратушняка!

Нас было трое в комнате – мы с Люськой и Мартынюк.

Мы недоуменно переглянулись.

Я отвела Руднева в соседнюю комнату, где стояли вещи Василия.

Капитан быстро переложил всё имущество инструктора, включая банки с консервами и портянки, в свой вещевой мешок. Затем распрямылся и скомандовал нам:

– Смирно!

И дальше:

– Почтим минутой молчания светлую память нашего боевого товарища Василия Ратушняка!

И пошёл, чуть ли не строевым шагом, докладывать о случившемся Маркушевичу.

Подробности случившегося мы, как это не раз бывало, узнали позже.

В штабе литовской дивизии, которую инспектировал Ратушняк, он стоял и разговаривал с дивизионным переводчиком Михаэлисом Ициковичусом. Этот молодой человек впоследствии был прислан к нам на место Цехановского.

(Как знать, не об этом ли – т.е. о таком назначении – как раз и говорили те двое в штабе дивизии?).

В это время в штаб возвращались с боевого задания разведчики.

Один за другим входили они, и каждый прислонял свой автомат к табуретке у печки. Табуретка, однако, была о трёх ногах. Под тяжестью какого-то очередного автомата она опрокинулась. Автомат упал на пол и разрядился прямо в затылок Ратушняку.

Он скончался на месте...

А Рудневу недолго удалось наслаждаться своей мародёрской добычей. Во время очередной командировки на передовую он увидел, как его собачонка (он всегда брал её с собой) стремглав несётся по нейтральной полосе к окопам противника.

Возможно, немецкие солдаты как раз ели колбасу, и острый собачий нюх это учуял...

Немцы открыли по собаке огонь.

Руднев выбрался из окопа и тоже помчался по нейтральной полосе – спасать собаку.

И её уложили, и его...

Опустело наше отделение. Не стало совсем инструкторов.

Какая роль случая в судьбе человека? Наверно, она гораздо больше, чем принято предполагать. Да и случаи, возможно, не совсем случайны...



### Пленные немецкие мальчишки

Не помню сейчас, с какого момента наш фронт стал называться «Первым Прибалтийским» вместо «Калининского». Советские войска с боями продвигались по белорусской земле на северо-запад.

К нам в большом числе поступали пленные. Вообще-то немецкие солдаты в плен сдавались неохотно, но в безвыходной ситуации всё же послушно поднимали руки, и в абсолютных цифрах их было много. Всего в советском плену побывало около 3-х миллионов человек.

В последнее время, после того, как Гитлер объявил у себя «тотальную мобилизацию», среди пленных всё чаще попадались мальчишки 15-16 лет. Нескольких таких мальчишек ст. лейтенант Кульгав прислал к нам с тем, чтобы после ритуального допроса, мы оставили их у себя «для подмоги в хозяйстве». И они мирно паслись на наших стоянках под присмотром Пахомыча, кололи дрова, разжигали самовар, варили суп, иногда даже набирали наши листовки и печатали тираж.

Никто их не стерёг, но они и не порывались бежать, а были счастливы, что остались живы, и война для них кончилась.

По вечерам они сидели у костра и пели немецкие народные песни на баварском диалекте, особенно, ту самую про корову, что по-глупому хлопает глазами и не может отогнать назойливую свинью...

Был ещё один такой мальчишка, которому, однако, не довелось коротать дни под крылышком у добродушного Пахомыча.

Его, шестнадцатилетнего, в 1943-м году гитлеровцы мобилизовали в противовоздушные войска. Затем он служил санитаром в одной из фронтовых частей. В 1945-м году в боях под Берлином был взят в плен.

Имя этого юноши, ныне широко известное, – Вольфганг Казак<sup>108</sup>.

Сын немецкого писателя-антифашиста Германа Казака, он провёл полтора года в советском плену.

Допросы. Тяжёлая работа. Недоедание. Болезни...

И всё же за это время военнопленный Казак, будущий директор Кёльнского института славистики, самостоятельно выучил русский язык. И довёл это знание до необычайно высокого уровня.

Этот языковой подвиг растрогал даже советского офицера НКВД – лагерного опера Гришечкина. Когда решили отправить в Германию самых ослабленных пленных, Гришечкин, сопровождавший эшелон, взял Вольфганга в свой вагон.

И много лет спустя профессор Казак говорил, что Гришечкин тогда спас ему жизнь.

Казак стал самым крупным немецким славистом послевоенного времени, автором первого в мире «Лексикона русской литературы XX века». Он оказал большую помощь многим русским писателям, преследовавшимся советским режимом.

Всю свою жизнь он верно и талантливо служил русской литературе.

---

<sup>108</sup> **Вольфганг Казак** (*Wolfgang Kasack*; 1927-2003) – немецкий славист, литературный критик и переводчик. 17-летним был призван на фронт, оказался в советском лагере для военнопленных, где познакомился с русским языком и культурой. Изучал славистику в Гёттингентском университете, где получил степень доктора наук. Работал переводчиком в посольстве ФРГ в Москве. В 1969 г. возглавил кафедру славянской филологии и Институт славистики Кёльнского университета. Казак перевёл на немецкий язык произведения Каверина, Паустовского, Розова, Солженицына и других русских писателей. В.Ф.

Кого-то из моих потенциальных читателей эта идиллическая картина может удивить. Но что было, то было. Было и это.

А заснеженная «ограда» из замёрзших человеческих тел, увиденная мною в первые же дни моего пребывания на фронте, от этого не исчезнет из моей памяти, как, надеюсь, и из памяти моих близких...

Мы с Маркушевичем на привалах спешно писали листовки, учитывающие всякий раз меняющуюся оперативную обстановку и настроения немецких солдат, о которых рассказывали пленные.

А потом – снова в путь, и главная роль переходила к Третьякову.

Так, трясясь на своей полуторке с неизменным производственным и бытовым скарбом, барахтаясь в круговерти листовок, доносов и смертей, ехало наше седьмое отделение вслед за войсками на запад.

И на мосту через реку совершенно случайно взорвалась и взлетела на воздух не наша машина, а та, что ехала за ней...

### Листовки и карты

Весна 1944-го года (во всяком случае, поначалу) выдалась очень холодная. Дул резкий ветер, – с северо-запада. Случалось, он приносил с собой листовки противной стороны. Как правило, они были плохие, и мы сразу бросали их в печку.

Но одна из них, обнаруженная мной в кустах, мне запомнилась: красноармеец-перебежчик рассказывал, как славно ему живётся в германском плену.

Начиналась листовка так:

«Ой вы, гой еси, други мои милые!».

А кончалась словами:

«Эх, да разгуляюсь я да на германской да сторонушке!

Эх ма!».

Интересно, какой славист-недоучка подсунул германскому командованию этот текст?

Эта листовка нас так позабавила, что было искушение сберечь её курьёза ради. Но...

Хоть я и не знала тогда о судьбе моего родственника Изи Миттельмана, которому советский суд дал 7 лет лагеря строгого режима только за то, что в финскую войну он поднял с земли и оставил у себя несколько журналов на неведомом ему (финском) языке<sup>109</sup>.

Короче, и эта листовка, вслед за другими, была брошена в печку.

Архив 7-го отдела, кажется, хранится теперь под Москвой в Красногорске, там, наверно, лежат все такие листовки...

Наверно, вообще много любопытного не только для историка, исследователя, в этом красногорском архиве.

В начале моего рассказа я написала, что пропагандистский арсенал работы «среди войск противника» был мне хорошо знаком ещё до моего ухода на фронт, как архивариусу московского 7-го отдела.

А всё же об одном необычном пропагандистском орудии архивариус ничего не знал, не знал о нём и лейтенант, переводчик 7-го отделения 4-й Ударной армии.

«Хлопоты бубновые, пиковый интерес»... Из статьи под таким названием, опубликованной в берлинской газете «Русская Германия», – только теперь

---

<sup>109</sup> См. новеллу «Судьба». В.Ф.

(в марте 2006-го года) – я узнала о существовании в годы той войны такого пропагандистского инструмента, как колода карт.

Её создателем был фронтовой художник Иван Харкевич, хотя сама идея по обыкновению пришла из недр московского 7 отдела.

«Королями» в колоде Харкевича были Гитлер и его подручные Геринг, Гиммлер и Геббельс. Гитлера художник изобразил таким пиковым фраером, к 1943-му году уже обретшим довольно-таки унылый вид. (Если верно, что колода была создана в начале 1943-го года, как указывает автор статьи в «Русской Германии», неудивительно, что я не слыхала о ней в Москве). Омерзительно выглядели и подручные.

Четыре страны – союзницы Гитлера – Финляндия, Венгрия, Италия и Румыния – были «дамы». Владельцы промышленных концернов, поддерживавших Гитлера – тузы.

На «рубашке» каждой карты Харкевич разместил призыв к солдатам вермахта – сдаваться в плен. Каждая карта могла служить «пропуском» для этой цели.

Надеюсь, мне простят хаотичное построение моих заметок – многочисленные, иной раз лирические отступления и реминисценции, а порой – скачки через годы и десятилетия... Я пишу не для публикации и могу не заботиться об архитектонике. Я сознательно отбрасываю для себя всякие рамки и ограничения, тем более законы ветеранского жанра. В моих заметках нет батальных сцен и гламурных подвигов. Не мой удел – раскрывать окопную правду, – это уже сделали до меня более компетентные люди. Да и в окопах я бывала лишь эпизодически.

Мой рассказ – лишь о том, что я видела и пережила на войне за те два года, что я была на фронте. Рассказ о людях, с которыми свела меня война, об их судьбах. Я могу лишь надеяться, что это будет интересно моим близким.

### **Несостоявшийся адъютант-переводчик генерала Бурцева**

Весна 1944-го года. Холодная весна. Войска нашего фронта рывками продвигались на северо-запад. Мы ехали за ними по белорусской земле. На стоянках развивали работу «среди войск противника».

Я не могла бы сейчас детально прочертить наш маршрут. Я тогда не вела дневника – не потому, что фронтовикам это запрещалось – я об этом запрете даже не знала.

Уж очень много было «стоянок» и разных белорусских деревень.

Деревня Забабуры...

60 лет спустя я не нашла её на карте Белоруссии, которую прислала мне внучка Ленка. Что стало с ней?

В ту холодную весну 1944-го года я в этих Забабурах жестоко простудилась – а, может, это был грипп? – и слегла.

Мне было очень плохо. Болезнь, видимо, дала осложнение на почки.

Я уже жалела, что отказалась от госпитализации.

Тут вдруг застрекотал полевой телефон: меня вызывают в Москву, в 7-й отдел. Срочная командировка!

Наверно, Маркушевич сообщил Брагинскому, что я серьёзно больна.

С большим трудом я поднялась со своего топчана. Люська помогла мне одеться и проводила меня до трапа самолёта.

Самолет ПО-2 доставил меня в Москву...

В родительской квартире я отогрелась, отмылась, хоть в нашей маленькой квартирке на Чистых прудах и не было горячего водоснабжения. И радовалась встрече с родителями.

Наутро на виллисе приехал Брагинский.

– Бурцев хочет назначить Вас своим адъютантом-переводчиком, – сказал он. – Сейчас ему приходится общаться не только с пленными немецкими генералами, но и с союзническими офицерами – американскими, английскими, французскими. Вы знаете эти языки. Но сначала я отвезу Вас в нашу военную поликлинику. Пройдете обследование. Начнёте лечиться. Выздоровеете – зачислим Вас в штат отдела.

– Но...

От моих возражений Иосиф Самойлович отмахнулся. И уже с мягкой, грустной улыбкой сказал:

– Моя мать умерла от болезни почек. Поэтому я не мог допустить, чтобы Вы остались без медицинской помощи...

Обследование, а затем и лечение было завершено в кратчайший срок. Я стала быстро поправляться.

И сказала, что хочу вернуться на фронт.

Генерал Бурцев пожал плечами:

– Что ты там не видела?..

Но неволить меня не стал:

– Хочешь – так поезжай назад!

Иосиф Самойлович огорчился. Я и не сомневалась, что это была его идея – сделать меня бурцевским переводчиком-многостаночником. При этом он, конечно же, переоценивал моё знание английского. Я и тогда знала его плохо и сейчас знаю ненамного лучше.



**Мл. лейтенант С. Тарханова**

Больше всего, конечно, моё решение вернуться на фронт огорчило моих родителей. Мне было жаль их оставлять. Но всё же я уехала.

Надеялась, что мой аттестат, по которому им ежемесячно переводили из моей зарплаты тысячу тогдашних рублей, поможет им жить. Наверно, так и было. Но не всё, как известно, решается деньгами. Справка о том, что я нахожусь на фронте, спасла моих родителей от выселения из квартиры № 23. Наркомлегпром пытался выселить из своего дома всех, кто уже не работал в его системе.

А 7-й отдел – спасибо ему! – на этот раз отправил меня на фронт самолётом...

### Василий Мамонтов

Снова Забабуры... Работы много. Ведут и ведут пленных.

Я сидела за немецкой машинкой. Печатала перевод листовки, которую надо было срочно послать в набор (это, конечно, слишком элегантно сказано – в сущности, надо было просто передать её Пахомычу).

Открылась дверь и вошёл человек.

К нам прибыл новый старший инструктор – капитан Мамонтов.

Мой будущий муж...

Вместе с ним вошли Оля и Надя, Маша и Лена<sup>110</sup>.

Но тогда я их не увидела, наверно, они ещё были обозначены пунктиром...



Софья Тарханова и Василий Мамонтов с дочерью Олей. Август 1946 г.

Мамонтов Василий Михайлович.

Небольшого роста, 25-летний капитан важно курил трубку. Высокий лоб, умные, широко расставленные глаза с грустными пушистыми ресницами, загнутыми вверх, как у девушки.

---

<sup>110</sup> Дочери и внуки автора. В.Ф.



Широкая белозубая улыбка.

Круглое русское лицо обрамляли длинные бакенбарды.

Всё же в свой добродушный облик Василий бессознательно, а может, и сознательно, для важности подпускал крупцу демонического. Ведь как раз перед самым началом войны он сыграл роль Арбенина в лермонтовской драме «Маскарад», поставленной в Библиотечном институте, где он учился, в рамках студенческой самодеятельности.

Возможно, что-то сохранилось в его поведении от этого образа...

Капитан Мамонтов быстро освоил все ипостаси нашей работы.

Мамонтов Василий Михайлович... Он родился и вырос в деревне Щапово Тверской (впоследствии – «Калининской») области в потомственной крестьянской семье.

Его отец Михаил Васильевич был человеком способным и деятельным.

Кстати, первоначально его фамилия была «Мамонов». Соседняя деревня, из которой, вероятно, вышла семья Василия, называлась «Мамоново», и все жители в ней были «Мамоновы».

Сам Михаил Васильевич рассказал мне, что вставил в свою фамилию букву «т» исключительно «красоты ради».

Человек он был не просто грамотный, но и технически одарённый: конструировал сельскохозяйственные машины, облегчавшие крестьянский труд.

Не пил, не курил, не ругался.

В отличие от своего отца – деда капитана Мамонтова, который и пил, и курил, и, как сказали бы теперь, употреблял «ненормативную лексику».

Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах Василий Михайлович Мамонов (дед) оставил свой дом и двор и, передав всё это сыну Михаилу, уехал в Москву, где стал извозчиком.

Время от времени он приезжал к сыну в Щапово, семья садилась за стол есть мясные щи – как это принято было – из одной миски. Дед считал, что мясо в основном предназначается ему, и если кто-то из внуков поспешно вылавливал какой-то кусок для себя, дед тут же больно хлопал его ладонью по лбу. А после еды, опорожнив четвертинку, дед начинал «безобразить». Василий рассказывал мне, что он не раз спрашивал отца, зачем он выставляет dedu водку, когда известно, что будет потом.

Но Михаил Васильевич всегда отвечал:

– Надо уважать родителя.

Подавшись в извозчики, этот родитель в своё время сделал безусловно правильный выбор, когда отдал дом и двор сыну Михаилу. Тот завёл – по тем временам – поистине образцовое хозяйство. Образцовый огород, фруктовый сад. Образцовое содержание скота и домашней птицы. Образцовое пчеловодство.

С пчёлами работал в детстве и Василий...

Его отец, Михаил Васильевич, рассказывал мне, что поначалу жизнь семьи Мамонтовых, казалось бы, складывалась удачно. Он был предельно счастлив со своей женой, белозубой красавицей Надей.

– Мы с ней вместе ещё в школу ходили, со школьной скамьи дружили, а когда поженились, счастливее всех стали.

Василий был их первенец: он родился то ли 25-го декабря 1918-го, то ли 7-го января 1919-го года (точно он не мог сказать). Официально была принята дата 7-го января 1919 г. (смена календаря!).

В самом начале 20-х годов страну охватила эпидемия оспы. Она унесла мать Василия, её младшего сына и новорождённую дочку. Самого старшего

из детей, трёхлетнего Василия, спас какой-то чудо-мазью российский чудо-лекарь.

Спустя два года Михаил Васильевич женился вторично. Его вторая жена, Евдокия Глебовна, родила ему троих сыновей и двух дочерей. Михаил Васильевич страстно любил своих детей, только о них и мог говорить, как какая-нибудь еврейская мама, но всё равно был неутешен:

– Без Нади для меня жизнь – не в жизнь, – признавался он мне.

Хотя отношения в новой семье были хорошие, ровные. Евдокия Глебовна полюбила Василия и всегда хвалила его за трудолюбие и исполнительность.

Позднее к Мамонтовым прибились две одинокие родственницы, и все вместе, включая детей, усердно трудились в хозяйстве.

Василий рассказывал мне, что ему доводилось ходить с отцовскими лошадьми в ночное. На меня это произвело большое впечатление: как московский «рыцарь от письменного стола», я, естественно, знала о «ночном» только из рассказа Тургенева «Бежин луг».

Мамонтовы трудились исправно. Но тут Щапово накрыла коллективизация. Началась ликвидация кулачества «как класса».

У «кулаков», составлявших 20% крестьянского населения России («кулаками» советская власть объявила всех состоятельных крестьян, независимо от того, были ли они и впрямь эксплуататорами и кровопийцами, или нет) и поставлявших в канун 1-й мировой войны 50% товарного зерна, отнимали всё их имущество. Одних расстреливали сразу, других с семьями отправляли в Сибирь.

Мамонтовым «повезло»: у них не было наёмной рабочей силы, трудилась в их дворе только своя семья. Поэтому нельзя было зачислить Михаила Васильевича в «кровопийцы». Но поскольку объём его хозяйства превышал середняцкий уровень, и намного, у него тоже отняли всё имущество и в принадлежащем ему доме оставили его семье всего одну комнату.

Михаил Васильевич стал служить счетоводом в правлении колхоза. Возможно, его комната в бывшем собственном доме удостоилась ранга служебного помещения.

Потому что каким-то образом в ней появилась пишущая машинка, и смысленный 12-летний Василий быстро научился на ней печатать.

Василий прекрасно учился в местной школе, а в 14 лет поступил в районный Библиотечный техникум. В 17 лет он стал редактором Межрайонного радиовещания.

В 1938-м году он поступил в Московский библиотечный институт. И там он учился отлично и, единственный в институте, был удостоен повышенной, «сталинской» стипендии.

Когда началась война, в институте устроили «ускоренный выпуск», и Василий окончил его, проучившись в его стенах всего три года.

Он сразу ушёл на фронт и мыкался в каких-то частях, пока кадровики не догадались направить его на шуйские курсы, где, как известно, готовили работников 7-х отделов и отделений.

В отличие от многих других выпускников этих курсов, Василий хорошо усвоил немецкий язык, разве что говорил на нём, по его собственному признанию, с «матерным» произношением.

Летом 1944-го года началась так называемая «Белорусская операция». Войска нашего Прибалтийского фронта, совместно со всеми тремя «Белорусскими» фронтами, предприняли крупное наступление, прорвали оборону

противника и в конечном счёте освободили всю территорию Белоруссии (это уже к осени) и часть Литвы.

В условиях, когда советские войска окружали то одну, то другую немецкую часть, требовалось, естественно, интенсивное вещание на врага через нашу МГУ. Вообще, это была обязанность нашего нового диктора-переводчика Михаэлиса Ициковичуса, который сменил в этой должности Цехановского.

Но сплошь и рядом на вещание выезжали и мы – капитан Мамонтов и я.

### Ритуал пропагандистской передачи

Ритуал был такой.

Сначала МГУ играла вальс «В лесу прифронтовом» (слова Исаковского, музыка Блантера) – для советских солдат.

С берёз неслышен, невесом,  
Слетает жёлтый лист.  
Старинный вальс «Осенний сон»  
Играет гармонист...

Под этот вальс весенним днём  
Ходили мы на круг.  
Под этот вальс в краю родном  
Любили мы подруг...

Пусть свет и радость прежних встреч  
Нам светит в трудный час.  
А коль придётся в землю лечь,  
Так это ж только раз!...

Вдохновив таким образом наших бойцов, Кентавр – МГУ переходил к следующему номеру программы.

Надо сказать, что немецкие солдаты редко обстреливали нас, пока звучал русский вальс.

Потому что они ждали следующего номера – своего любимого шлягера, исполняемого певицей Лале Андерсен, которая только им и прославилась, – “Lili Marleen” («Лили Марлен»):

Vor der Kaserne, vor dem großen Tor,  
Da stand' ne Laterne, und steht sie noch davor,  
Und alle Leute sollen's sehn,  
Wie wir vor der Laterne steht  
Mit Dir, Lili Marleen,  
Mit Dir, Lili Marleen...

По-русски это можно передать примерно так:

У ворот казармы, у больших ворот,  
Стоял фонарь высокий, и там он до сих пор.  
Пусть люди смотрят – всей гурьбой –  
Как мы стоим под ним с тобой,  
Лили Марлен, с тобой,  
Лили Марлен, с тобой...

Можно бы перевести лучше, но уже не та прыть...

Заканчивалась песня на невесёлой ноте:

А буду я убит судьбой,  
Кто встанет у ворот с тобой?  
С тобой, Лили Марлен,  
С тобой, Лили Марлен...

Und sollte mir ein Leid's geschehn,  
Wer wird vor der Kaserne stehn?

Mit Dir, Lili Marleen,  
Mit Dir, Lili Marleen...

Известно, что Геббельс в какой-то момент запретил исполнение этой песни – за пессимистический конец. Но запрет не возымел действия – такую популярность завоевала среди солдат «Лили Марлен».

Лили Марлен, с тобой,  
Лили Марлен, с тобой...

Как только смолкал последний припев, Василий начинал читать наш текст. Угрожающие интонации получались у него отлично – чёткая русская артикуляция была здесь весьма кстати.

Затем вступала я – с лирической частью. Я читала стихотворение Эриха Вайнерта, присланное нам для озвучивания московским 7-м отделом.

Denk an Dein Kind, soll es einst sagen:  
"Mein Vater ist nicht heimgekehrt,  
Er hat für Schurken sich geschlagen,  
Die unser Vaterland entehrt".  
Denk an Dein Kind!..

Тогда я, по традиции, перевела всё это длинное стихотворение на русский язык стихами, но сейчас могу предложить только подстрочник (как уже сказано выше: не та прыть!).

Подумай о сыне своём,  
Вдруг он скажет потом:  
«Мой отец не вернулся с войны.  
Он сражался за подлецов,  
Опозоривших наше отечество!».  
Подумай о сыне своём!..

Но нас с Василием противник слушать не хотел. Как только смолкала «Лили Марлен», немецкие солдаты, словно вознаграждая себя за долгое бездействие при прослушивании любимого шлягера, принимались яростно нас обстреливать. Мы отъезжали на соседний участок. И продолжали передачу.

Наш с Василием роман (не знаю, чем заменить это пошловатое словечко) начался и развивался в той же самой белорусской деревне со смешным названием «Забабуры», которую 60 лет спустя я даже не смогла найти на подробнейшей карте империи товарища Лукашенко.

Как скрутила меня там болезнь...

Но, как видно, деревне Забабуры, с её полуразрушенными хатами и покосившимися сараями, было суждено повернуться ко мне и другой – романтической – стороной.

Мамонтов Василий Михайлович...

Человек, ездивший в ночное.

Человек, работавший с пчёлами.

Человек из другого мира...

А Забабуры...

Не Венеция, конечно, и не Ницца с её карнавалом и битвой цветов, систематически рекламируемой каждый год и поныне – эмигрантскими газетами.

А всё же и в Венеции, и в Ницце, и в Забабурах светила одна и та же Луна. И те же психологические аксессуары занимали тогда нас, двадцатилетних...

## О протоколах допросов и душевном разговоре о женщинах

7-й отдел «во-фронта» неожиданно прислал нам одного из своих витязей – капитана Семёна Михайловича Утевского.

Это было уже, если не ошибаюсь, на излёте лета, ознаменовавшегося «белорусской операцией».

Семён Михайлович Утевский, шуплый маленький еврей лет тридцати семи – тридцати восьми, был до войны профессором Харьковского университета<sup>111</sup>. Широко образованный интеллигент, он читал там, кажется, все курсы зарубежной литературы – от античной до современной и знал, помимо латыни и греческого, несколько языков.

Всё это внушало мне, недоучке, глубокое почтение.

Утевский явно не стремился к бранной славе: не вызывался в парламентёры, даже не рвался вещать на противника. Впрочем, в этом и не было особой необходимости: Михаэлис Ициковичус, отлично знавший немецкий язык, вполне справлялся со своими обязанностями, да и наш – с Василием – дуэт был всегда готов прийти ему на подмогу.

И листовки профессор писал без особого энтузиазма, и Маркушевич неохотно ему это поручал: они получались у него слишком длинные и вычурные, что называется, «с завитушками» – свойство, противопоказанное жанру.

Василий, да и сам Маркушевич, – вот кто писал самые лучшие листовки: они умело использовали в них свежие оперативные данные и чётко, в сжатой форме, формулировали угрозу. Я же старалась как можно лучше перевести это на немецкий.

Зато Утевский страсть как любил допрашивать пленных, чему поначалу все были рады: в условиях наступления пленных было много. Эти допросы он вёл чрезвычайно деликатно, даже порой обращался к пленному «друг мой» (за что в другом отделении на него непременно написали бы донос).

К примеру:

– Скажите, друг мой, а что Вы думаете о категорическом императиве Канта?

Пленный не знал, что сказать. Но одно он уже успел твёрдо усвоить: ни в коем случае нельзя отвечать советскому офицеру: «не знаю».

И, прокашлявшись, он выпаливал:

– Да, известное дело, категорический императив... Это значит: «Гитлер капут, а война – г...» (“Hitler kaput, der Krieg ist Scheiße”).

Утевский удовлетворенно кивал и неторопливо заносил в протокол допроса:

«Перейдя далее в своих показаниях к рассмотрению проблемы категорического императива Канта, пленный выразительно суммировал свою оценку ситуации: «Гитлер капут, а война – г...» (в скобках то же самое по-немецки).

В другом протоколе можно было прочесть:

---

<sup>111</sup> Семён Михайлович Утевский (1902–1981) — литературовед, кандидат филологических наук, доцент. В.Ф.



«Пленный показал, что солдаты его части в последнее время испытывают сильные страдания. Однако, заявил он, они отнюдь не сродни страданиям молодого Вертера. Почти у всех дизентерия, констатировал он и добавил: “der Krieg ist Scheiße” («война – г...»).

Люська в то время ещё осваивала ремесло машинистки, кроме того, Маркушевич загрузил её секретарской работой. Печатать все протоколы допросов приходилось мне. Львиная доля всех этих сочинений поступала от Утевского, многословных, щедро начинённых его творческой фантазией, да ещё объёмом в 6-7 страниц, т.е. вдвое больше принятого у нас. Мне не хватало дня, и часто приходилось «оформлять Утевского» по ночам.

Было к тому же ясно, что учёный капитан считал всю нашу работу пустым делом и развлекался, как мог.

– Professore, – сказал ему Василий, – Вы перенасыщаете ваши протоколы своей литературоведческой и философской эрудицией, а лейтенанту Тархановой приходится печатать всё это ночью!

– Товарищ старший инструктор, – неуступчиво возражал Утевский, – лейтенант Тарханова, видимо, жаждала подвигов, – иначе она не подалась бы на фронт добровольно. Вот я и предоставляю ей эту возможность!

Тут, однако, и я решила проявить неуступчивость, хоть профессор и был послан нам сверху:

– Товарищ капитан, впредь я буду принимать у Вас протоколы только объёмом в 2-3 страницы, как у всех!

– Как Вы разговариваете со старшим по званию...

На другой день Утевский принес мне очередной протокол. Я прочитала:

«Анализируя истоки развязанной Гитлером войны, пленный сознательно игнорировал мораль германского эпоса о Нибелунгах, за свою агрессию наказанных судьбой...».

Объём сочинения – 7 страниц.

Я молча вернула профессору его текст.

Он пошёл к Маркушевичу – жаловаться.

– Семён Михайлович, – сказал ему Маркушевич, – поймите, у нас здесь не контора, а походное отделение. Может быть, лучше отсылать ваши протоколы фельдъегерем в Ваш 7-й отдел?

Оба прекрасно понимали, что это невозможно: им обоим изрядно досталось бы за это от начальства.

Я не думаю, что Утевский всерьёз хотел мне непременно досадить. Просто наш конфликт, видимо, вписывался в общий игровой контекст его фронтового бытия.

В один из последних вечеров, когда мы ещё могли располагаться в домах, пусть даже в одном-единственном доме, как в тот вечер, о котором я хочу рассказать, наши мужчины разомлели от усталости и выпитого чая и затеяли что-то вроде посиделок.

Капитан-профессор завёл разговор... о женщинах.

Михаэлис Ициковичус рассказал, как прекрасна была его невеста, погибшая в вильнюсском гетто.

После этого все как-то смолкли.

Белокурый миловидный Мартынюк молча улыбался своей мягкой улыбкой. Он вновь и вновь поражал меня своим сходством с моим отцом. Конечно, черты его лица были мягче и изящней, чем у папы, но сама структура лица... короче, это была всё та же матрица, которая так часто просматривается у мужчин на Украине...

Старший инструктор Мамонтов тоже молчал и демонически курил трубку. Ну, чисто лермонтовский Арбенин...

Впрочем, после того, как наши мужчины, вслед за чаем, приняли по шкалику водки, Василий вышел из классического образа и пропел свою любимую песню, видимо, подхваченную ещё в студенческих компаниях Библиотечного института:

Есть в Батавии маленький дом  
На окраине в поле пустом,  
И в том доме в двенадцать часов  
Китаец-слуга снимает с дверей засов...  
И за тенью является тень,  
И скрипит под ногами ступень,  
И дрожит перепуганный мрак  
От звуков возни, скандалов и пьяных драк.

Дорога в жизни одна,  
Ведёт всех к смерти она,  
И счастлив тот, кто с каждой минутой  
Выпьет её до дна.

Дорога в жизни одна...  
Из-за пары растрёпанных кос  
С ободранцем подрался матрос,  
И три тела сплелися, дрожа,  
И сталью блеснул удар ножа...  
Захлебнулся отчаянный стон,  
Содрогнулся бандитский притон,  
А над телом, бледнее, чем мел,  
Убийца плясал, кричал и громко пел:

Дорога в жизни одна... (и т.д.)

Дорога в жизни одна...

Всем эта истина известна, но никому не хочется об этом думать.

Тем более на фронте, где эта дорога пролегает так близко.

Снова притихли все.

Ещё по шкалику пропустили.

Один Утевский распетушился:

– Да, женщины... Соль жизни нашей. Женщины – опасные существа. Их надо атаковать!

Разумеется, я не говорю о присутствующих (взгляд в сторону плащ-палатки, традиционно закрывавшей наш с Люськой уголок). Присутствующие не в счёт!

Ваша Люся – добрая провинциальная хозяйка<sup>112</sup>. А Соня – вообще не женщина, а школьница. Ей бы в университет поступить и там сидеть на моих лекциях, а не ошиваться на дорогах войны. И вообще: женщина начинается с тридцати лет...

– Бальзак – наоборот<sup>113</sup>, товарищ профессор? – рассмеялась я.

Утевский:

– Смотрите, смотрите! Оказывается, наша школьница уже успела прочитать «Тридцатилетнюю женщину» Бальзака! Похвально, очень похвально!.. Но мы отвлеклись от предмета нашей беседы, то есть от женщин... Так вот, однажды у меня была такая встреча...

---

<sup>112</sup> После войны «провинциальная хозяйка» окончила в Алма-Ате исторический факультет и, защитив диссертацию, стала кандидатом исторических наук. С.Т.

<sup>113</sup> Героиня бальзаковского романа, как известно, считала тридцатилетний возраст неким роковым рубежом в жизни женщины – концом молодости, красоты и любви. С.Т.

И Утевский начал рассказывать о своём знойном романе с замужней женщиной, женой знаменитого актёра.

Знойный роман профессора не заинтересовал нас с Люськой, и мы уже начали засыпать, как вдруг в этот разговор о женщинах вступил Маркушевич.

– А я... – начал он.

Но распетушившийся капитан дерзко прервал его:

– Простите, товарищ майор, но я думаю, эта тема – женщины и так далее – для Вас уже в прошлом!..

Маркушевич как-то сразу резко сник, растерялся.

Начал беспомощно возражать:

– Отнюдь нет! С чего Вы взяли? Я... и да! И вообще!..

Мы с Люськой за плащ-палаткой давились от смеха.

Хотя нам, конечно, было жалко нашего майора.

А он огорчился, как ребёнок.

Всем стало неловко, и вечер на этом кончился.

Все разошлись по топчанам...

### Потери

В последующие дни о них – то бишь о топчанах – пришлось забыть. Войска нашего фронта сделали очередной рывок, и наша полуторка, с личным составом 7-го отделения и производственным скарбом на борту – снова понеслась вслед за наступающими на северо-запад.

Там, где мы ночевали на первых порах, домов уже не было. Были болота. И в просветах между ними землянки. Вернее, не землянки, а прекрасно оборудованные немецкие бункеры.

Там мы и жили, там и спали на нарах.

Но тут сразу начались потери. Первым выпал из гнезда Утевский. Не знаю, сделал ли это 7-й отдел фронта по собственной инициативе – в момент наступления обычно полагалось укреплять отделение, а не щипать его кадры, – но «во-фронт» срочно отозвал капитана к себе.

Или, может, сам Маркушевич попросил «во-фронт» избавить нас от докучливого профессора...

Короче, Утевский уехал.

О его дальнейших приключениях я узнаю позже, сразу после войны...

А тогда... Судьба не замедлила забить второй шарик в лузу наших потерь. Заболел Маркушевич.

Видимо, он простудился, ночуя в прекрасно оборудованных немецких бункерах, и его скрутил ревматизм. Да так сильно, что он сразу слёг, тихо стонал от боли и не мог пошевелиться. За ним приехали, на носилках внесли его в санитарную машину и увезли в госпиталь.

К нам он не вернулся.

Утевский...

Маркушевич...

Но в бильярде для карамболя – а судьба со всей непреложностью устроила нам карамболь<sup>114</sup> – требуется третий шарик.

Этим третьим шариком оказалась я. Не то, чтобы я совсем провалилась в лузу потерь, но всё же я на какое-то время практически выбыла из строя.

---

<sup>114</sup> **Карамболь** – в бильярде: удар, при котором шар совершает последовательное соударение с двумя прицельными шарами. В.Ф.

Я уже писала, что оставленные немцами бункера располагались в болотистой местности, кишевшей комарами. Короче, я схватила там малярию.

Наша полуторка мчалась на запад, из Белоруссии прорываясь в Латвию, а я лежала в ней на каком-нибудь матраце, в жару и почти в беспамятстве. На очередном привале друзья бережно вынимали меня из кузова и под руки вели в дом, если, конечно, такой сохранился после боёв...

Помню, что где-то, уже на латвийской земле, я лежала в каком-то сарае на соломе или, может, на сене, и Василий с Люськой попеременно носили мне питьё.

Сутки меня трепала лихорадка, но в последующие два дня я была почти здорова и, преодолевая слабость, выполняла привычную работу. Но на третий день всё начиналось сначала.

Приехал военврач, хотел увезти меня в госпиталь, но я отказалась. Он взял с меня расписку, что я предупреждена о возможных последствиях отказа (летальный исход!), но, уезжая, оставил мне акрихин.

То ли, и впрямь, этот акрихин меня спас, то ли спасительной была перемена места. Ведь мы всё время ехали на северо-запад.

Последний приступ случился у меня в городе Даугавпилсе. На этот раз я даже лежала не на соломе в сарае, а на диване во вполне благоустроенной комнате полуразрушенной виллы.

Словом, я выздоровела. Осунулась, отощала, но – выжила.

В Даугавпилсе мы остановились всего на одну ночь. Поехали дальше. И впредь располагались лишь на латышских хуторах.

По обыкновению мы отдавали хозяевам наших «рузвельтов», а они в обмен снабжали нас молоком и картошкой.

Каждый вечер мы с Люськой вдвоём начищали ведро картошки, чтобы на другой день сварить её и кормить этим самым главным блюдом наших мужчин.

Как-то раз я отправилась за картошкой на соседний хутор. Не знаю, зачем это понадобилось, возможно, на «нашем» хуторе иссякли запасы.

Возвращаясь от соседей, я уже на подходе к дому встретила Люську. Она подхватила ведро и напустилась на меня:

– Больше никуда тебя не пушу, хоть ты и лейтенант!

– Это почему же?

Нехотя Люська рассказала, что в моё отсутствие к ней явились латыши и стали спрашивать:

– Почему у вас тут еврейка разгуливает? Почему она вообще ещё жива?

Люська объяснила, что в Советском Союзе, как известно, все национальности равны и, стало быть, в советской армии тоже.

Но этот ответ не удовлетворил пришельцев. Они сказали: при прежнем начальстве (т.е. при немцах) всем было велено сразу же сообщать, если вдруг в округе попадётся кто-то, похожий на еврея. Таких сразу задерживали и отправляли куда надо...

Люська сказала:

– Не смей никуда ходить! Понимаешь: они рады были доносить. Такие убить могут.

Милая, верная Люська...

На место Маркушевича прислали майора Мосякова. Он был человек вполне толковый, но при этом плут и хитрец. Больше всего он любил ордена и баранов.

Когда только позволяла обстановка, он приглашал к себе на ужин начальство. Для этого на каком-то из хуторов покупался барашек, и нам с Люськой вменялось в обязанность зажарить его для гостей.

Поначалу мы не смели ослушаться и кое-как нехотя справлялись с заданием. Поздно вечером приходили гости, если не ошибаюсь, начальник политотдела и начальник отдела кадров. Чертыхаясь в душе, мы сервировали стол. К барашку сам Мосяков подавал напитки.

После трапезы мы убирали и хотели ретироваться, но нас не отпускали. Мосяков заводил трофейный патефон, и нам было велено танцевать с гостями фокстрот.

Танцевать мы обе любили, да только не с начальством и не по приказу. После двух фокстротов мы всё равно скрывались за нашей спасительной плащ-палаткой и укладывались спать.

Сквозь сон мы слышали, как Мосяков выпрашивает у начальства новые награды. Зачем ему требовалось столько орденов – и так у него уже было их несколько штук – мы не понимали. Наверно, он полагал, что они пригодятся ему в мирное время, после войны.

Так или иначе, эти барашковые оргии нам надоели. Презрев субординацию и всё такое, мы взбунтовались. Сказали, что жарить этих бедных животных мы больше не будем.

Мосяков смирился с нашим отказом. Но барашков по-прежнему покупал, нашёл кого-то, кто умел их приготовить, и перенёс пиршества с гостями в другой дом. Мы были очень довольны.

Кажется, тогда-то Мосяков и осознал необходимость выписать повара, который, кстати, полагался отделению по штату.

И он прибыл... правда, в тот самый день, когда я из отделения выбыла...

### Куриный семинар Утевского

А что же стало с Утевским?

Уже после войны кто-то из сослуживцев, оказавшихся в Москве проездом<sup>115</sup>, зашёл меня навестить и в подробностях рассказал мне следующее.

Кончилась война. 7-й отдел Политотдела нашего 1-го Прибалтийского фронта разместился в нескольких домах небольшого городка – не помню лишь, в Латвии это было, или уже в Восточной Пруссии.

Новый начальник 7-го отдела Бродский<sup>116</sup>, сменивший презервативного полковника, ежедневно проводил совещания. Речь шла о том, как теперь вести работу среди населения недавнего противника.

Каждый из офицеров отдела высказывал своё мнение.

И Утевский тоже высказывал...

Не знаю, что он говорил по существу дела. Любопытно другое: он характеризовал семиотдельское совещание, как собрание сотрудников университетской кафедры зарубежной литературы. При этом он идеально соблюдал табель о рангах. Начальника 7-го отдела он называл «уважаемый

---

<sup>115</sup> Задним числом я не столько вспомнила, сколько сообразила, что о куриных семинарах профессора Утевского мне, конечно же, рассказал майор Маслов, ленинградский лингвист, германист. Только филолог мог запомнить столько деталей из тех профессорских лекций. С.Т.

<sup>116</sup> После войны доктор исторических наук, профессор **Ефим Аронович Бродский** изучал проблемы истории антифашистского Сопротивления. Например, в книге «Славная традиция пролетарского интернационализма (Немецкие антифашисты в борьбе с гитлеризмом)» – М.: Мысль, 1980 – 279 с. рассказано о том, как протекал процесс политического перевоспитания обманутых нацизмом людей. В.Ф.



декан», руководителей секторов именовал «профессорами», а остальных офицеров – «старшими преподавателями».

Подполковник Бродский, интеллигентный человек, впоследствии написавший книгу об антигитлеровском заговоре 20-го июля 1944-го года, хоть и обладал дозированным чувством юмора, всё же не мог допустить такого комедийного действия.

Он не раз строго выговаривал Утевскому, грозил доложить о его поведении самому высокому начальству:

– Перестаньте паясничать, капитан!

Но Утевский не унимался.

Далее события развивались ещё более удивительным образом.

С некоторых пор Утевский взял привычку по утрам выходить из занимаемого им дома с большим куском хлеба в руках.

Усевшись на пень посреди двора, он начинал созывать... кур. Впрочем, они уже и сами сбегались к нему со всех сторон, видя, что он щедро рассыпает хлебные крошки.

– Семинар по западноевропейской эпической поэзии объявляю открытым! – провозглашал Утевский. – Рад констатировать высокую посещаемость!

И с ходу продолжал:

– В свете данной конкретной политической обстановки обращение к известному германскому средневековому эпосу, к «Песне о Нибелунгах», приобретает особое значение. Это сказание, созданное в 13-м веке и претерпевшее впоследствии различные редакции и толкования, в конце 18-го века уже обрело статус германского национального эпоса *par excellence*...

– Куд-кудах-куд-куд! – прервала его тут большая курица, которой он бросил очередную щедрую порцию крошек.

– Ах, простите! – спохватился Утевский. – Вы, видимо, хотите спросить, что означает это французское выражение «*par excellence*»? А перевести его можно примерно, как «по преимуществу», «в первую очередь». Я забыл, что современные студенты филологических факультетов, как правило, не знают французского языка.

И продолжал:

– Психологические архетипы в «Песне о Нибелунгах», проступающие в эпосе, со всей очевидностью легли в основу нацистской идеологии. Зигфрид, герой-победитель, как бы становится прототипом Гитлера...

Кто-то из офицеров 7-го отдела, с изумлением наблюдавший за этой сценой, тронул Утевского за плечо:

– Послушайте, капитан, что за забава! Пойдём работать!

– Прошу Вас не мешать! – огрызнулся Утевский. – Мы ещё даже не подошли к раскрытию темы! Я буду жаловаться декану!

В другой раз капитан-профессор будто бы с особой торжественностью объявил своей куриной аудитории:

– Успех предыдущего семинара обязывает нас вновь обратиться к проблеме западноевропейской эпической поэзии. Истоки европейского героического эпоса обнаруживаются уже в гомеровских поэмах «Илиада» и «Одиссея», созданных в VIII веке до нашей эры...

– Куд-кудах! Куд-кудах! – вдруг выскочила вперёд самая активная курица-студентка.

Утевский бросил ей горсть хлебных крошек:

– Я понял Вас. Вы совершенно правы! Вы затронули пресловутый гомеровский вопрос: был ли Гомер историческим лицом, как утверждают учёные-

унитарии<sup>117</sup>, или «Илиада» и «Одиссея» – плод коллективного творчества просодов<sup>118</sup>, как полагают так называемые аналитики. К примеру, известный немецкий исследователь Ульрих фон Виламовец-Меллендорф...

– Куд кудах!

Куд кудах!

Куд кудах!..

Не знаю, сколько семинаров ещё провёл капитан-профессор. Рассказывали, что долготерпение его начальства кончилось, и его направили в психиатрическую больницу, не для лечения, потому что никто не верил, что он болен, а для обследования, чтобы изобличить его, как симулянта.

Дальше его следы теряются.

Надеюсь, что ему удалось добиться своей цели – демобилизации – и вернуться к своим любимым лекциям и семинарам – уже не для кур.

### «Сионистские происки» Цехановского

Спустя несколько лет после войны, сразу же после возвращения нашей семьи из Берлина, где мы с Василием работали в Бюро информации Советской военной администрации (Василий был в последние месяцы начальником этого учреждения, я – рядовым редактором), к нам приехал полковник Брагинский. Он был чем-то очень взволнован и расстроен.

– Сонечка, когда ты в последний раз видела Цехановского? – чуть ли не с порога спросил он меня.

– В конце 1943-го года, на фронте, когда он прощался с нами, его коллегами по 7-му отделению 4-й Ударной Армии. Его ведь к нашему большому огорчению, забрали у нас – откомандировали в другую воинскую часть. А почему Вы спрашиваете?

Я знала, что Цехановский тоже работал в одном из отделов СВАГ в Берлине<sup>119</sup>, но мы с ним там ни разу не встречались.

Иосиф Самойлович рассказал: Цехановский был уличён в «сионистских происках». Его арестовали товарищи в сером, неотступно следившие

---

<sup>117</sup> Унитарии рассматривают догмат троичности Бога как искажение христианства, верят в единого Бога и считают Иисуса просто человеком. Они воспринимают Иисуса как одного из великих учителей человечества и верят в возможность человека достичь спасения. В.Ф.

<sup>118</sup> В качестве синонимов термина **просод** словари предлагают «процессия, шествие, кортеж». В.Ф.

<sup>119</sup> В разделе «Краткие биографии руководящего состава СВАГ»

(statearchive.ru/assets/files/Svag\_sprav/08-r04.pdf) содержатся следующие справки:

Цехановский Рафаил Лазаревич (1918 - ?) – кап. Еврей. В компартии с 1943 г. В РККА с 1940 г. Окончил 3 курса института. С 1 августа 1945 г. – корреспондент-организатор Отдела внутригерманской информации редакции газеты «Тэгглихе Рундшау». С 11 октября 1946 г. – нач. отдела корреспондентской сети газеты «Тэгглихе Рундшау». Эта газета, в то время единственная в Берлине, помещала фотоснимки развалин, сопровождая их словами Гитлера 1935 года: «Через десять лет Берлин станет неузнаваем». Спустя 10 лет: страшный, мёртвый город. (<http://www.proza.ru/2013/11/24/1245>).

Мамонтов Василий Михайлович (1918 - ?) – майор. Род. в дер. Щапово Зубцовского р-на Калининской обл. Русский. В компартии с 1942 г. В РККА с 1941 г. Окончил Московский библиотечный институт в 1941 г., 7-месячные специальные курсы ГПУ РККА при Военном институте иностранных языков в 1943 г. С 1 июля 1945 г. – нач. Отдела международной информации Бюро информации СВАГ. До 31 мая 1948 г. – нач. Отдела контрпропаганды по международным вопросам Бюро информации СВАГ. С 31 мая 1948 г. – зам. нач. Бюро информации СВАГ. В.Ф.

за всеми нами, работниками СВАГ, после бегства корреспондента Бюро информации Ольшвангаса<sup>120</sup> на Запад.

После долгих допросов его усадили в поезд и отправили в Москву – под конвоем.

«Сионистские происки»... Видно, Рафу арестовали по чьему-то доносу.

В довоенной Риге он возглавлял еврейскую самооборону: молодые смелые парни успешно защищали еврейские семьи от налётов местных черносотенцев.

Кто же донёс на него? Не те ли, от кого он тогда защищал соплеменников? Единомышленники тех, кто приходил к Люське на хутор спрашивать, «почему ещё жива еврейка»? Тех, кто сейчас устраивает в Риге парады эсэсовцев?

Арестованный Цехановский знал, что его ждёт.

Когда поезд уже подъезжал к Москве, он вырвался из «объятий» конвоиров, выпрыгнул из вагона и бросился под встречную электричку.

Рафа...

### Демобилизация

Осенью 1944-го года 7-й отдел фронта забрал у нас капитана Мамонтова, о чём искренне жалели все коллеги.

Саша Третьяков повёз его в «во-фронт». Мне было дозволено проводить Василия. По дороге мы заехали в ближнюю литовскую деревню и в тамошнем волостном совете зарегистрировали наш брак.

Когда мы прибыли в 7-й отдел, новые сослуживцы Василия – литовец Витаутас Гирджюс и белорус Аркадий Тарасенко – заявили, что надо отметить событие и выставили нам водку. У нас нашёлся хлеб и неизменный «рузвельт».

Все выпили, кроме меня, конечно, да и Саша Третьяков только пригубил: ведь ему предстоял долгий обратный путь.

Василий быстро подружился с двумя старожилками отдела. Однако тот тройственный союз сыграл злополучную роль в его судьбе.

Он старался пить наравне с ними, что было трудно. Сын белорусского народа Тарасенко, как и сын литовского народа Гирджюс (так они любили себя называть) были двухметровые великаны, с какими никак не мог соперничать (в выпивке) невысокий сын великого русского народа Мамонтов.

Но я уехала тогда без дурных предчувствий...

Мы прожили вместе одиннадцать лет, но в 1955-ом году развелись. Развод этот был неизбежен.

Прошло несколько месяцев... Я покинула 7-е отделение, где проработала два года, и бесславно уволилась из армии по беременности.

Майор Мосяков с удовольствием вычеркнул моё имя из списка представленных к награждению очередным орденом.

Саша Третьяков повёз меня в Ригу. Но по дороге в столицу Латвии наша полуторка из-за распутицы перевернулась.

– Прыгай! – только и успел мне скомандовать Третьяков (в такой момент было не до субординации).

Я прыгнула и благополучно плюхнулась в мокрый снег. Потом долго топталась в нём, пока Саша Третьяков бегал по округе в поисках подмоги: вытащить машину из осевшей жижи он – один – не мог.

---

<sup>119</sup> В Интернете промелькнуло сообщение (<http://www.proza.ru/2009/11/08/1465>) о записке на имя Маленкова о результате расследования обстоятельств измены Родине Ольшвангасом, хранящейся в Центре хранения современной документации (Москва, ул. Ильинка, 12). В.Ф.

А Василию подполковник Бродский поручил сопроводить в Москву симпатичного перебежчика – австрийца Франца. Само собой, это задание должно было предоставить ему возможность проводить в Москву меня. Думаю, что и на этот раз дело не обошлось без благодетельного вмешательства Брагинского.

Мы должны были состыковаться где-то на подходе к Риге, но из-за нашего дорожного происшествия мы с Третьяковым изрядно задержались, и Василий уже не знал, что и думать (Василий с Францем на отдельской машине прибыли в условленный пункт много раньше нас).

Наконец, стыковка состоялась. Василий с Францем впрыгнули в кузов нашей полуторки, и Третьяков повёз нас на вокзал.

Поезд Рига – Москва уже тронулся и медленно полз вдоль перрона. Втроём мы еле успели вскочить в вагон. Но всё же успели...

Моё бесславное, но при том весёлое, возвращение домой уже описано в предыдущих моих заметках.

В Москве, в доме № 12а на Чистых Прудах, мы поднялись на пятый этаж и позвонили в дверь квартиры № 23, откуда я два года назад ушла на фронт.

Родители встретили нас радушно, накормили и (в крохотной квартирке!) уложили спать.

Утром Василий отвёз Франца на Арбат, в 7-й отдел ГлавПУРа, откуда его, наверно, отправили в Антифашистскую школу.

В ЗАГСе на Кировской (Мясницкой) улице мы вторично зарегистрировали наш брак: свидетельство из литовской деревни московские инстанции признать отказывались.

Едва успев познакомиться с моими родителями, Василий снова отбыл на фронт.



**И.С. Брагинский, Х.Н. Дриккер, В.М. Мамонтов и С.А. Тарханова**

Снимок, на котором мы запечатлены вчетвером – Иосиф и Хана Брагинские и мы с Василием – сделан накануне его отъезда в марте 1945-го года.

Со своим 7-м отделом Василий дошёл до Берлина и по окончании войны стал работать в Бюро информации Советской военной администрации Германии – своего рода мини-ТАССе.

Итак, в марте 1945-го года я вернулась домой, в квартиру номер 23 в доме номер 12а по Чистопрудному бульвару.

Демобилизация. В Райвоенкомате мне велели сдать оружие – маленький немецкий маузер, с которым я прошла всю войну.

Слава Богу, я никого не ранила, не убила, даже не сделала ни одного выстрела, кроме, разумеется, обязательных тренировочных.

### О моём вкладе в «незамутнённый» праздник Победы

9 мая я отправилась на Главный почтамт на Кировском (теперь там биржа) – получить посылку, которую выслал мне из Берлина Василий.

Он писал, что эти старинные немецкие книжки валялись в канаве. Василий не выдержал: пожалел их, подобрал и послал мне.

Работница почтамта, выдавшая мне растрёпанную посылку, вздохнула:

– Господи, жена на сносях, босая, а он книги шлёт, да ещё чудные какие-то...

Я, и правда, была на сносях – через несколько недель родится Оля. Папа, за счёт очередной мучительной поездки на Калужскую к своему профсоюзному начальству, раздобыл мне ордер на платье (до этого Оля ютилась под гимнастёркой), а на обувь ордера получить не смог.

И тапочки, которые я обула (другой обуви, кроме кирзовых сапог номер сорок три, у меня не было), скоро запросили каши, а на подходе к почтамту и вовсе расплзлись по швам.

С книгами подмышкой, в приличном (по тем временам) платье, но совершенно босая, я шагала по Чистопрудному бульвару к Покровским воротам, готовая вот-вот свернуть к дому номер 12а...

На бульваре шумел праздник, – ведь это был день окончания войны, длившейся четыре года, день Победы! Из репродукторов гремел торжествующий голос Левитана. Люди сбегались на бульвар отовсюду, обнимались, целовались, плакали, кто-то плясал...

9-е мая 1945 года...



9-го мая 2005-го года, спустя 60 лет после только что описанного Дня Победы на Чистых Прудах, мне позвонила из Москвы сюда, в тихий провинциальный городок Фульда, моя милая старшая племянница Наташенька Ткач<sup>121</sup>.

– Поздравляю Вас, Сонечка, участницу минувшей войны, с Днём Победы!  
– сказала она. – Ведь это единственный оставшийся нам незамутнённый праздник!

Незамутнённый?..

<sup>121</sup> Наташа Ткач (Файн), моя старшая дочь. В.Ф.



Последние дни, недели моего фронтового бытия прошли в непрерывном движении: наша семиотдельская полуторка мчалась вслед за наступавшим войскам по дорогам Латвии, как некое подобие гоголевской «птицы-тройки»...

Тут мне могут сказать: «Фи! Образ явно завышен!».

Но ведь если сам Гоголь мог сравнить с «птицей-тройкой», символизирующей Русь, чичиковскую бричку, с ленивым Селифаном на облучке, – то наша третьяковская полуторка уже во всяком случае не хуже...

Итак, мы мчались по дорогам Латвии.

Мы не видели боёв, но запах смерти – не в переносном смысле, а в прямом! – стоял повсюду.

Смерть окружала нас, как тяжёлый туман, и мы проносились сквозь неё. Да, я не видела боёв. Но видела трупы. Много трупов.

В должной ли мере вспоминают о тех, кто отдал свою жизнь за победу над врагом, в День Победы?

Нам всем нужна **одна победа**,

...Мы за ценой не постоим...

Справедливо упрекали уважаемого мэтра Булата Окуджаву за эти слова...

А как мы «вдохновляли» наших бойцов в вальсе, который всегда играла для них наша МГУ перед очередным вещанием на противника:

«А коль придётся в землю лечь,

Так это ж только раз...»

Мол, какие пустяки...

И песня Окуджавы, и вальс Блантера-Исаковского отразили (надо полагать, против воли их авторов) общее преступно пренебрежительное отношение советского государства к жизни солдата.

Вернувшись с фронта в Москву, я поняла, что прошла войну, можно сказать, в тепличных условиях. Я не видела настоящих боёв, не выносила раненых с поля боя, как девушки-санитарки, даже сама избежала ранения, сколько бы противник ни обстреливал нас во время вещания.

И какие бы тяготы ни выпадали на долю семиотдельцев – не всегда я летела на третьяковской «птице-тройке» по сравнительно гладким дорогам Латвии, а часто трюхала в моих кирзовых сапогах номер 43 по белорусским колдобинам, – всё это не могло сравниться с участием рядовых солдат, сокрушивших врага.

Словом, эти мои заметки настоящему фронтовику показались бы записками «барышни», как помнится, называл меня мой горе-рупористик...

Но, как уже сказано, что было, то было...

Какие массированные средства были пущены в ход семиотдельской пропагандой: листовки, московские, фронтовые и наши, армейские, вещание через Мощную говорящую установку, рупорные передачи, наконец, даже пропагандистские колоды карт, изобретённых художником Иваном Харкевичем, которые могли служить пропуском для немецких солдат, желающих сдаться в плен... Какую отвагу проявляли мои фронтовые коллеги, особенно Немчинов и Володя Шейнцвит (в 20 лет отдавший свою жизнь за то, что почитал своим патриотическим делом), Рафа Цехановский и Шлоссер... И Василий Мамонтов...



### Удостоверение участника войны

Выслушав мой короткий сбивчивый рассказ о моей фронтовой эпопее, наш дорогой немецкий доктор и лучший друг Дитер сказал:

– Объективно вы сообща делали доброе дело: кому-то из русских, кому-то из немецких солдат спасли жизнь!

Июнь 2006 г., Фюльда.

## Об Иосифе и Хане Брагинских

### Полковник извинился перед девчонкой

Весной 1942-го года я вернулась в Москву из города Свердловска (ныне Екатеринбург), куда нам с папой – по приказу ВЦСПС – пришлось эвакуироваться в печально известный день 16 октября 1941 года<sup>122</sup>. Для того, чтобы я могла вернуться в столицу, меня должна была вызвать туда на работу какая-нибудь солидная организация. Кажется, папа ещё по загранработе был знаком с Мануильским – так, благодаря этому знакомству и, конечно, знанию языков, меня взяли на работу в 7-й отдел Главного политического управления Красной Армии – «отдел по работе среди войск и населения противника».

Меня назначили на скромную должность архивариуса. Архив помещался в большой холодной комнате с металлическим полом. Сюда каждый день привозили мешки с разного рода трофейными документами – текстами приказов немецкого командования, распоряжений отдельных командиров, фотоснимками и пр. Но больше всего было писем – писем жён и невест немецких солдат, неотправленных писем самих солдат и офицеров – то ли убитых, то ли взятых в плен. Я должна была разбирать все эти бумаги, которые доставляли сюда со всех фронтов, докладывать начальству о наиболее интересных материалах: они затем использовались в листовках и звукопередачах, обращённых к немецким солдатам. Им объясняли преступный характер затеянной Гитлером войны и призывали их переходить на сторону Красной Армии. Первейшей моей обязанностью было составление обзоров писем. Переводила я также – на русский – тексты листовок, написанных немецкими писателями-эмигрантами – Вольфом, Бределем и другими, особенно стихи Эриха Вайнерта – также в стихах. Последним обстоятельством я немножко гордилась, но мои начальники – полковники и подполковники – однажды похвалив переводы, в дальнейшем привыкли к этой практике и нипочем не приняли бы у меня из рук подстрочника.

А переводить немецкие тексты листовок на русский надо было потому, что, как всегда и всюду в советском истеблишменте, высшее начальство не знало языков.

Зато хорошо знали немецкий в 1-м, немецком отделе 7-го отдела, который возглавлял полковник Брагинский. Это был главный, творческий отдел: здесь писались листовки, которые затем разбрасывались над фронтом – расположением немецких войск.

Работы у меня было очень много: мешки, мешки, мешки... Каждый день я приходила в своё железное логово в половине девятого утра, а уходила то в десять, то в одиннадцать вечера, а то и далеко за полночь. 7-й отдел располагался в небольшом двухэтажном особняке на углу улицы Фрунзе и Гоголевского бульвара, у Арбатской площади, и, презрев комендантский час, я спокойно шла пешком через весь тёмный притихший город к себе на Чистые Пруды, в квартиру с выбитыми стеклами. Меня редко задерживали и, увидев удостоверение архивариуса 7-го отдела, тотчас отпускали.

Мне тогда только что исполнилось 19 лет.

Работать мне было интересно, и я очень старалась всё успеть (что заведомо было невозможно).

---

<sup>122</sup> В этот день над Москвой нависла реальная угроза захвата гитлеровцами. В.Ф.

Как-то раз в мой железный архив зашёл полковник Брагинский и попросил выдать ему одну из хранившихся у меня папок с документами. Я этого сделать не смогла: один из подполковников взял её у меня накануне и не вернул. Иосиф Самойлович (впрочем, никто **там** тогда не называл его по имени и отчеству) очень рассердился и даже накричал на меня, хотя, видит Бог, я ни в чём не была виновата. Накричал он не очень страшно, но я всё равно очень огорчилась, потому что уважала «накричателя».

Через 10 минут полковник Брагинский вернулся. Я молча протянула ему папку, которую тем временем успела вызволить. Папку полковник взял. Но дело было не в этом: он пришёл извиниться. Извиниться перед 19-летней девчонкой без всяких регалий... Не всякий сделал бы это.

С этого дня мы с ним подружились.

Возможность проявить обо мне заботу представилась ему очень скоро. Как-то раз я шла по коридору служебного здания и... упала. Когда я очнулась, я увидела над собой головы подполковников, полковников и прочих майоров. Я хотела встать, но кто-то закричал:

– Не трогайте её!

По лестнице взбежал молодой человек в белом халате. Не позволяя мне подняться, он торопливо заглянул мне в глаза и в рот, проверил пульс и тут же заявил:

– Всё ясно! Голодный обморок!

И тут же, обратясь к подполковникам, закончил уже с укором:

– Что же вы, товарищи офицеры, одну отощавшую девчонку не можете прокормить?

Этот молодой врач скорой помощи не ушёл, пока мне не выписали направление в офицерскую столовую. Я же устыдилась случившегося и уползла к себе в железный архив. Я ведь голодала уже около года.

Но именно полковник Брагинский, к счастью, не присутствовавший при этом эпизоде, добился того, что мне заменили разовое направление в офицерскую столовую постоянным пропуском. Только тот, кто пережил голод, поймёт, что это тогда означало.

### Немецкий отдел

Иосиф Самойлович руководил всей работой по изданию листовок для немецких солдат, в том числе соответствующей работой немецких писателей-антифашистов, частых посетителей моего железного логова. В его голове беспрерывно рождались новые идеи. Так, он в своё время организовал хорошо известный впоследствии Национальный Комитет «Свободная Германия». Его немецкий отдел был мозговым центром так называемой работы среди войск противника. Другое дело, что плоды всех этих гигантских усилий поначалу были невелики: немецкие солдаты сдавались в плен только в отчаянных ситуациях. А уж перебегали на сторону русских совсем редко. Причина была одна: они смертельно боялись советских солдат, советского режима, боялись, что их отправят в Сибирь. И многих, действительно, отправляли... И многие там погибли.

Другим повезло: они и в плену встретили добрых русских людей.

В прошлые годы уже здесь, в Фульде, в Германии, в русский курс при Народном университете, ко мне приходили участники той войны, мои сверстники или даже старше, приходили *оживить* свои знания русского языка, потому что сохранили добрые воспоминания о русских людях.

Впрочем, эти знания были не столь велики. Они ограничивались набором матерных выражений и редкими словами, такими, как *давай, поехали!* (в смысле: *выпьём*) и *украли*. Но само стремление *оживить* русский багаж было трогательным.

Я пишу эти строки в Фульде 9 мая 2000 года...

Но вернемся в год 1942-й, в 7-й отдел.

Очень разные люди работали в немецком отделе полковника Брагинского. Там был и Юра Жданов<sup>123</sup>, сын секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Жданова, впоследствии женившийся на дочке Сталина. В те годы это был очень приятный, воспитанный, образованный молодой человек, державшийся очень скромно и лояльно. Он писал листовки.



Капитан Юрий Жданов и полковник Иосиф Брагинский  
Фото из архива И.С. Брагинского

Бюст Ю.А. Жданова перед Научной библиотекой Южного федерального университета, носящей его имя

Писала листовки и Фрида Рубинер<sup>124</sup>, немецкая коммунистка-эмигрантка. Она же и выполняла окончательную стилистическую шлифовку немецких текстов.

<sup>123</sup> **Юрий Андреевич Жданов** (1919-2006) – химик-органик, доктор химических наук, кандидат философских наук, профессор, член-корреспондент АН СССР (1970), ректор Ростовского университета, выдающийся организатор науки на Северном Кавказе. Почётный гражданин Ростова-на-Дону. Жданова и Брагинского связывала большая многолетняя дружба. После войны – заведующим отделом науки и культуры ЦК ВКП(б). С 1953 г. работал заведующим отделом науки и культуры Ростовского обкома партии, ассистентом, затем доцентом и профессором Ростовского университета. В 1954 г. я учился у Ю.А. Жданова, сдавал ему экзамен. Его лекции по теории органической химии посещали не только студенты других курсов, но и преподаватели, а публичные лекции о науке и культуре собирали битком набитые залы. В.Ф.

<sup>124</sup> **Фрида Абрамовна Рубинер** (именно с ударением на втором слоге называл эту фамилию Брагинский, но не Рубинер, как приведено в Википедии) (1879-1952). Родилась в Литве в семье еврейского служащего, училась в женской гимназии в Ковно (Каунасе), в Цюрихском и Берлинском университетах. В Швейцарии была знакома с Лениным. Была в числе учредителей Коммунистической партии Германии (1918). Участвовала в создании Мюнхенской советской республики. Летом 1929 года переехала в Советский Союз. В 1941-1945 гг. работала в 7-м отделе Политуправления РККА руководителем отдела переподготовки немецких военнопленных. В 1946 году вернулась в Германию. До 1950 года – декан факультетов основ марксизма-ленинизма в Высших партийных школах при ЦК СЕПГ. В.Ф.





Фрида Рубинер

<http://little-histories.org/2015/05/31/>

Между собой подполковники называли её не иначе, как «эта старая ведьма». И, правда, Фрида Рубинер была стара, внешне, и правда, больше всего походила на ведьму<sup>125</sup> с ведьмовского шабаша на горе Брокен<sup>126</sup>, но всё это не мешало ей быть блестящим стилистом. Вот только раздражительна она была не в меру и потому слыла ругательницей.



Листовка-пропуск, призывающая немецких солдат сдаваться в плен  
Фото из книги М.И. Бурцева «Прозрение»

Как-то раз в поздний час у меня в железном логове засиделся Альфред Курелла<sup>127</sup>, один из известных эмигрантов-коммунистов, писатель, литературовед,

<sup>125</sup> Тем не менее, данное прозвище не делает чести подполковникам. В.Ф.

<sup>126</sup> **Гора Брокен** (Валун-гора (1141.1 м) – самая высокая гора горного массива Гарц на севере Германии. Согласно поверьям, сюда веками в Вальпургиеву ночь (с 30 апреля на 1 мая) слетаются ведьмы. Ныне здесь любители мистики со всей Европы устраивают костюмированное шоу – фестиваль «Вальпургиева ночь в горах Гарца». В.Ф.

<sup>127</sup> Альфред **Курелла** (Kurella) (1895-1975) – немецкий писатель, переводчик, литературовед, общественный деятель ГДР. Член КПГ с 1918 г. Член ЦК СЕПГ с 1957 г. Член немецкой

идеолог. Тогда, в 1942-ом, это был худощавый, подвижной, да и попросту симпатичный человек с живым умом, очень смешливый.



Курелла делал выписки из моих материалов, а я, продолжая сортировать трофейные бумаги, вдруг вытащила из мешка таблицу с надписью: “Schimpfen ist der Stuhlgang der Seele. Gebbels” («Брань – это фекалии души. Геббельс»).

Курелла расхохотался, выхватил у меня табличку и, поманив меня за собой, побежал к двери, ведущей в немецкий отдел. В отделе было пусто, да и вообще, кроме нас, все сотрудники давно разошлись.

Увидев, что никого нет, Курелла взобрался на стул и прикрепил табличку к стене у рабочего стола Фриды Рубинер.

– Das habe ich alleine zu verantworten! Sie wissen nichts!<sup>128</sup> – заявил он мне.



И.С. Брагинский, Х.Н. Дриккер и А. Курелла с женой Валентиной Сорокоумовской и дочерью. 1969 г. Фото из архива И.С. Брагинского

Вернувшись в *логово*, он собрал свои записи и ушёл, посоветовав и мне последовать его примеру. Что я и сделала.

Мне рассказывали, что полковник Брагинский был не в восторге от этой проделки. Но мне, как сообщнице, не влетело.

---

Академии искусств, где с 1962 г. возглавлял секцию литературы и языка. Активно участвовал в деятельности Коммунистического интернационала молодёжи, «Союза пролетарских революционных писателей Германии» (1928), в 1932–1934 гг. секретарь возглавляемого А. Барбюсом и Р. Ролланом «Интернационального комитета борьбы против фашизма и войны». В 1934–1954 гг. жил в СССР, был заместителем главного редактора газеты – органа комитета «Свободная Германия». Один из основателей и директор лейпцигского Литературного института им. И. Р. Бехера (1955). Депутат Народной палаты ГДР. В.Ф.

<sup>128</sup> Всю ответственность беру на себя! Вы ничего не знаете! (нем.). С.Т.

### Прямолинейность и жестокость молодости

И снова 16 октября... только на этот раз 1942-го года. Как ни странно, была метель. Я долго шла улицами Москвы сквозь метель, и она словно бы помогла мне принять решение: уйти на фронт.

Я пошла к Дмитрию Захаровичу Мануильскому, политическому куратору 7-го отдела, изложила свою просьбу и получила немедленный отказ:

– Работаешь – и работай! Не дело скакать с места на место. Зачем я тебя на работу брал!

Но скоро сам Дмитрий Захарович отбыл на фронт – в очередную командировку.

Я тут же написала заявление с просьбой направить меня на работу в Действующую армию и попросила полковника Брагинского поддержать меня в этом, скрыв от него – с несвойственным мне коварством, – что я уже получила отказ от Мануильского.

Иосиф Самойлович одобрил моё решение и помог мне оформить уход на фронт.

Но моё коварство было безгранично. Я ведь и папе тоже ничего не говорила о моём решении. Только по завершении оформления я сказала отцу, что меня направляют на фронт.

Папина реакция, как я и опасалась, была тяжёлой. Конечно, он был совсем не стар, всего 48 лет было ему, но тяжёлая болезнь... Конечно, вот-вот должна была вернуться из эвакуации мама, папа, значит, будет не один, а маме всего 44 года... Но она хромоножка и вообще – хрупкого здоровья человек. Конечно, я еду защищать Родину, моя работа может сократить число жертв с обеих сторон... Но кто поможет родителям?

Прямолинейность и жестокость молодости...

Позднее я уже никогда так бы не поступила.

Отец попросился на приём к Мануильскому, тем временем возвратившемуся из командировки, и, конечно же, узнал от него, что я добровольно еду на фронт.

– Она ведь первым делом ко мне постучалась, и я ей отказал, – объяснил он папе. – А тут уж без меня наша молодёжь постаралась, мигом оформила её в армию!

«Наша молодёжь» – это был полковник Брагинский. Я тогда захихикала, услышав папин рассказ. Но ведь Иосиф Самойлович тогда и вправду был очень молод – ему было всего 37 лет...

Как ни тяжело было папе, но он великодушно простил меня и, кажется, даже слегка гордился мной.

Он только потребовал, чтобы я дождалась возвращения мамы. И, правда: могли ведь больше и не увидиться...

Из-за этого мой отъезд был отложен на месяц – с 1 января 1943-го года – на 1-е февраля. Но ведь я уже уволилась из 7-го отдела. Не стало пропуска в офицерскую столовую, не стало и рабочей карточки, дававшей право на получение некоторого набора продуктов. Снова началось голодание. Но, главное, мне хотелось встретить маму.

Я притащила из пригорода – на спине – мешок картошки, 25 кг. Потом пошла сдавать кровь – донорам полагался разовый паёк и рабочая карточка. Но меня обманули: паёк выдали лишь частично, а из рабочей карточки в домоуправлении вырезали все талоны на мясо, жиры и сахар, ради которых я старалась и которые хотела оставить родителям. Я пыталась протестовать,

но домоуправша заявила, что мне вообще ничего не полагается, потому что я *неработающая*. А что я – донор, так это моё личное дело.

Конечно, картошка спасла меня от тотального голодания, но голова всё равно кружилась (ведь из меня выкачали поллитра крови, обрадовались, что первая группа). В таком состоянии, сварив на обед картошку в мундире, я отправилась на вокзал встречать маму. Она вышла из вагона, худенькая, седенькая, и передала мне свои мешочки с сушёными овощами.

Через два дня я выехала на фронт.

И тут обо мне позаботился полковник Брагинский. Он пристроил меня к дуэту: на Калининский фронт, в расположение 4-й Ударной армии, ехал старший лейтенант Володя Шейнцвит, тоже бывший ученик Немецкой школы имени Карла Либкнехта. Он был инструктор-литератор 7-го отделения 4-й УА. А сейчас он сопровождал на фронт *товарища* Циппеля, нового уполномоченного Национального Комитета «Свободная Германия». Брагинский просил его сопроводить меня. Так я попала в 7-е отделение 4-й Ударной Армии, где проработала 2 года.

### В доме на Садово-Кудринском

Накануне моего отъезда на фронт Иосиф Самойлович впервые привёл меня в дом на Садово-Кудринской и познакомил со своей семьёй. Впрочем, с Ханусей он познакомил меня ещё раньше, как-то раз на улице. Я была о ней наслышана. В 7-м отделе на каждом шагу почтительно повторяли:

– Это надо направить товарищу Дриккер.

Если не ошибаюсь, Хануса ведала печатанием листовок, которые выпускал 7-й отдел<sup>129</sup>.

И вот передо мной на улице, освещённой солнцем, товарищ Дриккер. Маленькая женщина с преждевременной проседью в волосах (впрочем, мне ли говорить о преждевременной проседи? У меня она была чуть ли не в 20 лет), с милым открытым лицом, с каким-то очень добрым, по-детски честным взглядом.

– Это ещё что? – возмущался один из наших общих друзей. – Директор типографии, мать троих детей? Да это же гимназистка!

Пока мы шли к дому на Садово-Кудринской, Иосиф Самойлович мне объяснил:

– Понимаешь, Сонечка, когда мы с Ханой поженились, я обещал ей, что у нас в семье будет полное равноправие. Как ты понимаешь, я полностью отвергаю угнетение женщины. Наоборот, из двух равно хороших людей женщина всегда лучше! И я всегда старался соблюдать это равноправие, которое обещал Хане. Но вот что несправедливо: за время нашей совместной жизни Хана родила мне троих детей, а я до сей поры никого не родил! Вот я и решил: буду приводить прямо в дом взрослых детей!

Вот так привели в дом на Садово-Кудринской меня, наряду с другими – Юрой Ждановым, Аней Млынек<sup>130</sup>, Ирой Коробицыной<sup>131</sup>, Лосевым<sup>132</sup>...

<sup>129</sup> В 1941-45 гг. Х.Н. Дриккер работала в Воениздате начальником группы по изданию листовок для фронта. В.Ф.

<sup>130</sup> Млынек Анна, выпускница ИФЛИ, сотрудница ЦК ВЛКСМ, работала в 7-м отделе ГПУ РККА, после войны – литературный обработчик произведений. В.Ф.

<sup>131</sup> Коробицына Ирина – сотрудник Брагинского по 7-му отделу ГПУ РККА, участник Великой Отечественной войны. В.Ф.

<sup>132</sup> Лосев Николай – сотрудник Брагинского по 7-му отделу ГПУ РККА, сын старого большевика Василия Николаевича Лосева, который дал Брагинскому рекомендацию в партию. В.Ф.





Капитан Лосев



Аня Млынек

Мы поднялись на пятый этаж по лестнице с невероятно высокими пролётами. Всё это очень хорошо описано Майей в «Брагинском метеорите»<sup>133</sup>. И «брагинское жильё» в коммуналке она зримо описала, и не мне с ней состязаться. Скажу лишь о моём восприятии этого жилища.

Пятый этаж без лифта... Коммуналка... Много ли полковников так жили? Даже в войну? Тем более человек, занимавший такой важный пост?

Я думаю, что причиной всего этого была феноменальная скромность Иосифа Самойловича. Он сам рассказывал мне, что ему несколько раз предлагали приличные отдельные квартиры, но он всякий раз уступал их коллегам или подчинённым, которых очень жалел из-за их бытовой неустроенности. Сделали бы они то же самое для него?

(Кстати, точно так же не раз поступал мой папа. Но у нас всё-таки была хоть и маленькая, и плохенькая, но **отдельная** квартира – по тем временам невероятная роскошь...).

Мы вошли в брагинские покои. Мне всегда казалось – и тогда, и, особенно, в последующие годы, что у Брагинских была только одна-единственная, пусть большая, комната, и она, наподобие деления клетки, которое мы проходили на уроках биологии в 6-м классе средней школы, периодически делилась, распадаясь на половинки, а затем и на четвертушки. Хозяева, как могли, изолировали и те, и другие. Сколько выдержки и терпения, да и просто – героизма, требовалось, чтобы в таких условиях жить напряжённо работающим людям и любовно воспитывать детей!

В беспрерывно делившейся комнате жили 8 человек...

В тот самый первый раз, когда меня сюда привели, с кресла поднялся очень высокий и очень серьёзный молодой человек и степенно пожал мне руку. Это был Сталя, 16-летний старший сын семейства<sup>134</sup>. На три года моложе меня.

Но ещё раньше к нам выскочили из-за перегородки две славные маленькие девчушки в матросках, с обритыми наголо круглыми головками.

---

<sup>133</sup> **Майя Иосифовна Фульмахт (Брагинская)** – дочь И.С. Брагинского, программист, писательница. «Брагинский метеорит» – автобиографическая повесть, опубликованная в 2000 г. в Иерусалиме. В.Ф.

<sup>134</sup> **Станислав (Сталий) Иосифович Брагинский** (р. 1926) – сын И.С. Брагинского, физик-теоретик, геофизик. Доктор физ.-мат. наук (1965). После окончания Московского инженерно-физического института (1948) работал в Институте атомной энергии, Институте физики Земли АН СССР, с 1988 г. профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Исследователь физики плазмы и магнитного поля Земли. Одним из первых начал термоядерные исследования в СССР. Лауреат Ленинской премии (1958). Награждён медалью им. Дж. А. Флеминга (1992). В.Ф.



– Мы привезли детей из эвакуации, – коротко объяснил полковник.

Других объяснений не требовалось. Кто в войну не сталкивался с этой проблемой...

Меня напоили чаем. Девчушки с любопытством поглядывали на меня. Маечке было тогда, наверно, лет 5-6, а Леночке только четыре.

– Я знаю: они станут красавицами! – мечтательно и торжественно произнёс полковник.

А Хануся только улыбнулась своей доброй, чуть застенчивой улыбкой.

В этом доме царили простота, естественность и сердечность. И девочки не выпендривались, чтобы себя показать, как часто делают дети, когда в дом приходят гости.

Но мне пора уходить из этого милого дома. Скоро комендантский час, а у меня уже нет пуровского пропуска...

### При трагических обстоятельствах

Следующая наша встреча с полковником Брагинским произошла полгода спустя, при трагических обстоятельствах.

Умер Володя Шейнцвит, мой сверстник, талантливый коллега и друг, и Иосиф Самойлович телеграммой вызвал меня на похороны, в Москву.

На Новодевичьем кладбище, неподалёку от могилы Зои Космодемьянской, – могила Володи.

Обстоятельства его смерти я узнала уже в Москве.

Дело в том, что осенью 1943-го года полковник Брагинский затеял крупную и дерзкую операцию – пропагандистский поход в тыл врага. Десятка два работников седьмых отделов, разумеется, идеально знающих немецкий язык, в сопровождении уполномоченных Национального Комитета «Свободная Германия», переодетые в немецкую военную форму, должны были проникать в расположение гитлеровских воинских частей и в разговорах с солдатами разъяснять преступный характер и безнадёжность фашистского похода на Россию, склонять солдат к переходу на сторону советских войск.

Всё это состоялось. Отряд возглавил сам полковник Брагинский.

Он рисковал больше всех: полковник, занимающий высокий пост, да к тому же ещё и еврей.

Как-то раз, ещё до моего отъезда на фронт, после рабочей встречи с генералами из Национального Комитета «Свободная Германия», которым его представили как таджика, Иосиф Самойлович со смехом рассказывал мне, что один из генералов сделал ему комплимент, сказав, что у него «типично арийская форма черепа».

Но если бы, не дай Бог, командир пропагандистского отряда угодил бы в руки к нацистам, вряд ли его приняли бы за арийца.

Евреев всегда быстро опознают.

Лишь страшная судьба, похуже смерти, могла ожидать такого командира такого отряда.

Не только собственную жизнь, но и благополучие столь нежно любимой им семьи готов был принести в жертву Иосиф Самойлович ради того, что почитал своим священным долгом.

О готовности операции узнал Володя Шейнцвит, который из-за болезни, находился на лечении в подмосковном военном санатории. Иосиф Самойлович, сам способствовавший определению его в санаторий, не собирался привлекать его к участию в своём походе – щадил больного юношу, хотя он как нельзя лучше подходил для такого участия: идеальное знание немецкого и фронтовых реалий,

беззаветная храбрость... Но Володя, прервав лечение, сам приехал в Москву, явился в 7-й отдел и потребовал, чтобы его включили в состав отряда.

Поход состоялся, и Володя ушёл вместе со всеми.

Кажется, сложная и дерзкая операция прошла успешно, хотя об отдалённых её последствиях, конечно, судить трудно. Не все вернулись домой – были потери. О самом ходе операции я знаю очень мало: потрясённая смертью Володи, я тогда даже не расспрашивала о ней Иосифа Самойловича<sup>135</sup>. И он не обиделся на меня, хотя, казалось, мог бы ожидать с моей стороны большего интереса. Представляю себе, что пережила за это время Хана. Не знаю, знал ли Сталя, – вряд ли. А девочки были малы...

Володя погиб не от пули. Подобно многим другим, он заразился в походе сыпным тифом. Его и без того ослабленный организм, конечно, не мог выдержать страшной болезни.

Не знаю, кто ходит сейчас на Новодевичье кладбище навещать его могилу. Его отец Григорий Яковлевич, старый юрист<sup>136</sup>, давно умер.

Я уехала на фронт.

### Я хотела вернуться на фронт

Весной 1944-го года Иосиф Самойлович снова вызвал меня в Москву. Наверно, мои начальники сообщили ему, что я больна. Тяжёлая простуда дала осложнение на почки. В Москве Иосиф Самойлович заставил меня пройти обследование в военной поликлинике. Он сказал мне, что его мать умерла от болезни почек и поэтому он особенно беспокоится за меня. Но в московском тепле я стала быстро поправляться.

Формальный повод моего вызова в Москву был другой. Седьмому отделу потребовался человек для *public relations*, такой, который мог бы говорить не только с немецкими генералами, но и с союзническими англо-американскими и французскими офицерами. Конечно, у начальника 7-го отдела, теперь уже генерала, Бурцева, давно имелся свой адъютант – хорошенький, молоденький, чистенький Саша Чигирёв. Он хорошо знал службу, и генерал был им доволен, но он не знал языков. А международные контакты генерала заметно расширились, и возникла потребность во втором, как теперь говорят, *пиарном* адъютанте. Идея назначения на эту должность моей особы, конечно же, как всегда, принадлежала тому же неугомонному полковнику Брагинскому. Говорили, что генерал Бурцев эту кандидатуру мгновенно одобрил: ведь я уже успела зарекомендовать себя на работе. Боюсь лишь, что и он, и сам полковник Брагинский, сильно преувеличивали мои познания в английском. Я до сих пор постыдно плохо знаю этот самый важный язык международного общения. Если бы я согласилась на почётную должность *пиарного* адъютанта, мне пришлось бы сделать огромный и быстрый рывок в овладении английским. И в этом случае я бы это сделала, позориться бы не стала. Правда, изучить как следует английский можно было и без *пиара*. Но я этого не сделала, и остался постыдный полуфабрикат на всю жизнь.

Конечно, не из-за слабого знания английского отказалась я от *пиарной* должности. Я хотела вернуться на фронт.

---

<sup>135</sup> О других операциях, подобных великолукской, мне ничего не известно: И.С. Брагинский о них не вспоминал. В.Ф.

<sup>136</sup> Шейнцвит Григорий Яковлевич (1888–1969). В.Ф.

И в этом, поскольку таково было моё желание, меня снова поддержал Иосиф Самойлович. Он защищал меня от укоров моих разочарованных родителей, мечтавших удержать меня в Москве.

– Что это? Ты должна учиться! – твердили они мне. – О чём ты думаешь? Тебе ведь уже 20 лет!

Иосиф Самойлович тоже считал, что я должна учиться. И он тоже надеялся, что я поступлю на вечернее отделение в университет и буду совмещать учёбу с *тиаром*. Но всё же он лояльно поддержал меня, когда я заявила, что хочу вернуться на фронт.

– Спасибо! – сказала я ему, прощаясь с ним перед отъездом. – Спасибо, что Вы всегда и во всём помогаете мне.

Иосиф Самойлович только улыбнулся в ответ и – уже радостно – добавил:

– А сегодня я получил счастливое известие: в конце этого года в нашей семье прибавится ещё один ребёнок! Тебе первой я сообщаю эту новость...

Это Володя Брагинский стучался...

Мы распрощались, и я уехала.

### Дети

Вернулась я в Москву примерно через год, в конце марта 1945-го, за несколько недель до конца войны. В моём военном билете записали: «уволить лейтенанта а/с Тарханову С.А. по беременности». Бесславное, но счастливое моё возвращение подробно описано в главе о тёте Лине.

И снова меня стали приглашать в дом на Садово-Кудринской. Там был теперь новый член семьи – маленький Володя. Никогда не забуду, как Хануся кормила малыша грудью, а Иосиф Самойлович сидел рядом и читал вслух газету, потому что сама сделать это она уже никак не успевала. Так что о Володе можно сказать, что свой обширный политический багаж он всосал в буквальном смысле с молоком матери.

Хануся и Иосиф Самойлович часто предлагали мне перепеленать Володю, но я робела, – видимо, уже тогда из пиетета перед будущим профессором малаистики и эсквайром. Я поэтому пеленала его не часто и с излишней осторожностью, тем более, что эсквайр интенсивно сучил ножками и норовил дать мне розовой пяткой по носу. А Хануся и Иосиф хотели, чтобы я натренировалась в пеленании в преддверии близкого материнства.

И снова был чай за столом у Брагинских. Иосиф Самойлович пел:

О, сладкая боль, отрада моя,  
О, ласковый взор, услада моя,  
Песнь о тебе – награда моя...  
Тобой рождено волнение души,  
Быть вечно с тобой – веленье души...

И при этом преданно смотрел на Хану..

Не знаю, сам ли он сочинил эту песню, или это был перевод с персидского первоисточника, – невежество не позволяет мне об этом судить<sup>137</sup>.

---

<sup>137</sup> Это – стихотворение классика современной таджикской литературы Абулькаси́ма Ахмедзаде́ Лахути (1887-1957). В архиве И.С. Брагинского оно приведено в несколько иной редакции (Л.И. Брагинская):

О, сладкая боль, отрада моя,  
О, ласковый взор, награда моя,  
Песнь о тебе – услада моя.  
Тобой зажжено волнение души,  
Быть вечно с тобой – стремление души.

Иосиф Самойлович был очень музыкален.

Наверно, ему было неприятно слушать, когда я (по глупости) пыталась что-то спеть. Я ведь ни одной мелодии верно пропеть не могу. В этом смысле я не из Гутманов. Гутманы, кажется, все – музыкальные.

...Маленького Володю, эсквайра *in spe*<sup>138</sup>, укутывали в тёплое одеяло. Высокий, степенный, серьёзный Сталька брал его на руки и выходил с ним за дверь.

– Братья ушли гулять, – с гордостью объявлял Иосиф Самойлович.

В ближайшем к нашим Чистым Прудам роддоме произошло инфицирование новорождённых, и многие дети погибли. Естественно, в городе сразу заговорили о *происках врагов народа*, хотя дело весьма обычное – там просто свирепствовал стрептококк.

Узнав об этом, Хануся коротко сказала:

– Ты туда не ходи! Иосиф что-нибудь придумает.

Иосиф Самойлович вызвал меня в 7-й отдел и вручил мне составленное им письмо:

«Главному врачу Роддома имени Клары Цеткин профессору Близнянской. Прошу принять в Роддом для родов лейтенанта Тарханову С.А...».

Профессор Близнянская, оказывается, была близкой подругой главного «немецкого стилиста» 7-го отдела Фриды Рубинер.

И тут Иосиф Самойлович позаботился обо мне. И строго наказал:

– Почувствуешь схватки – немедленно звони! Мы тебя отвезём!

Такси тогда в Москве вроде бы и не водились.

И, правда, когда пришёл мой час, Иосиф Самойлович приехал за мной на джипе и отвёз меня к «Кларе Цеткин», пребывавшей на другом конце города.



Полковник И.С. Брагинский, Х.Н. Дриккер, майор Ю.А. Жданов и С.А. Тарханова.  
Конец 1945 г.

А потом, спустя три недели, Иосиф и Хана, уже вместе, привезли нас с Олькой на Чистые Пруды. Весь путь Оля в розовом хлопчатобумажном одеяле проделала на руках у Хануси. Вёз всю эту компанию, естественно, тот же американский джип.

Дома у нас, в квартире № 23, Хануся распеленала ребёнка и... растерялась:

<sup>138</sup> *in spe* – в будущем. В.Ф.

– Сонечка, я не решаюсь её пеленать, она такая маленькая... Мои дети были большие!

Спустя 3 месяца Иосиф Самойлович привёз к нам в гости Володю – уже не в пелёнках, а в колготках. Так профессор, светило малаистики, эсквайр, навестил главного редактора издательства «Советский художник»<sup>139</sup>, уже научившегося улыбаться и показывать всем (унаследованные от деда) ямочки на щёчках...

### Учёный-востоковед

Прошло много лет. Выросли брагинские дети. И дети были теперь у них самих. Основной костяк брагинского клана жил теперь на Кутузовском. Новую его квартиру, конечно, нельзя было сравнить с «биоклеткой» в доме на Садово-Кудринской, но и она была мала и тесна для столь большой семьи. И сюда я тоже приходила, но куда реже прежнего, потому что и у меня росли дети, а потом – и внуки, и всегда не хватало времени.

После войны Иосиф Самойлович занимал руководящие посты в Институтах мировой литературы и востоковедения<sup>140</sup>. И всюду он много и увлечённо работал, много писал сам, много редактировал, много помогал людям, вывел в кандидаты наук бесчисленных молодых честолюбцев<sup>141</sup>.

Так, он решающим образом преобразил жизнь бывшего лучшего друга моего Вальки – Павла, или, как его тогда все звали – Павлика Гринцера. Кажется, он теперь учёный с мировым именем<sup>142</sup>.

Павлик блестяще окончил филфак МГУ по классическому отделению, но по пятому пункту не мог получить никакой другой работы, кроме должности преподавателя русского языка в школе рабочей молодежи. Павлик затосковал. Он приходил к нам, удручённый, погасший, и говорил, что, наверно, скоро потеряет и всех друзей, потому что им, Иванову, Топоровым, просто не о чем будет с ним говорить. Они-то не страдали пятым пунктом и сразу пошли в науку (разумеется, вполне заслуженно).

Мы его очень жалели. Валька пытался устроить его в «Литгазету», где мы тогда работали. Моя подруга Леночка Шохина, зав. редакцией журнала «Народы Азии и Африки», по моей просьбе очень старалась, что называется, «взять его в журнал», но всё было тщетно: стена – пятый пункт.

Спас положение – и самого Павлика – Иосиф Самойлович. Я послала ему SOS: ради Бога, помогите нашему другу, вянет молодой талант!

Иосиф Самойлович как раз тогда создавал новую группу молодых учёных, которые должны были осваивать новые пласты науки.

<sup>139</sup> Доктор филологических наук, профессор В.И. Брагинский – крупный специалист по малайской литературе, заведовал кафедрой Лондонского университета, а О.В. Мамонтова была главным редактором издательства «Советский художник». В.Ф.

<sup>140</sup> **Иосиф Самойлович Брагинский** (1905-1989) – советский востоковед, критик и литературовед. До войны – на партийной работе в Таджикистане. Лишь срочный отъезд в Москву спас его от репрессий. Автор трудов по истории культуры и литературы Средней Азии и Ирана, таджикской и персидской литературы. Доктор филологических наук. Член-корреспондент Академии наук Таджикской ССР. Заслуженный деятель науки Таджикской ССР. Лауреат Государственной премии Таджикской ССР им. Авиценны (1974). Член Союза писателей СССР (1963). Главный редактор журнала «Народы Азии и Африки» (с 1957). В.Ф.

<sup>141</sup> А теперь о нём самом диссертации защищают – см., например, кандидатскую диссертацию З.А. Сайфуллоевой «И.С. Брагинский – исследователь персидско-таджикской литературы» (Душанбе, 2012). В.Ф.

<sup>142</sup> **Павел Александрович Гринцер** (1928-2009) – российский филолог, исследователь литературы древней Индии. Доктор филологических наук (1975). В.Ф.



– Хорошо, – коротко сказал Иосиф Самойлович, – передайте вашему другу, чтобы он учил санскрит!

И Гринцер санскрит выучил.

С помощью Иосифа Самойловича он стал научным сотрудником Института мировой литературы. Его дальнейшая научная судьба сложилась на редкость удачно, опять же, надо полагать, вполне заслуженно.

Но решающую роль в счастливом повороте его судьбы сыграл Брагинский.

Спустя много лет отмечали юбилей Иосифа Самойловича, его 75-летие. Отмечали, как я понимаю, скромно, потому что он был в немилости. Времена были такие: для номенклатурных начальников и идеологов он был диссидентом, для диссидентов же – ретроградом.

Многие из тех, кого он, как научный руководитель, пачками выводил в кандидаты наук<sup>143</sup>, защитившись, игнорировали его. Он уже не был для них модной фигурой. А они шагали в ногу с модой, научной и политической.

Но что-то я слишком поспешно переселила клан Брагинских с Садово-Кудринской на Кутузовский. В реальной жизни это переселение потребовало много, очень много времени.

Иосиф Самойлович успел собрать в «биоклетке» своих приبلудных детей, но уже с их собственными детьми, т.е. как бы с его «внуками». Ира Коробицына привела сына, я взяла с собой в брагинский дом Ольку: «внукам» было тогда уже лет пять-шесть.

На стене «биоклетки» висело *поведенческое табло*, описанное Маечкой в её «Брагинском метеорите». Оно должно было вдохновлять девочек Брагинских на отличное поведение. Мне очень понравились ордена (или это были медали?) «Очень хорошая девочка» и «Мамина похвала». Всё это, конечно, как всегда, придумывал Иосиф Самойлович.

После войны Хануся работала в «Воениздате» в Орликовом переулке, от неё я получила там на перевод книгу академика Варги. Она тоже продолжала заботиться о приبلудной дочери.

Вот только о ней самой не очень-то заботилась советская власть: в благодарность за её многолетнюю самоотверженную работу<sup>144</sup> её вскоре уволили из «Воениздата» как еврейку (хоть и под каким-то маловразумительным предлогом).

Но руки у Хануси от этого не опустились. Она стала работать над диссертацией, написала её, защитила<sup>145</sup>.

Что ж, пора, наконец, окончательно отпустить Брагинских на Кутузовский...

Здесь я бывала у них гораздо реже, хотя теперь, в этой квартире, до переезда в Бибирево, жил ещё и мой брат Витя. Образовалась прекрасная

---

<sup>143</sup> В архиве И.С. Брагинского есть список отзывов на кандидатские и докторские диссертации, представленных им в качестве научного руководителя или оппонента. В нём 313 (!) наименований. В.Ф.

<sup>144</sup> В 1945-53 гг. Х.Н. Дриккер работала в Воениздате редактором военно-политической литературы, её избирали партгоргом отдела, председателем месткома издательства. В приказах Воениздата ей неоднократно объявляли благодарность «за отличные показатели в работе». В начале 1953 года её вынудили уволиться, «объяснив», что им разрешили оставить на работе лишь одного из двух работающих евреев, а второй является единственным кормильцем семьи. В.Ф.

<sup>145</sup> **Хана Натановна (Хая Нутовна) Дриккер** (1903-1993) – советский историк, исследователь истории Таджикистана. Окончила Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, до войны работала агрономом в Таджикистане. Написала ряд книг по советской истории Таджикистана. Кандидат исторических наук. В.Ф.

семья: Витя, Леночка<sup>146</sup>, три славные дочки. Брагинские – Иосиф и Хана – радовались.

Надо заканчивать главу, всё равно не охватишь всё, что было. Но всё ещё мелькают кадры большого фильма о прошлом, вихрем проносятся в голове, иногда сливаются...

1942-й год. 7-й отдел. Иосиф Самойлович вызывает меня к себе в кабинет. Тут же стоит Эрих Вайнерт, известный немецкий поэт-антифашист, эмигрант – отец Марианны, некогда самой близкой моей подруги в Немецкой школе имени Карла Либкнехта. Он вглядывается в меня, видимо, что-то вспоминает, но всё же не узнаёт. И я молчу – воспоминания сейчас неуместны.

Полковник Брагинский торопливо протягивает мне текст будущей листовки – Эрих Вайнерт написал для неё стихи. Стихотворение обращено к немецким солдатам: *Denk an Dein Kind*<sup>147</sup>.

Скоро, уже на фронте, я буду читать эти стихи для солдат противника, и тотчас заработает вражеский пулемёт (я читала эти стихи и многое другое через МГУ – Мощную говорящую установку, находившуюся на специальной машине, подъезжавшей вплотную к позициям врага).

– Переведи мгновенно! – скомандовал мне полковник. – Начальство ждёт!

Разумеется, перевести надо было в стихах. Начальство не жаловало прозы.

1956-й год. Иосиф Самойлович с энтузиазмом работает в комиссии по реабилитации несправедливо репрессированных в годы сталинизма. Он борется за каждого человека и с упоением рассказывает об этом мне.

Не знаю, какой год, из шестидесятых... Мы с Иосифом Самойловичем в буфете «Литературной газеты». Он едет в Париж на конгресс ориенталистов, и я поспешно покупаю у буфетчицы Лизы огромную банку чёрной икры – хочу отблагодарить основоположницу Новой Волны во французской литературе, писательницу Натали Саррот, щедро приславшую по моей просьбе дорогое спасительное лекарство для больной переводчицы Митиной.

Иосиф Самойлович любезно согласился отвезти писательнице банку. А от неё он привез роман «*Marteau*» с несколькими словами приветия.

Свой рассказ о Париже он закончил так:

– На кладбище Пер-Лашез я опустился на колени и поцеловал землю... Ведь здесь похоронены коммунары...

У любого другого я сочла бы подобный жест аффектацией. Но Иосиф Самойлович был всегда искренен.

### Рабочий кабинет в стенном шкафу

И снова дом на Садово-Кудринской. Кадры из кинохроники скачут, не считаются с хронологией.

Не помню уже, в каком году Иосиф Самойлович решил оборудовать себе рабочий кабинет в передней комнате – для научной работы. Весь «кабинет» поместился в... стенном шкафу, – другого места ведь не было.

Страшно было смотреть, как Иосиф Самойлович, подобно какому-нибудь мудрецу-монаху в средневековой келье, восседает в этом шкафу. Впрочем, кельи, само собой, были просторнее. Казалось, в шкафу можно задохнуться.

Но скромность и терпение Иосифа Самойловича были безграничны.

Образ учёного в стенном шкафу навсегда врезался в мою память

<sup>146</sup> **Ленина Иосифовна Брагинская** – дочь И.С. Брагинского, моя жена. Кандидат филологических наук. Работала в Институте востоковедения РАН. В.Ф.

<sup>147</sup> См. часть «Василий Мамонтов». В.Ф.

## Об Иосифе и Хане Брагинских

---

Я не собираюсь писать о Брагинском-учёном. О его научной деятельности я знаю очень мало. Знаю лишь, что он был талантливый человек. Я пишу лишь о Брагинском-человеке.



**Фото из военного билета, выданного 05.01.1968**

Весной 1969-го родилась Машка – наша старшая внучка. Скоро родится и Светка...<sup>148</sup>

Иосиф Самойлович заехал к нам на Аэропортовскую, «буквально на минутку», посмотреть Машку. Машка ему понравилась.

1985-й год. 40-летие Победы. Мы с Иосифом Самойловичем в Центральном доме литераторов. Нам вручают ордена «Отечественной войны», ему, естественно, первой степени, мне – второй.

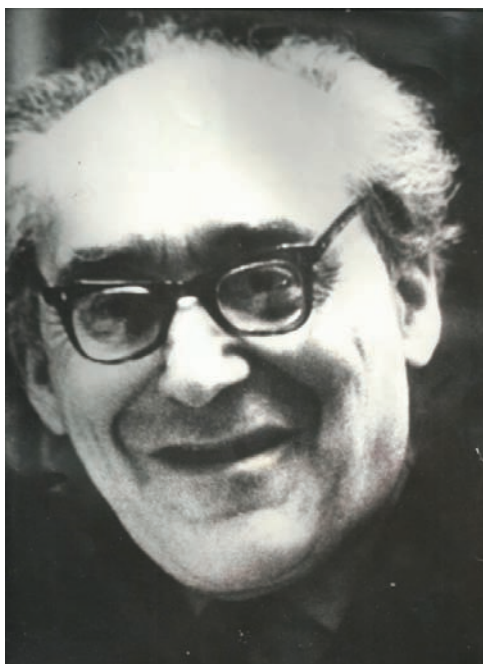
У Иосифа Самойловича совершенно измученный вид. Только, когда он заговорил о Хане, его лицо, по обыкновению, посветлело.

Я проводила Иосифа Самойловича к остановке такси. Мне было очень грустно.

Спустя всего несколько лет – похороны. Прекрасный снимок смеющегося Иосифа Самойловича – на стене.

---

<sup>148</sup> Светлана Файн, моя дочь, внучка И.С. Брагинского. В.Ф.



**Иосиф Самойлович Брагинский. Фото из журнала ГДР «Freie Welt»  
(«Свободный мир»), № 20 от 2 мая 1970 г.**

После панихиды я ушла домой – были у меня тогда очень трудные обстоятельства. Скоро и мы эмигрировали.

Вот и получилось, что я ни разу не была на кладбище, где покоятся Иосиф с Ханой.

Пусть же их дети примут эти строки как скромный запоздалый венок на могилу моих дорогих друзей.

**9-14 мая 2000 г., Фульда**

## Ансамбль вёрстки и правки<sup>149</sup>

В 1951-м году, после окончания университета, меня – по 5-му пункту<sup>150</sup> – всюду вежливо отшивали. Приказ о моём зачислении в штат «Литгазеты» был издан в феврале 1952 года. А в 1955-м году наступила пора моего участия в «Ансамбле вёрстки и правки» в котором резвились сотрудники «Литературной газеты» (кажется, человек двадцать или около того).

В 1953 г., вскоре после смерти Сталина, необыкновенно оживил свою работу «Ансамбль вёрстки и правки» при «Литературной газете», созданный её сотрудниками. Ансамбль выдавал отличные сатирические капустники. В нём были талантливые авторы – Зиновий Паперный<sup>151</sup>, Никита Разговоров и другие и талантливые исполнители – певцы Толя Аграновский, Вадим Соколов, Вера Степанченко и другие.



Зиновий Паперный – автор крылатого выражения  
«Да здоровствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что!»  
[http://rudb.org/img/2010\\_02/i4b765605580b6.jpg](http://rudb.org/img/2010_02/i4b765605580b6.jpg)

Автором и единственным исполнителем блестящего номера «В Международном отделе» был Валя Островский.

В рамках своего широкого жанрового разнообразия ансамбль также пародировал оперные спектакли, в частности, оперы «Демон» Рубинштейна и «Евгений Онегин» Чайковского.

### Три «Ке»

В начале XXVII главы пушкинского «Евгения Онегина» говорится, что на празднование именин Татьяны к Лариным приехал некий мсье Трике «в рыжем парике», очевидно, гувернёр или просто домашний учитель при детях местного помещика.

Как истинный француз, в кармане  
Трике привёз куплет Татьяне

<sup>149</sup> Часть этих записок (о трёх «Ке» и о последнем выступлении ансамбля) была написана С.А. Тархановой 24.12.2005 в больнице в виде записки внучке Лене по её просьбе. Получив копию этой записки, я попросил Софью Аркадьевну написать подробнее, что она и сделала в январе 2007 года. Обе записки написаны в форме частного письма. Версию для печати подготовил я в феврале 2014 г. В.Ф.

<sup>150</sup> «Пятый пункт» в анкете – национальность. 1951 год – разгар борьбы сталинского режима с «безродными космополитами», под которыми понимали евреев. В.Ф.

<sup>151</sup> Художественным руководителем ансамбля и его главным автором был Зиновий Самойлович Паперный (1919–1996) – литературный критик, литературовед, писатель, литературный пародист, позже – доктор филологических наук, профессор. В.Ф.



(который он слямзил из какого-то старого альманаха).

И смело вместо “belle Nina”

Поставил “belle Tatiana”...

Больше ничего у Пушкина не найти: самого куплета он не цитировал. Куплеты появились уже в опере, где они исполнялись в прекрасной сцене бала на именинах Татьяны в доме Лариных. Сцена эта открывалась знаменитым полонезом, в котором шли гости.

Потом наступал черед Трике:

Ми все приекали сюта,

Дефици, тами, каспада

Посмотреть, как расцфитаит она.

Фи Роза,

Фи Роза,

Фи Роза, belle Tatiana.

Это к истории куплетов.

А ансамблевские куплеты – это сатира на практику литературной жизни в Советском Союзе.

Талантливому неортодоксальному автору было практически невозможно опубликовать своё произведение. Если рукопись – будь то в журналах или издательствах – не отвергалась с порога, то на неё заказывались две, а порой и три внутренние, «закрытые» рецензии. И можно представить себе, как осторожничали и изворачивались рецензенты, чтобы «в случае чего» потом не нести ответственности за свою рекомендацию.

Ведь если ЦК (КПСС), сам генсек или Союз писателей высказывали недовольство публикацией, то могло не поздоровиться и автору (в первую очередь), и «внутренним» рецензентам.

Только в этом контексте можно понять наши «Три ке».

На сцену выходил мой коллега и сосед по редакционному кабинету Дима Бенеславский в маске и пел:

Я есть закрытый рецензент,

Необходимый элемент,

Чтобы книга увидела свет,

Сумею так подать совет,

Чтоб не сказать ни «да», ни «нет», –

В этом весь, поверьте, мой секрет.

И проза...

И про – за...

И про запас держу я мнение,

Чтоб роза...

Чтоб роза...,

Чтоб розобраться не смогли...

Тут намек на то, что с демонстративным русопецким оканьем говорили многие ведущие псевдолитераторы и псевдопатриоты.

Затем выходила на сцену Талка Гребельская из редакционного Бюро проверки, бодрая девица в толстых очках:

А я открытый рецензент!

Я сочиню в один момент

Всё, что автор недосочинил.

И коли пьеса ни на грош,

Пишу, что замысел хорош,

Что герой умён, пригож

И мил!..

И поза,

и по-за,

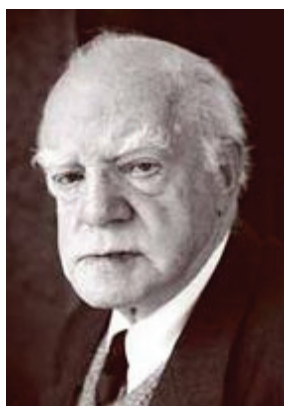
и позабывши стыд, хвалю.

Дермоза,  
Дермо-за,  
дерьмо за мрамор выдаю!

Хор подхватывает:

Дерьмоза,  
Дерьмо-за,  
дерьмо за мрамор выдаю!

Затем выходил на сцену Артём Афиногенов из отдела науки, высокий альбинос со свирепым оскалом лица (хотя Артём был человеком совсем не злым и не вредным, – просто внешность у него была такая).



**Артём Захарович Афиногенов (1924-2011), писатель,  
участник Великой Отечественной войны**  
<http://www.people.su/7125>

И я рецензии пишу,  
Рублю, кромсаю и крошу,  
Чтобы автор мой не взвидел свет!  
Давить, запугивать, стращать,  
Громить, тащить и не пущать, –  
Вот мои забавы с юных лет!  
Пероза...  
пероза...  
перо за пазухой ношу!

Тут он выхватывал ручку, как другие выхватывают нож.

Спиноза,  
Спиноза...  
Спи, но помни:  
Я не сплю!

Разгромная рецензия в печати на какое-либо произведение могла не только лишить автора возможности печататься и, таким образом, лишить его хлеба, но и послужить поводом для самых жестоких репрессий.

Мне хочется привести лишь один пример.

Когда я работала в редакции, моей коллеге Нине Федосюк иногда звонил поэт Ярослав Смеляков<sup>152</sup> и сразу начинал раздражённо ругаться, если я говорила, что Нины нет или что она не может подойти к телефону: сдаёт в номер материал.

---

<sup>152</sup> **Ярослав Васильевич Смеляков** (1913–1972) – русский советский поэт, критик, переводчик. Член СП СССР с 1934 г. В 1934-1937 гг. был репрессирован. С июня по ноябрь 1941 г. был рядовым на Северном и Карельском фронтах, попал в окружение, находился в финском плену до 1944 г. Возвратившись из плена, Смеляков попал в советский лагерь. В 1951 г. по доносу двух поэтов вновь арестован и отправлен в заполярную Инту, просидел Смеляков до 1955 г. Лауреат Государственной премии СССР (1967). Член Правления СП СССР с 1967 г., Правления СП РСФСР с 1970 г. Председатель поэтической секции СП СССР. В.Ф.

Нина сказала потом:

– На него нельзя обижаться. Он много тяжёлого пережил и от этого запил...

В этом году, просматривая энциклопедический *Literatur-Lexicon* Вольфганга Казака по совсем другому поводу, я случайно, что называется «заодно», наткнулась на статью о Смелякове.

Талантливый русский человек, самородок, он в юности добывал себе хлеб тяжёлым трудом, при этом начал писать стихи, был арестован, провёл 3 года в заключении, затем служил в армии простым солдатом, в финскую кампанию воевал на фронте и попал в плен. После войны был снова арестован и вскоре снова выпущен на свободу. Ему даже удалось опубликовать сборник стихов «Кремлёвские ели». После этого он снова был арестован.

В «Лексиконе» Казака сказано, что поэт Коржавин, считавший Смелякова очень талантливым поэтом, полагал, что поводом для ареста послужила рецензия Сергея Львова, упрекнувшего автора «Кремлёвских елей» в «ненужном пессимизме».

Конечно, формулировка – глупая. Но, в любом случае, Сергей Львов<sup>153</sup> не мог сознательно написать на человека донос. Мы его хорошо знали, он работал с нами в международном отделе и резвился вместе с нами в «Ансамбле вёрстки и правки», где прославился в роли клоуна (в номере «Цирк»).

Так что же это за страна, где, пусть глупая, рецензия одного порядочного человека может повлечь за собой арест другого порядочного человека?

А сколько было непорядочных литературных критиков!

### «Демон»

#### Акт первый

Занавес был опущен. Справа на авансцене стоял хор. Он пел:

На воздушном океане,  
Без руля и без ветрил,  
Тихо плавают в тумане  
Хоры стройные светил...

И так далее.

Слева на сцене загадочное изваяние, скрытое под покровом. «Служители» срывают с него покров, и все видят: за письменным столом сидит, склонившись над грудой рукописей, член редколлегии «Литературной газеты» Тамара Казимировна Трифонова, – нет, Вера Степанченко из отдела писем, исполняющая её роль.

Пронзительный момент узнавания: на Вере точно такая же шляпа, как у настоящей Тамары Казимировны – огромная, мужская, с широкими полями. Где только раздобыла Вера этого близнеца? Или, может, просто утащила Трифоновскую шляпу из раздевалки, – ведь настоящая Тамара Казимировна сидит тут же, в зале и даже в первом ряду (без шляпы!).

Зал хохочет.

На излёте своего пребывания на посту главного редактора «Литературной газеты», наверно, в конце 1953-го года, Симонов отыскал в каком-то ленинградском издательстве женщину-литератора Трифонову и пригласил её

---

<sup>153</sup> **Сергей Львович Львов** (1922-1981) – прозаик, критик, публицист, автор многочисленных статей о советской и зарубежной литературе, произведений биографической и детской литературы. В.Ф.

в Москву, на должность члена редколлегии «Литературки», курирующего отдел советской литературы.

Единственное, что исключалось (а ведь перевод в Москву на высокую должность считался необыкновенной удачей) – это амурная подоплёка этой акции. Тамаре Казимировне, высокой, мужеподобной, обшляпленной, впору было командовать взводом рекрутов, но уж никак не пленять сердца избалованных женским вниманием пресыщенных писателей.

О её профессиональных качествах я сейчас ничего сказать не могу. Думаю, она была, как говорится, не хуже других...

Сверху, в прореху между двумя полотнищами занавеса, вдруг просовывается голова. Это Вадим Соколов, наш коллега в роли Демона – Симонова.

Обращаясь к Тамаре, он поёт:

Лишь только месяц золотой  
Из-за горы тихонько встанет  
К тебе я стану прилетать,

Гостить я буду до денницы  
И на шелковые ресницы  
Сны золотые навевать...

Нелегко было Вадиму, хоть он и обладал могучим басом. Ведь первым исполнителем партии Демона в театре Ростова-на-Дону был... Шаляпин.

Тамара (встрепенувшись):

– О, кто ты? Речь твоя опасна!  
Тебя прислал мне ад иль рай?  
Что ты хочешь?

Демон:

– Ты прекрасна!

Тамара:

– Но молви, кто ты? Отвечай...

Симонов – Демон – Вадим:

– Я тот, которому внимала  
Ты в полуночной тишине,  
Я тот, чей взор надежду губит,  
От чьих речений мухи мрут.  
Я тот, кого никто не любит  
И все читатели клянут!..  
Ха-ха-ха-ха (демонический смех).



Рисунок В. Островского

Демонически смеясь, Демон–Симонов–Вадим спускается на сцену (уж не знаю, как с этой технической проблемой справились ансамблисты, я на репетициях не бывала).

Зяма Паперный, наш худрук – здесь ведущий с мегафоном в руках:

– Вадим! Ты что, спятил? Что ты несёшь! Сейчас же спой что-нибудь пристойное!

Вадим:

– Не могу! Я в образе!..

Зяма – ведущий, в мегафон:

– Вадим! Сейчас же выйди из образа!

Вадим повинуется.

Зяма (в мегафон):

– Арию!

Демон–Вадим–Симонов (вплотную подходит к Тамаре, по-прежнему неподвижно сидящей в своей гигантской шляпе за письменным столом:

Тебя я, вольный сын эфира,  
Возьму в надзвёздные края,  
И будешь ты царицей мира!...  
...С квартирой, милая моя!...

Действительно, Трифонова сразу же получила в столице отличную квартиру... невероятное чудо!

### Занавес

### Акт второй

Люди, причастные к оперному искусству, наверно, помнят, что в опере Рубинштейна исполняется «Песня девушек»: «Ходили мы к Арагве светлой» (понятно, за водой). Девушки, с кувшинами на голове, поют ангельскими голосами.

В ансамблевской версии эта поэтическая сценка преломляется так:

Вокруг Тамары – Степанченко водят хоровод – с мусорными корзинами на голове – сотрудницы отдела литературы. Они поют:

Ходим мы к Тамаре мудрой,  
Носим статью за статьёй,  
А она их разбавляет  
Мутно-жёлтою водой...

И вдруг эта секвенция взрывается озорным, с присвистом, куплетом:

Соловей, соловей, пташечка,  
Казимировна жалобно поёт,  
Раз – поёт, два – поёт, три – поёт...  
За решением к главному пойдёт!..

Все хорошо пели: девушки с корзинами на головах, Вера Степанченко – Тамара, обладавшая прекрасными голосовыми данными и актёрским талантом.

Трифонова, естественно, всем этим обрадована не была. Она потом сказала Паперному, что ансамбль преступил грань дозволенного и выдал сплошное издевательство.

Не знаю, тогда я Трифонову не жалела. Номенклатурная особь!

А, может быть, надо было пожалеть?..

### «Открытие памятника идеальному герою»

Повод был такой: в 1956-м году некая критикесса по фамилии Протопопова опубликовала в «Литературной газете» пространную статью. В ней она призывала писателей прекратить, наконец, мазохистское обсасывание отдельных негативных явлений в жизни советской страны.

Главное внимание – вешала Протопопова, – следует уделить разработке образа положительного, а ещё лучше, – идеального героя, – и активно внедрять этот светлый образ в новую литературу. А уж это окажет благотворное воспитательное воздействие на читательскую массу и, что особенно важно, – на молодёжь!

Ансамбль тотчас отозвался на эту статью номером «Открытие памятника идеальному герою».

На сцене сгрудилась кучка людей в ожидании торжественного момента. Под звуки бравурной музыки стянули покров со стоящего посреди сцены монумента.

– Открытие памятника идеальному герою объявляю открытым! – провозгласил Председательствующий.

И взору публики открылся ОН.



На высоком пьедестале стоял самый рослый литсотрудник газеты – кудрявый, красивый, великолепный Костя Лапин. К его плечам были прикреплены ангельские крылья. За спиной высились лыжи. В одной руке Костя держал книгу, в другой – огромную зубную щётку.

Громкие аплодисменты на сцене... и частично в зале. Музыка сыграла туш.

Председательствующий предоставил слово лаудатору<sup>154</sup> – «известному литературному критику товарищу Протопоповой, проторившей нашему герою путь в литературу».

При этом он оговорился и вместо «Протопоповой» произнёс «Прототиповой». На что лаудаторша сразу же огрызнулась и сердито поправила:

– Не Прототиповой, а Протопоповой!

Разумеется, и все последующие ораторы, воздавая хвалу идеальному герою и его спонсору – критикессе, так же оговаривались и, вместо «Протопоповой», выкрикивали «Прототиповой». За чем всякий раз следовал тот же гневный окрик:

– Не Прототиповой, а Протопоповой!

Сыграл Протопопову литсотрудник Артём Анфиногенов, высокий альбинос со свирепым оскалом лица. Тот самый, что так успешно исполнил партию критика – громилы в ансамблевском «Евгении Онегине».

Повязав свою свирепую голову бабьим платком, Артём и вовсе создал неотразимый образ критикессы...

Лаудаторша уверенно произнесла длинную речь, то и дело прерывавшуюся аплодисментами. Естественно, эта речь представляла собой блестящую пародию на реальную статью Протопоповой в газете.

Во время всех речей, в такт словам ораторов поклонники героя старательно «надували» его с помощью велосипедного насоса. Костя талантливо «надувался», становясь всё выше ростом и всё больше выпячивая грудь.

Вдруг раздался громкий треск. Идеальный герой пошатнулся – и рухнул с пьедестала на руки стоявших рядом поклонников...

**Занавес**

### «В Союзе писателей»

Был, среди прочих, и такой номер. Сценка, написанная Паперным и показанная ансамблем в Центральном доме литераторов, изображала типовое заседание (разумеется, вымышленное) в Союзе писателей.

Я тогда ещё не была членом Союза и не знала деталей всех этих совписовских игрищ. Однако мне, конечно, была известна общая атмосфера этих дискуссий – демонстративная политическая ортодоксальность одних членов вкупе с наветами на других – т.е. инакомыслящих.

В те дни в Союзе писателей как раз сгущалась атмосфера вокруг Лидии Корнеевны Чуковской<sup>155</sup>, дочери известного классика детской литературы.

---

<sup>154</sup> Лаудатор – панегирист, хвалитель. В.Ф.

<sup>155</sup> **Лидия Корнеевна Чуковская** (урожд. Корнейчукова Лидия Николаевна; 1907-1996) – редактор, писатель, поэт, публицист, мемуарист, диссидент. Дочь Корнея Чуковского и Марии Борисовны Гольдфельд. В 1926 г. Чуковская была арестована по ложному обвинению в составлении антисоветской листовки. «Софья Петровна» – единственное из прозаических литературных произведений, посвящённых событиям 1937-1938 годов, которое написано непосредственно по их следам. Под псевдонимом *Алексей Углов* опубликовала книги для детей. Лауреат «премии свободы» французской академии (1980), премии имени академика Сахарова (1990), Государственной премии РФ (1994). В.Ф.

Лидия Корнеевна, много лет проработавшая в издательствах детской литературы, была не только прекрасным редактором, но и талантливой писательницей и литературным критиком.

Мне тогда посчастливилось прочитать в рукописи её честнейшую повесть «Софья Петровна», отражавшую процесс ломки менталитета среднего советского человека в эпоху сталинского террора.

И я с готовностью взяла на себя роль «детской писательницы», участницы пародийного совписовского заседания.

Я надела строгий чёрный костюм, но нацепила на голову красную шерстяную детскую шапку с большим помпоном, одолженную у моей шестилетней дочки Надюшки.

Я не помню сейчас деталей выступлений других участников «заседания». Помню лишь, что «детские писатели», (а это было «заседание» так называемой Детской секции Союза) на ансамблевской сцене, как и в жизни, нещадно мутузили друг друга, зато с поразительным единодушием ругали критиков, осмелившихся требовать от записных ортодоксов зачем-то ещё и художественности.

С трибуны писательского собрания я патетически осудила обнаглевших адептов художественности в детской литературе.

И резюмировала:

—...Впрочем, это главным образом Лидия Чуковская! Она не наша! А я наша! Ей не место. А мне – место!

Прекрасную концовку написал Паперный. Зал взорвался смехом. Моей заслуги тут не было. Я не бывала тогда, как, впрочем, по преимуществу и впоследствии, на подобных заседаниях и при всём желании не могла создать прицельной пародии.

Тем не менее, после спектакля две «детские» поэтессы кинулись к Паперному и начали нервно выпрашивать, «кого конкретно изображала эта несимпатичная молодая женщина в красной шапке с помпоном».

– Ах, это собирательный образ! – ответил им Зяма.

Лидия Корнеевна Чуковская тогда сравнительно легко пережила очередную полосу преследований и бесстрашно продолжала борьбу за правду в литературе и в жизни. Она защищала Синявского и Даниэля, Сахарова и Солженицына, за что в 1974-м году была исключена из Союза Писателей...

«Не наша»...

### «О, дорогая редколлегия»

В середине 50-х гг. стал очень популярен в Москве индонезийский гимн.

Tanach airku Indonesia.

Negri elok jang amat kutjinta...

В русском переводе начальные строки песни звучали так:

Седыми тайнами повитая,

Морями тёплыми омытая,

Страна родная – Индонезия...

Ансамблевцы (не помню, кто персонально) тут же сочинили свой гимн, посвященный своей редколлегии:

Златыми лаврами увитая,

Слезами авторов омытая,

О, дорогая редколлегия,

Я шлю тебе привет!

Тебя волнуют споры жаркие,

Тебя статьи пугают яркие,

Но постоянно тягомотина  
Выходит в свет...  
Припев: А читатель ждёт,  
Плотит каждый год  
Целых шестьдесят  
И два рубля!..  
Но зато силен  
Твой парад имён,  
О, дорогая редколлегия,  
Любовь моя!

Песню исполнял хор ансамбля под руководством отца Леры Озеровой (тогда ещё жены нашего худрука Паперного), как впоследствии выяснилось – регента хора одной из московских церквей.

Дальше:

Твои машины персональные,  
Твои оклады максимальные<sup>156</sup>,  
Твои раздумья двухподвальные  
О том, о сём...  
Единство членов беспредельное,  
Сугубо нечленораздельное...  
О, дорогая редколлегия,  
Где твой завет?  
Припев: А читатель ждёт,  
Плотит каждый год  
Целых шестьдесят  
И два рубля!..  
Но зато силен  
Твой парад имён,  
О, дорогая редколлегия,  
Любовь моя!

Редколлегия, сидевшая зале, слушала этот гимн без энтузиазма.

### «Раскинулось море широко...»

Раскинулось море широко,  
И волны бушуют вдали...  
Товарищ, мы едем далёко,  
Подальше от нашей земли...  
«Товарищ, я вахту не в силах стоять, –  
Сказал кочегар кочегару, –  
Огни в моих топках совсем не горят,  
В котлах не сдержать мне уж пару...»

Известная моряцкая песня.

Её первый куплет ансамблисты (все в бумажных матросских «воротниках») спели в оригинальном варианте.

Спели хорошо, мерно покачиваясь в такт песни.

Из строя хористов выступил красивый молодой Толя Аграновский. Он один был в тельняшке и, кажется, настоящей матроске. Он и пропел до конца пародийную песню, высмеивавшую последний роман бездарного

---

<sup>156</sup> Здесь можно было бы ещё добавить строчку: «Твои буфеты специальные». В самом деле, у редколлегии был свой *спецбуфет* на 12 человек. В отдельной комнате на 6-м этаже (куда доступ *не-членам* был закрыт). *Членов* же обслуживала отдельно буфетчица Тоня, готовила им обед из *спецпродуктов* (был такой спецфонд для советской элиты, понятно, не опускавшейся до общепита). Кроме того, *членам* выдавались на дом продовольственные пакеты с *элитными* продуктами, недоступными прочим гражданам, да ещё по копеечным ценам двадцатых годов. Затрагивать эту тему сотрудникам, недовольным своей паршивой столовой, запрещалось. Это квалифицировалось, как «обывательские разговорчики». С.Т.

сталинского гладиатора Аркадия Первенцева<sup>157</sup> «Матросы». Как показывает название, гладиатор решил на этот раз заделаться маринистом.

Со стороны ансамбля это был дерзкий вызов литературному начальству, так как гладиатор и после смерти Сталина пользовался благосклонностью Центрального Комитета (КПСС) и руководства Союза писателей, в которое он вскорости и сам вошёл.

Аграновский проникновенно пел так:

Товарищ, не в силах я книжку дочесть, –  
Сказал кочегар капитану, –  
Матросы и судна, конечно, в ней есть,  
Но больше воды и туману...

Хор добросовестно повторил две последние строчки.

Аграновский продолжал:

Читаю, читаю, сознания уж нет,  
В глазах у меня помутилось,  
Увидел в конце продолжения след –  
Упал... Сердце больше не билось...  
О ком в этой песне, товарищи, речь,  
Мы вам не откроем секрета:  
Честь смолоду автору надо беречь, –  
Но также и в зрелые лета!..

«Честь смолоду», – так назывался роман, за который Первенцев в своё время получил Сталинскую премию 2-й степени.

Этот номер имел большой успех не только из-за своей сатирической дерзости, но ещё благодаря несомненному певческому искусству главного исполнителя и хора сотрудников «Литгазеты».

Молодой, черноволосый, улыбчивый Толя Аграновский... Это потом он уйдёт из «Литературки» в «Известия» и вскоре обретёт журналистскую славу, которая, увы, обречёт его на роль участника бригады гострайтеров, обязанных создавать литературные «творения» Леонида Ильича Брежнева...



**Анатолий Абрамович Аграновский (1922–1984) – журналист, публицист, писатель, кинодраматург и певец.**

[kino-teatr.ru](http://kino-teatr.ru)

<sup>157</sup> **Аркадий Алексеевич Первенцев (1905–1981)** – русский советский прозаик, сценарист, драматург и публицист. Троюродный брат Маяковского. В годы войны работал специальным корреспондентом «Известий». Политработник, капитан первого ранга. Во время борьбы с «безродными космополитами» участвовал в травле писателей еврейского происхождения. В 1949 году удостоен сразу двух Сталинских премий второй степени – за роман «Честь смолоду» и сценарий фильма «Третий удар». В.Ф.

А в тот вечер, помнится, ансамблисты, обрадованные успехом, никак не могли расстаться, и Толя Аграновский пригласил всех в свою большую арбатскую квартиру, где нас весело угощала его красавица-жена Галя...

### «Солдатушки, бравы ребятушки»

Эта старая солдатская песня исполнялась в ансамбле так:

Ансамблисты – мужчины выстраивались на сцене в две шеренги, лицом друг к другу, и, как в детской игре «Бояре, а мы к вам пришли!», попеременно то «наступали», шеренга на шеренгу, то отступали назад, в исходную позицию.

Зачин. Выступает вперёд шеренга вопрошающих:

– Солдатушки, бравы ребятушки,  
Где же ваши жёны?

Вопрошатели отступают. На них маршем надвигаются «солдатушки», рывкают в ответ:

– Наши жёны – ручки заряжены!  
Вот где наши жёны!

Отступают.

Снова вырываются вперед вопрошатели:

– Солдатушки, бравы ребятушки,  
Где же ваши сёстры?

Бравый ответ:

– Наши сёстры – то цитаты остры!  
Вот где наши сёстры!

Но вопрошатели не унимаются:

– Солдатушки, бравы ребятушки,  
Где же ваши дети?

Ответ:

– Наши дети – ляпсусы в газете,  
Вот где наши дети!

И последняя атака вопрошающих:

– Солдатушки, бравы ребятушки,  
Чем вы только живы?

И заключительный ответ:

– Жив ли, помер, –  
Всё равно ты в номер  
Сдай статью, служивый!

Когда я прочитала Валентину Александровичу мой короткий рассказ об ансамблевском номере «Солдатушки, бравы ребятушки», он усмехнулся и сказал, что последний куплет («Жив ли, помер, – всё равно ты в номер/ сдай статью, служивый!») отдаёт неприятным хвастовством, неоправданной героизацией профессии журналиста. Скромность, конечно, вещь похвальная, но Валентин Александрович забыл, сколько раз за 40 лет работы в «Литературной газете» он сам, совершенно больной, писал или правил статьи, идущие в номер. Он забыл, а я помню<sup>158</sup>.

Несмотря на политическую «оттепель» (так называли короткий период, начавшийся после исторического доклада Хрущёва на XX съезде партии, в котором он впервые дерзнул осудить «культ личности товарища Сталина», как был деликатно поименован более чем тридцатилетний период жесточайшего террора против собственного народа и народов других стран), наш ансамбль всё же безмерно раздражал товарищей из ЦК и всех наших идеологических начальников. Получалось-то вот что: всю неделю сотрудники редакции заказывали, редактировали, сдавали в набор и выпускали на газетную полосу

---

<sup>158</sup> См. новеллу С. Тархановой «Легенда о крокодиле». В.Ф.



более или менее ортодоксальные статьи (других не пропустило бы даже редакционное начальство). А в день концерта – вечером – те же литсотрудники выходили на сцену и хлётко высмеивали реакционные вылазки, да и просто бездарность в литературной жизни.

### «Экзамен в Литинституте»

Чашу терпения наших идеологических начальников переполнила ансамблевская сценка «Экзамен в Литинституте», написанная, кажется, Паперным. Сам он играл в этой сценке очень важного преподавателя, строгого, но в меру либерального, экзаменатора. Я, в торчащих тугих косичках, заплетённых из моих тогда ещё густых волос, с жёсткими широкими бантами на них, изображала этакую типичную студентку-отличницу, всегда готовую повторять то, что предписано. Согласно экзаменационному билету, я должна была проанализировать недавно опубликованную в нашей «Литературной газете» басню Михалкова, известного детского поэта и нашего литературного босса. «Анализ», естественно, был издевательским, но басня того заслуживала.

– И какова же мораль басни? – спрашивал в заключении экзаменатор.

– ...Что человек человеку – рыба! – бойко отчеканивала «студентка».

– Садитесь, «отлично»! – благосклонно кивал ей профессор.

Так же и другие «студенты» могли порадоваться благополучному исходу экзамена.

Все – кроме одного. «Студент», которого играл мой коллега Дима Бенеславский, на протяжении всего экзамена сидел в углу, хмуро уставившись в билет, и упорно отказывался отвечать.

Наконец, все «студенты» ушли. Профессор, оставшись наедине с Бенеславским, нетерпеливо спросил:

– Ну, теперь-то вы, наконец, готовы?

– Нет, – мрачно отвечивал «студент», – я не готов и никогда не буду готов!

– Ладно! Давайте зачётку! Двойка!

Поставив «двойку», профессор уходит. В комнату тотчас врываются остальные студенты.

– Ну, что у тебя было в билете, что у тебя было? – теребят они неудачника.

И тут, повернувшись лицом к публике, Бенеславский произносит роковую фразу:

– *Итоги Второго Съезда Писателей!*

Конечно, все, включая устроителей, прекрасно понимали, что недавний съезд писателей – всего лишь болтовня, но при этом полагалось делать вид, будто съезд писателей представляет собой важную веху в развитии советской (а, может, и мировой) литературы.

Редакционное начальство заставило Валентина Александровича звонить в Америку Хемингуэю.

В ответ на заданный вопрос: – Что Вы думаете о Втором съезде советских писателей? Хемингуэй простодушно ответил:

– А я вообще о нём не думаю!

Редакционное начальство было очень недовольно таким ответом.

### «Поездка в Ленинград»

Судьба ансамбля отныне была решена.

Смертный приговор был вынесен ему «сверху» в момент его наибольшей популярности. Где только мы ни выступали: в Центральном доме литераторов,

в Центральном доме работников искусств, в Доме журналиста, в Доме художников, в Доме учёных... И всюду – громкий успех.

Отчасти поэтому было решено нас «закрыть». И повод тут же нашёлся.

Дело в том, что слух о наших успехах дошёл до берегов Невы. И ленинградский Дом литераторов пригласил нас выступить на его сцене. Ленинградцы обещали оплатить нам проезд на поезде, а гонорара мы, естественно, не требовали.

Однако дирекция Ленинградского дома всё же решила подработать на этом деле и стала продавать на нас билеты. Всё! Редколлегия «Литературной газеты» тут же обвинила нас в корыстолюбии и хапужничестве. Поездку в Ленинград запретили, а ансамбль в принципе закрыли. Нам было приказано – для искупления нашей «вины» – в последний раз обслужить родной коллектив и показать ему по случаю очередного праздника новую, «правильную» программу.

Сколько мы ни твердили, что не собирались брать плату за наши выступления, – все эти заверения моментально отменялись.

Ансамблисты решили: темой нашего последнего выступления будет наша несостоявшаяся поездка в Ленинград.

Когда открылся занавес, зрители увидели нас, сидящих «в вагоне». Мы сидели на стульях, расставленных, как кресла в поезде, и покачивались в такт движения состава.

Короче, мы «ехали» в Ленинград.

Мы пели:

Летят вагоны мягкие,  
Дымок летит нам в лёгкие,  
И лезут мысли всякие,  
От юмора далёкие....

С чем мы потом «выступали в Ленинграде», я не помню. Запомнился только сольный номер Валентина Александровича Островского, изобразившего заседание редколлегии «Литературной газеты», на котором нас, ансамблевцев, громили.

Редактор международного отдела Прудков (излюбленный объект пародий Валентина Александровича) «призывал» редколлегию сурово наказать «этих безответственных гастролёров и беззастенчивых лодырей, этих любителей загребать гонорары чужими руками!».

Надо полагать – как всегда, Валентин Александрович во многом «угадал» реальную сцену заседания редколлегии, метавшей громы и молнии против нас.

Так был похоронен «Ансамбль вёрстки и правки».

Осталось – у нас, его участников, прекрасное чувство раскованности, веселья, дружбы.

Нам с Валентином Александровичем в ту пору было 32-33 года. Другим членам ансамбля – на 3-4 года больше. Не первая молодость. И всё же – молодость.

## О Валентине Островском

### Легенда о крокодиле

Кажется, это было в конце 50-х годов.

Мне позвонила моя подруга Таня, добрейший человек, и взволнованно объявила:

– Соня, ты должна помочь одному существу!

– Какому существу?

– Крокодилу!

И дальше:

– Соня, понимаешь, муж одной моей приятельницы – египтолог – привёз из Египта крокодильчика. Он живёт у них дома в маленькой московской квартирке...

Я: – Что ж, в добрый час!

– Соня, без шуток! Понимаешь, крокодильчик вырос, он уже не помещается в их жилище, да и запрещается держать взрослых крокодилов в московских квартирах. Ему нужна дача!

– Таня, но у меня...

– Соня, я знаю, у тебя нет дачи. Но вы работаете с писателями, живёте рядом с ними... Наверное, у многих есть дача! Уговори кого-нибудь из них взять к себе на дачу крокодила и разбить для него на участке небольшой прудик...

– Таня, это невозможно! Я никому не могу такое предлагать!

Таня обиделась на меня.

Я рассказала Вальке о её просьбе, и он рассмеялся, хотя, в силу своей давней любви к животным, и пожалел крокодила. Наверно, тому очень не хотелось отправляться в зоопарк...

Спустя некоторое время Валька заболел гриппом, с высокой температурой и прочими банальными, но при этом мучительными признаками болезни.

Чтобы не заражать детей, он переселился с Песчаной на Метростроевскую. Прилечь он, однако, не мог: у него *шла* статья в номер. То и дело приезжала из редакции курьерша: привозила гранки, вёрстку, полосу. Он сидел, закутавшись в плед, правил гранки, вёрстку и т.д., торопясь отпустить курьершу.

Но последняя курьерша уезжать не торопилась.

Ей предложили чаю. Она отказалась. Застенчиво попросила:

– Валентин Александрович, пожалуйста, дайте посмотреть крокодила!

– Какого крокодила?

– Валентин Александрович! Все шофера знают, что у Вас дома, в ванной, живёт крокодил! Ну, пожалуйста, дайте хоть взглянуть на него!

И тут Валька вспомнил: не так давно, после очередного ночного дежурства в редакции, он шутки ради, уже в машине, развозившей ночных дежурных по домам, рассказал одному из коллег, будто по просьбе приятеля – египтолога, он приютил у себя дома крокодила.

Разговор этот слышал шофёр и, видимо, потом передал его содержание всем другим шофёрам...

Давясь смехом (сквозь грипп!), Валька сказал курьерше:

– Что ж! Зайдите в ванную! Убедитесь!

– А он не кусается?

– Нет, нет! Ступайте!

Она робко приоткрыла дверь в ванную, потом зашла внутрь и тут же вышла, совершенно разочарованная:

– Так где же Ваш крокодил?

– Нет у меня никакого крокодила! Кто может дома крокодила держать?

Курьерша тут же простилась, не скрывая досады, и уехала.

Выздоровев и вернувшись в редакцию, Валька, однако, с удивлением узнал, что легенда о крокодиле продолжает жить и даже обросла новыми «детальками».

Оказывается, курьерша, в ответ на вопросы шофёров, рассказала в диспетчерской, будто Островский и вправду показал ей крокодила, живущего у него в ванной.

– А как же Островский моется?

– А прямо так, вместе с крокодилом. Тот же не кусается!

– А чем же он его кормит?

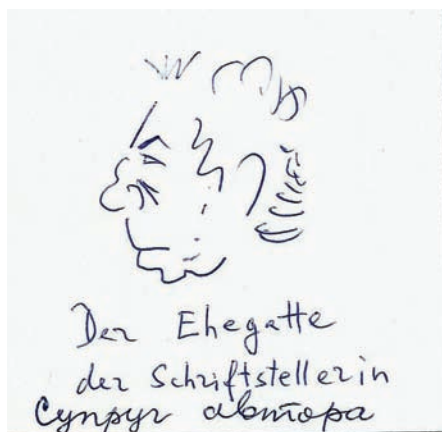
– Известно чем – консервами!

– Господи, с ложечки кормит?

– Да нет! Он бросает ему консервные банки прямо в пасть! Крокодилу, с его зубами, всё нипочем!

Так вот иной раз рождаются легенды...

2007 г.



Автошарж В. Островского

### «Психотропушка»

В доперестроечном или в первом перестроечном году отделом зарубежной литературы в редакции московской «Литературной газеты» заведовал некто Олег Битов, брат известного и преуспевающего писателя Андрея Битова, прозванный за характерный беличий прикус «Щелкунчиком».

Никто не сомневался в том, что он пользуется благосклонностью некоторых органов, да он и не скрывал этого, а, напротив, охотно разъяснял коллегам, что в иностранном отделе редакции всегда будут выездные и невыездные сотрудники: к примеру, Островский, несмотря на все его познания, всегда будет невыездным, а он, Битов, будет всегда выездным.

И вот его послали в Италию, вроде бы по литературным делам.

Но вдруг... сенсация! Каким-то образом Щелкунчик оказался в Англии. На пресс-конференции и в серии газетных статей он заявил, что порывает с советской властью, которую всегда терпеть не мог, как, впрочем, и все сотрудники отдела.

Его жена и школьница-дочка были в шоке. Тем более что их сразу взяли под свою опеку соответствующие органы. Всё это можно было предвидеть, но и это не остановило Щелкунчика.

И вдруг... новая сенсация!

Щелкунчик снова в Москве! Очевидно, органы «помогли» ему вернуться на любимую родину.

На пресс-конференции в Москве он заявил, что, оказывается, в Италии его похитили западные спецслужбы и – под воздействием сильных психотропных средств – перевезли в Англию. Все его выступления в этой стране смонтированы и сфальсифицированы, а не то «написаны под дулом револьвера».

Как честный советский журналист, неповинный в пережитой передрыге, он был возвращён в редакцию «ЛГ» и водворён на своё прежнее место<sup>159</sup>.

Никто из сотрудников, однако, не хотел с ним общаться, хотя бы из-за того, что он «продал» их, заявив в Англии, что они тоже ругали советскую власть.

И тогда Валентин Александрович Островский написал свою знаменитую «Психотропушку» на мотив известного русского городского романа «За окном черёмуха колышется»<sup>160</sup>.

Ой, меня украли на чужбинушке,  
Как свинью, засунули в мешок.  
По головке били и по спинушке.  
До родного дома путь далёк!  
Надоело путаться с разведками,  
Как-никак я честный патриот.  
Поживу опять с женой и детками,  
Обойдусь без «фордов» и «тоёт».  
Мне не надо серебра и золота,  
И не нужен мне аккредитив,  
Мне не жаль, что жопа вся исколота,  
Жаль, что мне не верит коллектив!

«Психотропушку» сразу запела вся редакция.

Несчастному Битову некуда было от неё скрыться, тем более что его кабинет располагался рядом с отделом, где особенно часто её певали...

---

<sup>159</sup> Более подробно эта история описана в моей книге «По следам Таганрогских родичей» – М.: издательство Триумф, 2015. Любопытна версия, выдвинутая сотрудником «Литгазеты» Бородиным, близко знавшим Олега Битова («Дважды перебежчик» – альманах «Лебедь», 2008, № 561): «В источниках на английском языке Олега Битова прямо называют агентом КГБ. ...Я выстроил вероятную реконструкцию этой истории. Офицером КГБ он наверняка не был, но перед командировкой на Венецианский кинофестиваль или раньше был завербован. Какое именно задание он получил, можно строить только предположения. Это могла быть журналистская задача ...притвориться перебежчиком и дать тягу с целью проникновения в редакцию того или иного антисоветского радиоголоса, или сдать западным спецслужбам, честно рассказав о полученном от КГБ задании, чтобы отвлечь их или дезинформировать. С психологической точки зрения кандидатура Олега для выполнения подобной миссии подходила идеально: слабохарактерный интеллеktуал-гуманитарий с развитым воображением, натренированным многолетней литературной деятельностью. И роль невозвращенца выглядела для него естественно – язык он знал прекрасно, в то время перебежчики на Западе поощрялись, а советология была хлебной профессией. Неудивительно, что в Лондоне ему удавалось целый год пудрить мозги тамошним спецслужбам, нахватать издательских авансов и, по ряду свидетельств, очень неплохо жить. А когда неведомое задание было выполнено, он совершил обратную рокировку. Судя по тому, как лихо он её провернул, без участия агентуры и тщательно разработанного плана тут не обошлось. В.Ф

<sup>160</sup> В этом романсе есть такие строки (В.Ф.):

Ах, зачем тобою сердце вынута!  
Для кого теперь твой светит взгляд?  
Жаль не то, что я тобой покинута,  
Жаль, что люди много говорят.



Моему дорогому мужу – Валентину Островскому



Валентин Островский и Софья Тарханова. 19.06.2000

Эти стихи я подарила ему 29-го мая 1998 года, в день его 75-летия.

Ни на что нам не надо зариться,  
Пусть бушует девятый вал.  
«Я хотел бы с тобой состариться», –  
Ты мне в молодости сказал.

Свершилось. Заказ исполнен.  
Но не убыл огня накал,  
И горячего счастья волны  
Застылают девятый вал.

Не кори, я банальный автор, –  
Просто видится всё ясней:  
Мы уже живём в нашем «завтра»  
Много лет

И так мало дней...

Пусть, мой милый, судьба коварна  
(Уж и сколько об этом книг!), –  
Я тебе за всё благодарна:  
За всю жизнь

И за каждый миг.

Девять лет спустя:

Казалось бы, всё уже сказано,  
Очерчена панорама.  
Билеты «туда» заказаны,  
Где ждут нас папа и мама.

В Аполлоновском зале<sup>161</sup> акустика –  
Для нас мучительный искус.  
Но по саду алеют кустики:  
Радость сулит гибискус...

Ушли от напасти грозной,  
От изломов судьбы капризной,  
Ты провёл меня виртуозно  
Через минное поле жизни.

Были б тщетны мои старанья,-  
Доброй воли одной мерило,  
Но твоей улыбки сиянье  
Весь наш путь озарило.

Если от всех моих писаний, да и от меня самой, останутся  
только эти два «документа», я уже буду счастлива.

Фульда, 29.05.07

### Из писем С.А. Тархановой:

Сегодня Валькин день рождения. По этому случаю в саду распустились первые розы и в одном из мини-прудилов выплыли из укрытия золотые рыбки, скрывающиеся от хищных птиц. И звонки, звонки, звонки от друзей отовсюду.

Хоть мы никого и не приглашали, решив провести этот вечер вдвоём, но две приятельницы объявили, что всё равно приедут вечером поздравлять Вальку. Надо будет приготовить вкусный ужин.

29 мая 2001 г

---

<sup>161</sup> Это фульдская «Оранжерея» – «место проведения события». Если толкнуть среднюю дверь, войдёшь в Аполлоновский зал, где 18 мая праздновалась свадьба Ленки и Олафа (Из письма С. Тархановой).



Когда человека окружают хорошие люди, что это значит?

**5 октября 2002 г.**

Я пишу эти строки за столом в большой комнате, выходящей окнами (и дверью!) в сад. Напротив меня – поглощённый чтением голландской газеты – сидит мой дорогой Валька.

Белые кудри ему к лицу.

Нам так же хорошо вдвоём, как полвека назад.

**Февраль 2007 г.**



Дом в тихом немецком городке Фульда...

Лотар своими руками построил этот дом и разбил вокруг него прекрасный сад.

В этом доме мы живём. Дом снят со стороны, обращённой в сад. Все окна в 1-м этаже – это окна нашей квартиры. А дверь ведёт прямо в нашу большую комнату – гостиную.

Розы выются за окном нашей большой комнаты в доме нашей дочки Нади и её немецкого мужа Лотара.



В красном венчике из роз. Это я в саду у нашего порога.

Дочка и зять трогательно заботятся о нас.

**Июнь 2000 г.**

## О Лилиане Лунгиной

С Лилей Лунгиной<sup>162</sup> я познакомилась в 1975 году. Она пришла ко мне домой на Аэропортовскую, где была наша последняя московская «резиденция». Наш друг Лиана Яхнина (безусловно, классик художественного перевода) просила её отрецензировать мои переводы, с тем, чтобы меня приняли в секцию переводчиков ССП (Союза советских писателей). Лилия была весьма подходящим рецензентом, т.к. переводила с тех же языков, что и я – с французского, немецкого и скандинавских. С её стороны это рецензентство было чистейшей любезностью. Но Лилия вообще была очень доброжелательная. Сама она уже давно была членом ССП.

Она пришла к нам и сразу забрала кучу книг с моими переводами. Мы договорились, что остальные необходимые экземпляры я сама принесу к ней домой.

Не знаю уж, как случилось, что именно в этих обстоятельствах, нагрузив её рецензентством, я поделилась с ней своими сомнениями: не стыдно ли добиваться приёма в этот так называемый «Союз»...

– Нет, – сказала Лилия, – невозможно полностью изолироваться от среды, в которой мы живём.

И рассказала про друга её семьи, бросившего интеллигентную профессию и московскую квартиру, бежавшего в какие-то дикие леса, где устроился лесником, кормился там, чем бог пошлёт, сам выпекал хлеб...

– Да, – горько усмехнулась Лилия, – но ведь мука-то была советская... Полностью изолироваться невозможно!



Лилианна Зиновьевна Лунгина

---

<sup>162</sup> Лилианна Зиновьевна Лунгина́ (Марко́вич; 1920-1998) – российский филолог, переводчик художественной литературы. Детство провела в Германии, Палестине и Франции, в СССР вернулась в 1934 г. Окончила филфак МГУ и аспирантуру ИМЛИ им. Горького. Преподавала французский и немецкий языки. Настоящую известность ей принес перевод книг А. Линдгрена, в первую очередь сказок о Карлсоне, «Пеппи Длинныйчулок», «Приключения Эмиля из Леннеберги», «Рони, дочь разбойника». В.Ф.



Лиля отрецензировала мои переводы, отозвалась о них с похвалой – в письменном виде – и написала мне рекомендацию (в Союз писателей).

Но сначала я должна была сама придти к ней домой и притащить остальные необходимые книги.

Она пригласила меня сделать это без отлагательства.

И я пришла к ней в этот большой дом (кажется, на Новом Арбате, но точно не помню), где её семья занимала большую квартиру.

Лиля была довольно высокая, плотного сложения женщина, со светлой кудрявой шапкой волос. Она приятно грассировала, что казалось вполне естественным: ведь французский был для неё, можно сказать, родным языком.

Её мужем был Семён Лунгин, известный киносценарист, кинорежиссёр, драматург. Его, равно как и Павла Лунгина, ныне знаменитого кинорежиссёра, создателя фильмов «Такси-блюз», «Остров», «Царь» и др. – я дома тогда не застала.

Мы сидели с Лилей в проходной комнате рядом с передней, почти целиком занятой грудой больших грязных мужских ботинок.

Доставив книги, я хотела сразу же ретироваться, дабы не отнимать у Лили время сверх необходимого. Но Лиля с её радушием и гостеприимством, не отпустила меня. Завязался оживлённый разговор, касавшийся поначалу переводческих проблем, но очень быстро обратившийся в весёлый и дружеский.

Время от времени приоткрывалась входная дверь, и сквозь дверную щель в переднюю летели опять же мужские ботинки. Очевидно, друзья дома, а их у Лунгиных всегда было очень много, деликатно скрывались куда-то, боясь помешать нашей профессиональной беседе.

Любая другая домохозяйка, даже такая плохая, как я, тысячу раз вскочила бы, чтобы как-то прибрать переднюю.

Не то Лиля. Она невозмутимо сидела в своём кресле, продолжая наш разговор – сначала о новых веяниях в западной литературе, о группе «Новая волна» (*La nouvelle vague*) – ведь мы с Лианой перевели интереснейший роман представителя этой группы Мишеля Бютора «Изменение» (*“La Modification”*).

Кстати, основательница «Новой волны» Натали Саррот (Nathalie Sarraute) как-то раз приехала в Москву и посетила редакцию «Литературной газеты», где я тогда работала.

– Встречайте писательницу, она уже поднимается к вам в лифте! – сказали мне.

Я стрелой понеслась к лифту, из которого уже выходила маленькая, плотно сбитая чёрноволосая женщина.

– Madame, – начала я – nous sommes tres heureux de pouvoir vous saluer...

– Деточка, не старайтесь, – на чистейшем русском языке прервала меня основательница «нового романа». – Я Наталья Ильинична Черняк из города Витебска!<sup>163</sup>

«Sarraute» она была по мужу – француз.

Но я отвлеклась от главного, о чём хотела рассказать – о моей тогдашней встрече с Лилей Лунгиной.

Итак, Лиля невозмутимо восседала в своём кресле, не обращая ни малейшего внимания на растущую гору грязных ботинок по соседству. В тапочках прошёл через нашу комнату – из соседней – младший сын Лили –

---

<sup>163</sup> **Натали Саррот** (1900-1999) – французская писательница, адвокат. Родилась в Иваново-Вознесенске в образованной еврейской семье. Отец, Илья Евсеевич Черняк (?-1949) – инженер-химик, основал в Иваново-Вознесенске мануфактуру, в которой занимался промышленным производством красителей. В.Ф.



Женя<sup>164</sup>, очень милый молодой человек. Кажется, он был тогда студентом ГИТИСа.

В его комнату, быстро сменяя друг друга, беспрерывно входили и выходили разные девицы, наверное, тоже студентки, а может уже и актрисы...

Лиля весело смеялась. Впоследствии Женя женился на театроведке – итальянке и уехал с ней в Италию, но вскоре рассорился с ней и перебрался из Италии во Францию (братья Лунгины окончили в Москве так называемую французскую школу), где жил на птичьих правах и испытал множество трудностей.

Он не мог получить работу во Франции. И чтобы как-то прокормиться, вдвоем с приятелем ремонтировал квартиры желающим. Желающие находились. Но когда дело доходило до платы – многие клиенты поступали подло – отказывались платить. Зная, что молодым людям не найти на них управу («птичьи права»!), они попросту выставляли их за дверь, угрожая донести на них властям: мол, нелегально проживают во Франции, да ещё работают «по-чёрному»!..

И бедные ребята (не знаю, кто был напарником Жени) жили впроголодь.

Сейчас я прочитала в Лилиной книге «Подстрочник», что Жене помогали её парижские друзья. Но тогда, в наших московских беседах, она об этой помощи не упоминала, и было видно, что она очень беспокоится за сына.

Впоследствии его дела поправились. Он женился на француженке, издательнице, и оказался, можно сказать, при деле.

Случайно я услышала по радио «Свобода», которое тогда ещё удавалось принимать, что некто Сеземан<sup>165</sup>, известный специалист по французскому языку и французской литературе, говорил: «Безумный молодой человек, Женя Лунгин, задумал заново перевести всего Достоевского на французский язык!».

Не знаю, были ли и впрямь у Жени такие планы и, если да, то удалось ли ему их осуществить хотя бы частично. В своей книге Лиля об этом не упоминает.

Однако ясно, что и Женина карьера в дальнейшем сложилась вполне благополучно.

А уж о знаменитом Павле Лунгине и говорить нечего. Однако, фильм о маме – Лиле Лунгиной, – снял не он, а Дорман<sup>166</sup>.

В тот раз, когда Лиля впервые пришла в наш дом, мы заговорили с ней о том, откуда у нас эти знания европейских языков. Я сказала: очень просто, мой отец работал в соответствующих странах в советских торгпредствах, и я там всюду училась в школе.

Лиля сказала:

– Верно! Т.е. эти языки – не выученные, а воспринятые естественно в естественной среде! Это самый лучший вариант!

Лиля тоже жила в Германии и во Франции, а вот шведский язык изучила, когда училась в аспирантуре филфака МГУ.

А всё же уровень знания языка зависит в первую очередь от личности человека, тем или иным путём его освоившего. Мой дорогой супруг Валентин

<sup>164</sup> Лунгин Евгений Семёнович (р. 1960 г.) – театровед, кинорежиссёр, драматург, сценарист. Режиссёр фильмов «Путешествие во влюбленность» (2007), «Самый лучший вечер» (2008). В.Ф.

<sup>165</sup> «Некто Сеземан» – Сеземан Дмитрий Васильевич (1922-2010) – переводчик, литературовед и писатель. Принимал участие в работе по составлению новой редакции французско-русского словаря. В.Ф.

<sup>166</sup> Дорман Олег Вениаминович (р. 1967 г.), кинорежиссёр. Фильм «Подстрочник» чиновники 11 лет не пускали на экран («Публике не нужен такой фильм»), а потом присудили ему премию ТЭФИ, от которой автор с возмущением отказался. Я и члены моей семьи (да только ли мы?) с увлечением смотрели этот четырёхсерийный фильм. И книгу «Подстрочник» читали, она стоит у меня на полке. В.Ф.

Островский, виртуозно освоивший 13 языков<sup>167</sup>, – лучший тому пример. Все эти языки – английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, норвежский, датский, шведский, голландский, суахили, японский, индонезийский, – он изучил самостоятельно, без помощи каких-либо учителей, задолго до того, как ему довелось побывать в соответствующих странах. А в некоторых странах ему так никогда и не удалось побывать, о чём он очень жалеет. Так, он никогда не бывал ни в Испании, ни в Португалии, не говоря уже о таких странах, как Япония и Танзания.

Тем не менее, когда президент Танзании Ньерере перевёл одну из пьес Шекспира на суахили, мой дорогой муж по собственной инициативе отрецензировал этот перевод и предложил поправки, улучшающие текст. (Правда, из-за этой рецензии – Валька отправил её Ньерере письмом по почте – меня вызвали в отдел кадров «Литературной газеты», и добрый кадровик Иван Андреич накричал на меня: – Твой-то, что, совсем свихнулся? Смотрите, доиграетесь!).

Тем не менее, странным образом Ньерере всё же получил эту рецензию и на страницах научного издания поблагодарил Вальку за его поправки!..

Но вот я снова отвлеклась от рассказа о Лиле. Но думаю, что отступление с похвалой собственному мужу мне простится.

Мы с Лилей установили – в тот самый первый раз, – что были в Париже в одно и то же время. Я вспомнила карнавал, который устроили в советском посольстве для детей сотрудников. Мне тогда было 6 лет (в костюме зайчика!), и неизгладимое впечатление на меня произвела девятилетняя девочка, исполнившая на сцене танец с бубном.

Лиля рассмеялась:

– Так это же была я!

Надеюсь, что и мне, в свою очередь удалось помочь в чём-то Лиле. Она перевела для Детгиза ещё две книги Астрид Линдгрэн<sup>168</sup> (кроме знаменитых «Карлсона» и «Пеппи»): «Эмиль из Лённеберги» и «Рони – дочь разбойника». Контрольную редакцию этих переводов сделала я.



Почтовая марка, посвящённая Карлсону, который живёт на крыше

В Ленинграде в те годы жила скандинавистка по фамилии Брауде<sup>169</sup>, ученица милой, хорошо нам знакомой Марианны Петровны Ганзен-

<sup>167</sup> Кто-то насчитал 14, кто-то 16 языков, хотя без подробного перечня. Правда, индонезийский (малайский) язык – это целая группа языков. Так сколько языков знал Валентин Островский? На мои прямые вопросы сам он лишь посмеивался: «Столько, сколько мне нужно». В.Ф.

<sup>168</sup> Астрид Анна Эмилия Линдгрэн (1907-2002) – знаменитая шведская писательница, автор ряда всемирно известных книг для детей. В.Ф.

<sup>169</sup> Людмила Юльевна Брауде (1927-2011) – советский и российский скандинавист, переводчик и литературовед. В.Ф.

Кожевниковой. Эта дама (Брауде) капала на Лилю в московские издательства, что ей, мол, совершенно ясно: все Лилины переводы сделаны не со шведского, а с немецкого.

Как автор нескольких контрольных редакций свидетельствую, что это не так: я сверяла её тексты со шведским оригиналом.



С.А. Тарханова. Фото 1981 г. из удостоверения участника ВОВ

Научному (бывшему) руководителю Лили – Адмони<sup>170</sup> – пришлось вызвать Брауде на бюро секции переводчиков и разъяснить ей, что её поведение неэтично.

Но всё равно – она не унималась до самой смерти Лили.

А потом разыгралась поучительная история. О ней мне рассказала Лиана Яхнина – в письмах и по телефону из Москвы (мы тогда уже жили в Фульде).

Брауде часто ездила в Швецию (странным образом даже в доперестроечные годы) и всякий раз навещалась к Астрид Линдгрэн, которую она уверяла, будто Лилия в своих переводах искажила её творчество, и престарелая Астрид стала дуться на Лилю (об этом мне успела рассказать ещё сама Лилия).

После смерти Лили эта Брауде демонстративно заявила, что отныне не считает возможным Лилю критиковать.

Однако, продолжая навещаться к Астрид, она уговорила её предоставить ей исключительное право на перевод всех её книг. И издательство «Вагриус» издало эти работы.

Всем – не только профессионалам – известно, что перевод – дело сложное. Во власти переводчика донести до читателя авторский талант во всем его блеске. Но с тем же успехом переводчик может попросту «убить» автора.

Словом, издательство «Вагриус», выпустившее в свет книги Линдгрэн, получило однажды сердитое письмо от одной учительницы из какой-то сибирской школы. Та писала, что рассказывала своим ученикам про книгу «Карлсон, который живёт на крыше», полюбившуюся ей ещё в детстве, и всячески её хвалила.

---

<sup>170</sup> Владимир Григорьевич Адмони (1909-1993) – советский лингвист, литературовед, переводчик и поэт, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Гёттингенской академии наук, доктор honoris causa Упсальского университета. Председатель бюро секции художественного перевода Ленинградского отделения СП СССР. В.Ф.

– Да что Вы! – возразили ей ученики. – Мы читать её не хотим! Заглянули и увидели: это самая скучная книга на свете!

Учительница стала наперебой приводить запомнившиеся ей «блёстки», к примеру про Карлсона: «в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил», да и другие..

– Ничего подобного в книге Линдгрэн нет! – уверяли ученики.

Учительница раскрыла одну из изданных «Вагриусом» книг. И, правда: никаких весёлых сентенций там не было – одна серая тоска...

Это был «Карлсон» в переводе Брауде.

Рассерженная учительница грозила опубликовать всю эту историю в печати, устроить громкий скандал.

И «Вагриус» мгновенно издал всё те же книги Линдгрэн... но уже в переводе Лунгиной!..

Вот такую историю рассказала мне Лиана в письме из Москвы...

Дело в том, что у Лили был литературный талант!

Любопытная деталь: во всех фильмах Павла Лунгина роль главного героя исполнял Пётр Мамонов<sup>171</sup>, которого в русскоязычной печати уже давно именуют «великий Мамонов».

Пётр Мамонов, сын другой скандинавистки, отличной переводчицы и очень милой женщины – Валентины Мамоновой (мы с Лианой с ней дружили).

Как случилось, что сыновья двух скандинависток – Павел и Пётр – нашли друг друга в космосе киноиндустрии и скрепили этот творческий союз – для меня загадка: Лилия с Валентиной Мамоновой домами не встречались. Творческий союз сыновей, однако же, нерушим...

В «Подстрочнике» Лилия рассказывает – рисует – свою жизнь, жизнь своей семьи, друзей и знакомых на широком фоне тогдашних событий. Она словно бы задалась целью написать историю советской интеллигенции. Такое вот широкое полотно разостлала она... Я думаю, именно этим обстоятельством, а не только захватывающей биографией Лили, – объясняется интерес, который вызвала эта книга у многих близких наших друзей.

Ещё вспомнились две детали, связанные с Лилей.

Первая: из дальних странствий возвратясь в начале 30-х гг., она, как и я, попала в Немецкую школу им. Карла Либкнехта в Москве. Только школа эта вначале располагалась не на Кропоткинской (в новом здании, куда позднее каждый день ходила и я), а где-то в другом месте. Отец Лили очень скоро перевёл её в другую (русскую) школу. Лилия в своей книге пишет, что он, оказывается, предвидел неизбежную будущую судьбу Немецкой школы: в 1937 г. она была закрыта, как «питомник потенциальных шпионов», чему предшествовал арест части наших учителей и старших учеников.

Другая: приехав в Советский Союз, Астрид Линдгрэн, как и многие зарубежные писатели, посетила редакцию «Литературной газеты», где я взяла у неё интервью. У нас в редакции Астрид не танцевала. (Лилия пишет, что Астрид ночью танцевала на московских улицах). Но, безусловно, была в приподнятом настроении, радовалась успеху своих книг в Советском Союзе и была благодарна Лиле, этот успех обеспечившей. Ни тени какой-нибудь обиды на Лилию у неё тогда не было, да и быть могло.

Май 2010 г., Фульда

---

<sup>171</sup> Пётр Николаевич Мамонов (р. 1951) – русский рок-музыкант, актёр, поэт. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и спектаклям. В.Ф.

### Судьба

В 1987-ом году моя подруга Лиана Яхнина<sup>172</sup>, замечательный переводчик – скандинавист, впоследствии Командор ордена Полярной Звезды (король Швеции наградил её этим орденом за её прекрасные переводы многих шведских книг и руководство «шведским» семинаром в Москве), побывала в Стокгольме на семинаре для переводчиков шведской литературы.



Юлиана Яковлевна Яхнина

Вернувшись, она пришла к нам в гости на Аэропортовскую и протянула мне визитную карточку:

– Что это? – спросила я.

– Не что это, а кто это! – поправила меня Лиана.

Я прочитала:

«Израиль Миттельман<sup>173</sup>, присяжный переводчик и лектор Стокгольмского университета, Санкт-Эрикsgатан 13, Стокгольм».

– Очень приятно, – сказала я, – но почему?..

И Лиана рассказала:

На одном из собраний семинара в Стокгольме, на котором присутствовали также разные шведские русисты, к ней подошёл небольшого роста пожилой человек, в котором она безошибочно определила русского еврея. Вообще-то она заметила его ещё раньше, настолько резко отличался он от остальных – рослых светловолосых скандинавов. Ей сказали про него:

– Это очень уважаемый человек с очень трудной судьбой. Он преподаёт русский язык в Стокгольмском университете. Он воспитал не одно поколение русистов.

---

<sup>172</sup> Юлиана Яковлевна Яхнина (1928–2004) – российский переводчик и литературовед. Племянница Юлия Мартова. Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова (1950). Член Союза писателей СССР (1968). Переводила с французского, шведского, норвежского и датского языков. Вела переводческий семинар. В.Ф.

<sup>173</sup> Шведский писатель Стаффан Скотт, автор книги «Романовы. Царская династия. Кто они были? Что с ними стало?». Пер. со шведского Марии Николаевой при участии автора. – Екатеринбург: Ларин, 1993. – 351 с., написал: «На кафедре славистики Стокгольмского университета в мои студенческие годы преподавали три выдающихся русских педагога: Александра Эйхе, Израиль Миттельман и покойный Сергей Риттенберг. Предисловие к моей шведской книге для русских читателей мне хочется закончить словами: радуйтесь и гордитесь, что у вас за рубежом были подобные соотечественники». ([http://you1917-91.narod.ru/skott\\_romanov.html](http://you1917-91.narod.ru/skott_romanov.html)). В.Ф.



– Скажите, пожалуйста, Вам что-нибудь говорит имя Сони Тархановой? – спросил он Лиану.

Ответ Лианы нетрудно угадать.

Узнав, что мы близкие подруги, её собеседник стал осторожно объяснять:

– Кажется, мы с ней в родстве. Я посетил семью Тархановых в Москве в 1931-м году. Соню тогда только что привезли из Парижа. Ей было всего 8 лет, так что она наверняка меня не помнит. А мне было 19 лет, я учился в Институте журналистики в Ленинграде и в Москву заехал ненадолго. Тогда я и побывал у Тархановых на Чистых Прудах...

Вот, пожалуйста, передайте это Вашей подруге (он протянул ей визитную карточку)! Если захочет, она теперь может написать мне или позвонить!

Мне очень стыдно, но моя первая реакция была, как теперь говорят, «совковой»: советским людям не полагалось иметь родственников за границей, тем более звонить им или же писать. И я долго не решалась это сделать.

Да и мысли мои были заняты другим. В двух разных квартирах, нашей и на Песчаной<sup>174</sup>, лежали тогда, прикованные к постели, наши мамы – Валькина и моя, и в обеих «точках» надо было обеспечить уход.

В конце 1987-го года умерла моя мама. С невероятными трудностями я перевезла урну с её прахом на Немецкое кладбище, к папе...

Не было настроения переписываться.

В 1988-м году я всё же позвонила в Стокгольм. А потом и написала. Таинственный незнакомец оказался папиным племянником (сыном его кузины). К Новому году он прислал мне письмо.

В октябре 1989-го года мы с Валькой поехали в Швецию по приглашению нашей приятельницы Ингрид, которая преподавала русский язык в университете города Уппсала. Дней десять мы тогда же провели в доме Миттельманов в Стокгольме.

Наш путь лежал из Москвы в Хельсинки – поездом, а из финской столицы в Стокгольм – на огромном корабле – пароме линии «Сильялайн».

– Мы встретим вас у причала! – сказал по телефону Изя.

– Спасибо! Но как мы вас узнаем?

– Очень просто: мы маленькие, а кругом все длинные. А как мы узнаем вас?

– Мы оба седые и, боюсь, очень лохматые...

В самом деле, мы легко узнали друг друга. Миттельманы на такси увезли нас к себе домой на Санкт-Эрикsgатан. Они жили совсем неподалёку от набережной у озера Меларен.

Ещё за ужином Изя начал рассказывать. Видимо, ему не терпелось, наконец, поведать о своей судьбе своим. Как и нам не терпелось услышать этот рассказ – без телефонов и подслушивающих устройств – об этой судьбе, как мы уже догадывались, – удивительной.

Изя, как я уже упомянула выше, был папин племянник, сын двоюродной сестры моего отца – Иды, которая жила в Петрозаводске.

Здесь, на Санкт-Эрикsgатан, Изя почти ничего не рассказал нам о своём детстве и юности – так торопился он изложить главный сюжет своей жизни.

Изя вырос в Петрозаводске, окончил Институт журналистики в Ленинграде, потом работал в иностранном отделе «Ленинградской правды».

– Призвали в армию, прошёл лейтенантом финскую войну, откуда чудом вернулся живым, – рассказывал далее Изя.

---

<sup>174</sup> Так тогда именовали улицу Алабяна. В.Ф.

На фронте, во время этой войны, лейтенант подобрал из любопытства несколько финских журналов. Он не знал финского языка и прочитать в этих изданиях ничего не мог. Но оформление этих изданий, качество фотоснимков, наконец, прекрасная бумага, на которой они были отпечатаны – всё это не могло не поразить журналиста, до этого видевшего лишь серые советские «Крокодилы» и прочие «Огоньки».

Интереса ради он сохранил эти журналы, мало того – показывал их знакомым, о чём кто-то из них донёс соответствующим органам.

В конце 1940-го года Изю арестовали.

Его осудили на 7 лет заключения в лагере строгого режима. Судья сказал ему:

– Мы знаем, что у Вас не было злого умысла. Если бы установили такой умысел, приговор был бы куда строже. Но Вы – образованный человек и должны были понимать, что нельзя хранить у себя образчики вражеской пропаганды.

Изя угодил в лагерь в районе Кандалакши, у финской границы. Заключённые валили лес. Голодные. В стужу. Изя понял: «в лагере мне не выжить».

По его просьбе родители прислали ему сухой колбасы и махорки. Лес кругом был густой. Стволы стояли близко один к другому. Зато эки за работой стояли не так близко друг к другу: каждому ведь требовалось «оперативное пространство». Не сразу заметили поэтому, как Изя – в один прекрасный день – крадучись за деревьями выбрался на опушку, – и кинулся бежать...

Он бежал изо всех сил в сторону от лагеря и лесоповала, к финской границе. Услышав лай собак, понял: погоня началась. Стал разбрасывать махорку, чтобы собаки не могли взять след.

Семь суток он блуждал по болотам. Потеряв ориентировку, ходил по кругу. Кончилась колбаса, присланная родителями. Он стал есть траву и пить болотную воду. Совсем выбился из сил, и всё стало ему уже безразлично. И вдруг...

Он увидел деревянную хижину или, может, будку. Подошёл к ней, толкнул дверь и увидел кровать. Он повалился на неё и заснул.

Когда он проснулся, он увидел, что у зажжённого очага сидит человек и варит суп. Это был лесник – финский лесник. Судьба вывела Изю к будке лесника, уже на финской земле.

Увидев, что его «гость» проснулся, финн прежде всего накормил его супом. Потом он сказал:

– Я должен сдать вас пограничникам.

Так Изя оказался в Финляндии.

Всё это было в июне 1941-го года, за две недели до гитлеровского нападения на Советский Союз. Изю интернировали. Кормили и содержали при этом куда лучше, чем в советском лагере. Три года затем Изя просидел в тюрьме. Это были годы... напряжённого чтения.

Потом сам Изя напишет: «в финской тюрьме беглый советский лагерник всю войну мог читать на русском языке и Салтыкова-Щедрина, и «Город солнца» Кампанеллы и всё прочее, что в своё время читали, вероятно, русские социал-демократы».

Шла война. Финляндия, как известно, состояла в обозе у гитлеровцев. Те требовали отправки всех финских евреев в соответствующие лагеря. (В Эстонию уже были отправлены человек десять, которых ээсовцы тут же

убили). Но, кажется, фельдмаршал Маннергейм, тогдашний президент Финляндии, не был антисемитом и не спешил выполнять фашистский приказ.

В самый последний момент добрые люди – финские евреи – устроили Изе переезд в Швецию, внеся (против всех правил, поскольку он не был финским гражданином) его имя в список пассажиров последнего корабля, вывозящего евреев из Финляндии.

Так Изя был вторично спасён от гибели.

В июле 1944-го года он прибыл в Швецию. Здесь его поначалу тоже интернировали, но ему уже было не привыкать. Среди других интернированных оказалась и его будущая жена – Нора. Они поженились 9-го мая 1945-го года, в день Победы, о чём Изя всегда вспоминал с особым удовольствием.

У Норы тоже была своя история. Она была родом из Санкт-Петербурга, где её отец владел заводом. В момент Октябрьской революции вся семья фабриканта находилась за границей, в Париже. Было ясно, что возвращаться нельзя. Семья переехала в Финляндию. Отец Норы пытался и там развить деловую инициативу, но ничего на новом месте у него не вышло, и семья скоро осталась без средств к существованию. Бедность не позволила Норе получить высшее образование, о чём она всю жизнь жалела.

– Из-за этого я осталась невеждой, – сказала она мне с грустью.

Впрочем, тогда в Финляндии, Нора ещё подростком сделала практический вывод из ситуации и стала учиться ремеслу. Она выучилась искусству выделывания цветов на дамских шляпках.

По прибытии в Швецию Нора отправилась в магазин шляп и, продемонстрировав своё искусство, сразу получила работу.

– Подчас я даже зарабатывала больше Изи, – сказала она мне с гордостью.

После эпизода с интернированием, ей, как и Изе, разрешили поселиться в Швеции, Изе – под подписку, что он не будет заниматься политической деятельностью.

Первые годы в Швеции были годами «эмигрантских университетов», – рассказывал Изя. Сначала он работал на фабрике, потом в типографии.

В те дни в Стокгольме, когда мы с Валькой жили у Миттельманов, мы посетили издательство «Бонньерс», чью продукцию мне довелось переводить.

– Как же, как же, – усмехнулся Изя, – я не один год проработал у них в типографии – знакомое издательство.

Десять лет Изя служил в юридической конторе.

«Прорыв» в его профессиональной жизни наступил после того, как он издал небольшой шведско-русский и русско-шведский словарь. Изю, что называется, заметили и пригласили в Стокгольмский университет – преподавать русский язык. Это произошло в 1961-м году. С тех пор и до выхода на пенсию Изя работал в университете и воспитал там не одно поколение русистов.

Параллельно он вёл и другую работу – переводческую, – разумеется, с той поры, как компетентно освоил шведский язык. Устный перевод, письменный перевод... Очень скоро Изя стал известен, как прекрасный переводчик.

Собираясь с визитом в Советский Союз – после наступления там «оттепели», последовавшей за смертью Сталина – премьер-министр Швеции предложил Изе сопровождать его в качестве переводчика – участника переговоров. Изя объяснил, что не может ехать в Союз:

– Там меня считают преступником, вдобавок сбежавшим из заключения. В своё время мне дали там 7 лет лагеря за то, что я взял на фронте финской войны

несколько финских журналов. Теперь же, если я появлюсь в Москве, меня могут там схватить и судить уже за побег.

Премьер-министр заверил его, что в Москве его будут круглосуточно охранять «наши (шведские) ребята». И Изя рискнул... полетел с премьер-министром в Москву. Всё обошлось благополучно. Хотя какая-то жалкая попытка зацапать его всё же вроде бы была. Изя назвал это «эпизодом с телефонной будкой».

Дело в том, что, оказавшись в Москве, Изя решил позвонить родственникам с телефона-автомата – не из гостиницы, где, естественно, все разговоры подслушивались. В перерыве между переговорами, когда он, окружённый охранниками, ехал куда-то по улицам Москвы, Изя попросил остановить машину возле увиденной им ещё издали телефонной будки. Он вошёл в неё, стал звонить. Охранники деликатно расположились неподалёку.

Вдруг к будке подошли двое неизвестных и даже пытались войти в неё, хотя видели, что она занята. Но тут мгновенно появились шведские охранники, и незнакомцы, сделав вид, что просто ошиблись, де не заметив звонившего, поспешно ретировались. Но Изя в «ошибку» не поверил.

Впрочем, первую весть своим несчастным родителям – о том, что он жив! – Изя послал ещё раньше, в Петрозаводск, сразу же после доклада Хрущёва о «культе личности» Сталина. Он подробно рассказал нам об этом за ужином на Санкт-Эрикsgатан тогда, в октябре 1989-го года.

Было написано письмо, от имени Норы, будто бы давней знакомой Изиных родителей: «Хочу сообщить вам, что я вышла замуж, моего мужа зовут Изя, мы живём хорошо...».

Но весь фокус был в том, что письмо было написано рукой Изи! Что должны были пережить родители, увидев почерк сына, которого считали погибшим...

Отец Изи был так счастлив, что не смог соблюсти конспирацию, рассказывал знакомым:

– А вы знаете, мой сын жив!

А из будки Изя тогда звонил **московским** родственникам. У Изи были в Москве две двоюродные сестры. Я была только троюродной...

Как же всё-таки Изя решился слетать на «родину»? Конечно, прежде всего, из уважения к премьер-министру. Но, возможно, была и другая причина.

Изя и Нора испытывали ностальгию по стране, которая так подло с ними обошлась. (Как видно, неизбывное чувство у русских, да и у русских евреев). Ностальгия эта, естественно, распространялась и на русскую культуру вообще, на литературу русскую, на русский язык. Иногда она принимала комические формы.

Нора рассказала нам такую историю: как-то раз они с Изей ехали куда-то в поезде. (Они вообще много путешествовали, особенно полюбили Италию). Неожиданно из купе в другом конце вагона послышался громкий сочный русский мат. Не размышляя, Изя и Нора помчались в то самое купе:

– Милые, дорогие! Ну, пожалуйста, ещё раз...

Я не знаю, оказались ли матершинники достойны внимания наших супругов, наладился ли после языкового какой-то человеческий контакт. Но дело ведь не в этом.

Тогда, в октябре 1989-го года, мы съездили к Ингрид в Уппсалу на неделю, потом снова вернулись в Стокгольм, на Санкт-Эрикsgатан к Миттельманам. 9-го ноября, сидя вчетвером перед телевизором, мы наблюдали эпизод «падения стены» в Берлине, который на всех нас произвёл большое впечатление.

Настало время отъезда, точнее – отплытия.

Но до этого мы ещё успели побродить по Стокгольму. Поначалу гуляли вчетвером: мужчины – впереди, мы с Норой – сзади. Потом оказалось, что во время этих наших походов Изя придирчиво проверял Валькины познания в шведском и дивился, что мой уважаемый супруг знает даже все шведские матерные выражения.

В последние дни мы уже гуляли одни, бродили по Старому Городу, и было странное ощущение: названия кварталов и улиц словно обретали стереоскопичность – ведь раньше я встречала их только в шведских книгах, пусть даже в моих собственных переводах.

Переводя роман Стриндберга «Одинокий», куда только ни «заходила» я вместе с героем, в котором так легко угадывался автор. (Изя не преминул показать мне как эту, так и другие мои работы, стоявшие у него на полке)...

Но то были, как сказали бы теперь, «виртуальные» прогулки. Здесь же, в Стокгольме, они были реальные, и Валька, словно по волшебству, так безошибочно ориентировался в этом городе, будто коренной стокгольмец...

В положенный день и час Изя с Норой отвезли нас на такси к причалу. Мы простились с нашими гостеприимными родственниками, впоследствии этим милым гостеприимством воспользовалась и Лиана, и отплыли на том же громадном корабле «Сильялайн» в Хельсинки...

О смерти Изи мы узнали от Лианы, которая в свою очередь узнала это от шведских знакомых.

Я позвонила Норе.

– Нет сил оставаться в этой квартире без Изи, – сказала она. И ещё сказала, что уедет к родным, в Финляндию.

Она хотела прислать мне некролог, но, очевидно, забыла – прислала только письмо самого Изи к другу, относящееся к 1978-му году.

Письмо это – хорошее. В нём Изя подробно рассказывает другу о себе.

«На фоне миллионов человеческих судеб, так или иначе искалеченных войной, моя судьба не выглядит особо примечательной и драматичной, – писал с присущей ему скромностью Изя, – но самому мне драматизма хватало...».

Изе было 82 года, когда он умер. Столько же, сколько сейчас и нам с Валькой.

У Изи не было потомков.

Его московские двоюродные сёстры эмигрировали: Мирра – в Америку, Фаня – в Израиль. У обеих были сыновья. Возможно, все они знают об Изе больше меня.

Но я всё же решила написать, как могу, об этом достойном и отважном родиче – человеке необыкновенной судьбы, – чтобы сохранить память о нём.

**17 августа 2005 г., Фульда.**



## **Пропагандист русского языка и русской культуры (По страницам писем из Германии)**

Письма по почте – особенно от нас к вам часто пропадают – очевидно, ищут валюту и, не найдя, выбрасывают всё. Это уже 4-е письмо моё не дошло. **(19 сентября 1992 г.).**

Витюша, это невероятно: твоё письмо от 21.04.96 пришло сюда... вчера. Такого ещё не бывало. Кто-то получает здесь письма из России через 2-3 месяца, а у кого-то они и вовсе пропадают. Даже в нашей (сравнительно) тихой Фульде, и то арестовали тётку, которая служила на нашем центральном почтамте и на протяжении 15 лет вскрывала конверты и воровала деньги, марки, чеки и пр. Всего за 15 лет – на 60 тысяч. **(30 апреля 1996 г.).**

Я сейчас работаю вовсю, стараюсь завершить мои московские переводы, которые не успела закончить дома. Был большой перерыв – я болела. **(9 мая 1991 г.).**

Рука Провидения отвела меня от (псевдо)научной деятельности в сфере (псевдо)науки, к каковой у меня и способностей особых не было<sup>175</sup>, и привела меня к моему любимому делу – литературному переводу, столь преждевременно и резко отнятому от меня нашим вынужденным перемещением в пространстве. Впрочем, я ни на что не жалуюсь. **(25 августа 1996 г.).**

У меня начался новый год в Народном университете. 2 группы по 15 чел., но приходится создавать ещё и подгруппы – на общественных началах, поскольку «курсанты» сильно отличаются друг от друга по уровню знаний, общей культуры и т.д. Задача нелёгкая и заведомо неблагодарная – с каждой группой я занимаюсь только 1 раз в неделю, и большинство «курсантов» дома ничего не делает. Но есть среди них люди очень милые и интересные. **(17-20 октября 1993 г.).**

У меня снова начался учебный год в Народном университете, но на этот раз очень хаотично. Курс начинающих вообще, наверно, не состоится – недотягивает по числу слушателей (сейчас здесь люди на всём экономят). Это бы ничего, раньше буду возвращаться домой вечером, но это же означает, что заработка не будет. Но работать буду, доколе будут желающие изучать русский язык. **(16 октября 1994 г.).**

Здесь люди, как правило, тоже очень много работают, и всё же здесь всё по-другому. А быт устраивается так идеально (всё сверкает и блестит, нигде ни пылинки, всюду цветы!), что уже нет времени на жизнь – в нашем понимании – нет времени на общение, да и потребность в нём давно утрачена, и друзей, как правило, тоже нет, зато в доме много разных машин и приборов. А т.к. человек совсем без общения всё же не может, то общаются *организованно* – праздники, карнавалы, базары... В крайнем случае записываются в какой-нибудь языковый курс, не столько, чтобы учиться, сколько, чтобы общаться хоть с кем-нибудь. У меня таких полгруппы, все очень милые люди, и непонятно, почему они не могут общаться с кем-то без посредников. Впрочем, в моём поле

---

<sup>175</sup> Это о неудавшейся попытке поступить в аспирантуру. В.Ф.

зрения в основном старшее и среднее поколение – дай Бог, у молодёжи всё иначе. Впрочем – вряд ли. (3 апреля 1997 г.).

Строго замечу тебе (на правах старшей сестры!), что мать семейства обычно не **раскачивается**, а просто **не успевает** делать профессиональное, потому что нужно покупать продукты, готовить, мыть посуду, стирать, гладить, убирать etc. Хорошо знаю это по себе. Рвёшься к работе, но... Казалось бы, у меня небольшая нагрузка – преподавание 2 раза в неделю, по 4 часа, в Народном университете плюс занятия (хоть и безгонорарные) с самыми способными и заинтересованными из «студентов». Ну, и, конечно, хозяйство. «Вы будете смеяться» (как говорится в известном еврейском анекдоте), но времени нет никогда. (23 апреля 1997 г.).

Моя профессиональная жизнь позади, хотя работать могу. Преподаю русский язык с удовольствием, но моя стихия – другая. Впрочем, и за это надо благодарить судьбу – русский я люблю, и «студенты» мои очень милые. (6 июля 1998 г.).

У меня 6 сентября начинается новый учебный год. Надюха побывала у директора Народного университета – он тоже предлагал ей немецкий курс – и он впервые озабоченно осведомился: «А сколько же вашей маме лет?». Его можно понять. Но Надюха заверила его, что мгновенно заменит меня, если что... Если бы ещё она готовилась к этому. Мы-то со Светочкой<sup>176</sup> знаем, что «этот русский язык очень трудный». (21 августа 1999 г.).

В Германии... идут увольнения, прежде всего, увольняют тех, кому за пятьдесят. Все знают, что из *системы* будет уволено 35 тысяч человек.

У меня сейчас два курса русского языка. Говорят, я самая старшая «трудящаяся» Фульды. Если уж пятидесятилетних выставляют за порог... (5 октября 1999 г.).

Светочка, а чему ты учишь своих учеников в плане литературы? Если появились на книжном рынке какие-нибудь новые русские рассказы (только без секс-оргий, убийств и фекалий!), пришли, пожалуйста. Возможно, в следующем семестре я снова сделаю несколько лекций по русской литературе. Очень рассчитываю на твои, Светочка, новые пособия и т.п. Лекции могут не состояться, ассигнования сокращаются (глупые, я бы им и так прочитала, но порядок, особенно немецкий, есть порядок). (5 октября 1999 г.).

Светочке спасибо за двухтомник. Нет ли ещё **новой** истории русской литературы от Адама до наших дней? У меня есть только старая, 4-х-томная, под редакцией тёти Иезуитовой. По-моему, комментарии излишни. А ещё мне хотелось бы получить **новое** «Введение в языкознание». Когда я училась, главенствовал академик Марр, а потом мы сдавали «Сталинское учение о языке». До трудов академика Виноградова я самостоятельно так и не добралась, что, конечно, плохо, но при двух детях я ещё и работала. Хотелось бы хоть на старости лет прочитать современный серьёзный учебник по этому курсу.

Меня также интересуют любые современные новеллы (только, конечно, хорошие).

Я по-прежнему преподаю русский язык в Народном университете. Но сокращаются ассигнования, его хотят слить с другим, таким же. Наверно,

---

<sup>176</sup> Моя дочь Светлана после окончания аспирантуры несколько лет преподавала русский язык и литературу в Физтехлицее. В.Ф.

будут сокращать курсы и преподавателей, особенно старых. Но, как говаривали в старину, «лишь бы не было войны» и чтоб здоровы были наши дети. А там посмотрим. **(24 ноября 1999 г.)**

Моя любимая работа для меня потеряна, а почти десятилетнее преподавание русского, тоже уже ставшее любимым, несмотря на примитивность условий, скоро – на этот раз уже точно – подойдёт к концу. Конечно, я об этом жалею и буду, наверно, жалеть ещё больше, но трагедии делать из этого не стану. Есть ещё идеи – были бы силы... **(17 апреля 2000 г.)**

Я рада, что пока работаю. Да и оттого ещё приятно, что слушатели у меня очень славные и интересуются Россией. Многие помогают жителям Сергиева Посада (это «наш» город-побратим). **(28 мая 2001 г.)**

У меня две группы – продолжающих и продвинутых. Обе – хорошие. В начале января я приглашу желающих к себе домой. Будут 2 темы: «Пушкин» и «Лермонтов». **(19 декабря 2000 г.)**

Очень хотелось бы также получить книгу (или брошюру) о Сахарове. 31-го у меня дома будем говорить о нём в связи с его недавним юбилеем. Приедут мои самые лучшие «студенты». На время летних каникул запланированы также беседы о Достоевском, Чехове, Замiatине и т.д. Меня моё скромное «культуртрегерство» очень занимает. **(30 мая 2001 г.)**

Я завтра возобновляю домашние литературные «чтения». Говорили мы о Сахарове, Солженицыне, о трёх поэтах-песенниках – Галиче, Окуджаве и Высоцком, о Чехове... Вот рассказ о Чехове я завтра повторю – кто-то уезжал в отпуск, а кто-то не прочь послушать и второй раз.

Самая старшая «студентка» старше меня, а две самые младшие – сверстницы Ленки<sup>177</sup>. Все они не только интересуются «чтениями», но и оживлённо общаются друг с другом, что здесь вообще-то случается не так часто. Но «чтения» – вне рамок обычного курса, а буду ли я и дальше вести обычный курс, я не знаю. Мне, конечно, будет жалко потерять мою скромную работу, но в моём возрасте уже пристало терпеливо относиться к подобного рода потерям.

В сентябре исполнилось бы 10 лет с тех пор, как я начала здесь преподавать русский язык. Мой дорогой, любимый русский язык... Как его коверкают в русских газетах, в передачах русского радио, – ещё больше, чем до перестройки. Слава Богу, хоть реформы правописания не будет. **(14 августа 2001 г.)**

Радио «Голос России» теперь говорит «более точнее» и ещё «переговоры с американским коллегой», а также «Пекин настаивает на извинении Соединёнными Штатами вторжения в воздушное пространство Китая»...

Вы, может, скажете: «Подумаешь, открытие! Чего она ко всему этому прицепилась?». Наверно, это связано с моей нынешней работой – преподаванием русского языка. Очень мне его жалко – этот прекрасный язык. **(31 октября 2001 г.)**

---

<sup>177</sup> Лена Мильман – внучка Тархановой, дочь Нади, 1977 г.р. В.Ф.



Хочу показать тебе дом, в котором я работаю. Само здание, по-моему, прелестное. Народный университет был в разных местах, а теперь помещается в здании Канцлерского дворца в стиле барокко, построенном в 1735-м году. Крестиком показано наше окно. (12 июня 2002 г.).

Дорогой Витюша, какое замечательное письмо ты мне прислал, не только по содержанию, но и по форме. Хороший стиль я особенно ценю. Во-первых, это (была!) моя профессия, а во-вторых, мы ужасно теперь говорим. Только что Оля сообщила мне по телефону: «Мне сегодня на работе стало очень нехорошо, я с трудом добралась до врача и *кранкирайбалась* на ближайшие три дня». *Sich krankschreiben lassen* = получить бюллетень. Мы обе расхохотались, и Оля вспомнила, как она трёхлетним ребёнком в Берлине (ведь тогда немецкий был для неё родным языком, а русский – иностранным, поскольку я все дни, кроме воскресенья, работала, и Оля всё время проводила с немецкой няней и играла с немецкими детьми) однажды важно заявила: «Мама, а Оля *хингегангала* в ту *циму*» (это она пробралась в мой маленький рабочий кабинет) (*ist hingegangen ins andere Zimmer*).



Софья Тарханова с дочерью Ольгой Мамонтовой

Преподавать в Народном университете вскоре будет не обязательно. Найден новый способ просвещения народа! Поскольку вы... наверняка ни о чём не подозреваете, спешу познакомить вас с последними плодами западной культуры (см. конверт). (В конверте листки **туалетной** бумаги, на которых



напечатаны различные изречения. Например: «Glücklich sein kann jeder – denn dazu braucht man nur den Kopf». (Каждый может быть счастлив – для этого нужна только голова.). И Сониная стрелка к «голове» с подписью: А вы что подумали? В.Ф.). Ни Песталоцци, ни Монтессори, ни Ян Амос Коменский, не говоря уже об Ушинском, небось, о таких методах не догадывались. (31 августа 2002 г.).



Домашняя лекция об Иване Бунине. 27 июля 2002 г.



После лекции о Бунине. 27 июля 2002 г.

Я с моими лучшими «студентками». Слева от меня Ута Ивановна, самый популярный в Фульде ветеринарный врач. Справа – Ханнелора, очень славный человек, уроженка Кёнигсберга, выдворенная оттуда в младенческом возрасте вместе с мамой и сестрой. Справа от неё – учительница музыки Криста, самая лучшая *русистка* из всех.

Я... работаю, хоть и не за плату, а по дружбе: приходят ко мне учиться русскому языку наши давние друзья, и я радуюсь и их приходу, и их успехам. Есть ещё одна достойная особа из моей прежней группы *продвинутых*, учительница музыки. Она прекрасно занимается сама, читает рассказы Чехова, правда, с параллельным переводом на немецкий. Ходить ей без меня некуда: в Народном университете нет после моего ухода группы *продвинутых*, впрочем, и *непродвинутых* тоже. То ли люди потеряли интерес к русскому языку, то ли просто экономят на всём, что только можно. Всё вздорожало после введения евро. (20 марта 2004 г.).





На Пасху местный телевизионный журнал разослал своим читателям такие вот наклейки. Это всё картинки из «Заячьей школы» – моей первой немецкой книжки, которую подарили мне тогда в Берлине не то в 1926-м, не то в 1927-м году. Помнится, я её очень любила. Пахнуло детством.

Была потом ещё книжка про черничного дедку и брусничную бабушку. Их я тоже очень любила.

Здесь красят яйца (как и в России), но потом прячут их в саду, а то и в доме, и уверяют детей, будто яйца принёс... пасхальный заяц. Не знаю, верят ли этому дети, но яйца все ищут дружно и весело и радуются, когда находят.

(25 марта 2002 г.)

Несмотря на буйные торжества по случаю 12-летия воссоединения, даже державшие речи знаменитости (их здесь называют «проминенты») не скрывали, что западные и восточные немцы всё ещё не слились в единую гомогенную массу. Остались различия не только в жизненном уровне (это главное), но и во взглядах. Анекдот, услышанный мною по радио: бывшие гедезровцы говорят: «Что наши правители плели нам про социализм – то всё брехня, а вот что они говорили про капитализм – то всё правда!». (5 октября 2002 г.).

Конечно, мой заработок в Народном университете, в сущности, не заслуживает этого названия, но и его скоро не будет: я решила, что летом уйду совсем. Причин на то несколько, и самая последняя из них – возраст. Хотя работать в моём возрасте здесь считается крайне неприличным. Но неделю назад ко мне ещё приехали мои дорогие «продвинутые студенты», и я беседовала с ними о Шукшине. Теперь многие из них ищут его книги в немецком переводе. Даже из Баварии одна «студентка» приехала по гололёду. Я была очень тронута. (14 января 2003 г.).



Маша с бабушкой на прогулке. Рисунок В. Островского, 1971-72 гг.

«Витюша, включи этот рисунок в мои «Воспоминания о воспоминаниях». Я его всегда ношу с собой. Здесь мы с Машкой сцеплены навечно. И так мы будем долго-долго брести вдвоём». Мои ученицы как-то увидели у меня этот рисунок Вальки – умилились и размножили его. (12 июня 2002 г.).



Милая Цилечка! Помнишь, мой золотистый Мишка перешёл по наследству к тебе? Где он теперь, мой дорогой? Правда, он был лучше этого – на фотографии?

А этого купила в Германии богатая американка Барбара Болдуин на аукционе, посвящённом столетнему юбилею фирмы – создательницы этих мишек, за 156200 евро.

Первого мишку сшила забавы ради прикованная к своему креслу парализованная старуха. Талантливая была бабушка. А уж её сын, увидев, как всем нравится мамино творенье, сделал из этого бизнес.

Поищи на полатах, может, найдёшь мишку? Но всё равно мы его за 156 тысяч евро не отдадим. Правда? (5 октября 2002 г.).

## «Медиана»

«Все выше, и выше, и выше  
Стремим мы полёт наших птиц...»

Была такая советская песня<sup>178</sup>.

И вот мы, две 87-летние птицы, мой дорогой супруг – Валентин Александрович и я, в ноябре нынешнего 2010-го года, поселились на третьем этаже здешнего фульдянского Дома для престарелых под названием «Медиана»<sup>179</sup>...

«Медиана», конечно, не «дом» в буквальном смысле этого слова. «Медиана» – это целый комплекс, целый городок с весьма оригинальной архитектурой.

Здесь очень красиво: с третьего этажа открывается умопомрачающий вид. Сейчас земля, газоны, клумбы – всё покрыто густым слоем снега. Пейзаж под снегом живописен. Но снег тает, дороги скользкие, и мы в тревоге: как там разъезжает Надёнок на своей синей машине, каково Кристине день-деньской бороздить окрестность на красном служебном авто...

А в самой «Медиане» всё чрезвычайно комфортно, можно сказать – некий гериатрический рай...

Первый странный сон в новой обители:

Мы шагаем вдвоём с Мохнатом по мосту без перил, и, оступившись, я скатываюсь вниз по склону всё вниз и вниз. Но склон – мягкий, и мне не больно: никаких ушибов и травм. Вскочив на ноги, я думаю об одном: как там Мох? Ведь он, наверно, очень беспокоится за меня. Надо скорей известить его, что я жива-здорова. Вскарабкаться вверх по склону невозможно. Видна одна узкая тропинка, ведущая в гору. И я иду по ней быстрым шагом, видна уже вершина холма. Там посёлок.

В этом посёлке живут наши друзья – Венеры, Эрвин и Урсула. Можно было бы от них позвонить кому-нибудь, чтобы разыскать Моха и известить его, что I am allright. («что я в порядке»).

Но пока доберёшься до вершины холма, пройдёт много времени, и всё это время он будет тревожиться обо мне... И я выбираю другую узкую тропинку, ведущую вниз... в Москву: наверно можно будет позвонить кому-нибудь из знакомых из любого автомата. Тут ко мне присоединяется женщина в коричневом плаще. Я не вижу её лица, не знаю её имени. Но моя новая спутница, женщина без лица, без имени и без возраста, – друг, безотказно верный и заботливый друг.

Я вбегаю в Москву, моя новая спутница не отстаёт от меня ни на шаг. Ищу телефон-автомат, но тщетно. Мне объясняют прохожие: в Москве давно убрали все телефонные автоматы, там-де обычно располагались на ночлег бомжи, а некоторые из них даже справляли там нужду.

---

<sup>178</sup> Всё выше, выше и выше/ Стремим мы полёт наших птиц,/ И в каждом пропеллере дышит / Спокойствие наших границ. «Марш авиаторов» (музыка Ю.А. Хайта, слова П.Д. Германа, 1923 г.) являлся официальным гимном Военно-воздушных сил СССР. Перед войной и после неё его знал, наверно, каждый житель страны. В.Ф.

<sup>179</sup> Несмотря на энергичные возражения дочери Нади, которая ухаживала за матерью и отчимом. Поступок вполне гутмановский: жить так, чтобы не быть в тягость родным. В.Ф.

Зато в ночной Москве открыты все магазины. Забегаю в первый с краю, прошу разрешения позвонить знакомым по телефону, объясняю ситуацию. Мне в резкой форме отказывают. «Я заплачу, – говорю я, – сколько скажете, столько и заплачу».

Но все мольбы тщетны. Отказ.

Мы заходили в пошивочные ателье, в какую-то бухгалтерию, в фойе кинотеатра. Моя спутница в коричневом плаще тоже энергично поддерживает меня, изо всех сил старается убедить продавцов, бухгалтеров, портных разрешить мне этот спасительный звонок. Тщетно. Везде категорические отказы.

Хочу приехать куда-нибудь на трамвае. Но и трамваев в Москве давно нет. Вбегаю в метро (то ли «Сокол», то ли «Смоленская»). О, и метро тоже не работает, и автоматов здесь тоже нет.

Рядом аптека, врываюсь в аптеку, говорю: «Помогите, мне плохо... Разрешите позвонить мужу!».

Категорический отказ.

В отчаянии я просыпаюсь...

Значит, это был сон?

Счастье!

Однако моя милая спутница в коричневом плаще каким-то образом перелетела из этого сна в реальность. Я всё время ощущаю её присутствие, даже вижу её.

Загадочное явление<sup>180</sup>.



Будущий «многомиллионный» читатель этих моих заметок, конечно, удивится, но здесь течёт изо дня в день очень интересная жизнь. Вале вспомнилась в этой связи «Волшебная гора» Томаса Манна. У меня же остались лишь смутные воспоминания об этой книге.

Кристина сразу же притащила мне свой собственный экземпляр «Волшебной горы» на немецком языке («Zauberberg»). Я начала было читать: Ганс Касторп, её герой, только что прибыл в Давос.... Но дальше ничего прочитать не смогла – очень уж плохо вижу.

Читать особенно некогда. Нас всё время приглашают к столу – на завтрак, обед, полдник и ужин. Как в детском саду ЦК КПСС.

В последнее время мне удавалось прогуливать полдник. В конце концов, сколько может съесть маленькая старушка, какой я стала? Нанялась я им, что ли?

Все эти кормления имеют место в огромном, празднично убранном зале со стеклянными стенами (светло!). И стол, за которым рассаживаются человек двенадцать старушек, тоже огромный и тоже очень красиво убран. Тут же сидят сотрудницы «Медианы». Они помогают старушкам есть, некоторых просто кормят с ложечки. Разговаривают с ними очень ласково, терпеливо, уговаривают съесть ещё кусочек, ну ещё один...

Сами сотрудницы «Медианы» тоже завтракают, обедают, полдничают и ужинают вместе со всеми старушками. Они разговаривают друг с другом о своих делах, прерываясь сплошь и рядом на полуслове, чтобы активизировать ту или иную старушку, переставшую поглощать пищу.

---

<sup>180</sup> Согласно Карлу Густаву Юнгу (швейцарский психолог, основоположник аналитической психологии), сновидение является «прямой манифестацией бессознательного». Что же я увидел во сне Сони? Постоянную тревогу за мужа. Ощущение неустойчивости своей жизни как результат переезда в интернат. Добрую поддержку окружающих. Ностальгию. Опасение, что без неё Москва изменяется в худшую сторону. В.Ф.

Особенно часто подстёгивают они старушку, которую зовут... Frau Rosalia Gutmann. Так звали мою бабушку, мамину маму – Розалия Иосифовна Гутман, жену моего замечательного деда – доктора Гутмана.

Здесьняя Rosa, как её часто называют, представляется мне реинкарнацией моей бабушки. Я не знаю, сколько ей лет. Часто навещает Розу её сын, симпатичный интеллигентный еврей лет шестидесяти. Я сказала ему, что моя бабушка и т.д. – он нисколько не удивился.

– Да, – сказал он, – евреи шли и шли, переселялись из Германии на восток: на Украину, в Белоруссию, в Россию.

Маму его очень жалко. Ходит она хорошо, но часто падает. Всё лицо у неё в синяках и кровоподтёках.

Есть ещё другая старушка – маленькая, худенькая, очень симпатичная. Она беспрерывно что-то рассказывает, но из-за моей тугоухости я не могу расслышать, что она говорит. Мы с Мохнатом называем её «Сказительница».

Одна из сотрудниц «Медианы», красивая русско-казахская медсестра Инночка, объяснила мне, что всё это действо – совместные завтраки, обеды и т.п., – называются здесь «therapeutisches Essen» (т.е. «терапевтическая еда»). Значит, не просто кормят, кормят психотерапевтически. Во как!

Ох, на часах уже половина шестого! Пора на терапевтический ужин! Его не прогуляешь!



Прошло Рождество, которое здесь отмечают 24-го декабря, прошли рождественские дни 25-го и 26-го декабря.

Накануне приезжала Ленка и увезла свою маму в Гамбург. Мы за Надёнка очень рады. Как справедливо заметила Оля: «Она там отдохнёт душой». Она вместе с Ленкой и Олафом гуляла по городу, посетила выставку Шагала. Рождество все праздновали тоже вместе – у сватьи Урзель, матери Олафа.

Завтра, 27-го декабря, Надёнок должна вернуться, если конечно, будут нормально ходить поезда: почти беспрерывный снегопад, морозы, обледенение техники блокирует не только авиасообщение, но подчас и наземный транспорт.

Сотрудники «Медианы» во время терапевтических кормлений также беспрерывно жалуются на холод и скользкие дороги, но им всё же легче: ехать нужно лишь на работу и с работы домой.

Кстати, среди них довольно много русскоязычных: кроме Инночки, к примеру, Антон – в прошлом ветеринарный врач из Новосибирска, Владимир<sup>181</sup>, родом с Украины. Не знаю, какая профессия у него была там. Сам он русский, великолепный знаток литературы, не только русской, но и общеевропейской. «Самый гениальный поэт – Пастернак, – сказал он. – Кстати, его перевод «Фауста» лучше того, что написал сам Гёте».

Я робко проговорила, что очень люблю ещё и Цветаеву.

– Дело вкуса, – сухо отрезал он.

Все эти наши литературные диспуты происходили ночью, когда он нёс контрольное дежурство: обходил комнаты обитателей «Медианы».

С Мохнатом они тоже подружились. Выяснилось, вдобавок, что он еще и юдофил: интересуется иудаизмом, еврейской культурой и даже обрезанием.



<sup>181</sup> Когда скончалась Соня, я позвонил в её комнату. Откликнулся мужской голос, который на безупречном русском сообщил: «Здесь фрау Фишер, сейчас я её позову». Видимо, я разговаривал с одним из них. Валентин разговаривать со мной не смог. В.Ф.



Близится Новый год. Приближается семимильными шагами.

Читать я по-прежнему не успеваю. Даже при том, что прогуливаю терапевтический полдник. На то, кроме слишком частых кормлений, есть ещё одна причина: спать хочется...

«Спать хочется» – так называется один из самых пронзительных, страшных рассказов Чехова.

А нам никто, тем более ничьё невинное дитя не мешает спать. Мохнат огорчается: «Почему мы всё время спим?».

Неточное определение. По ночам, когда, казалось бы, спать можно на законном основании, мы не спим или спим очень мало. У меня вообще дырявый сон. Зато днём, между кормлениями, спать хочется мучительно.

Одна из самых квалифицированных, толковых, умных здешних медсестёр – маленькая, крепкая Хельга. Кажется, ей лет пятьдесят с чем-то. Вообще-то, она скульптор по дереву. Я её спросила: зачем она подалась в наш гериатрический рай?

Она улыбнулась:

– Скульптурой семью не прокормишь.

Интересно, давно ли она сменила профессию... Впрочем, может быть, она на досуге по-прежнему создает деревянные скульптурки? Как жаль, что я не смогу увидеть её работ.

Сабина. Высокая, ростом вдвое больше Хельги, крупная, полная женщина с красивой причёской и приятным лицом. Она здесь на правах уборщицы. Хотя тоже, на равных правах с медсёстрами, участвует в терапевтических пирах... Она рассказала мне, что у неё двое детей в подростковом возрасте. Профессии мужа я не знаю. Она говорила, что он очень много работает. И всё равно на жизнь денег не хватает. День за днём Сабина встаёт на рассвете и разносит по домам газеты, перед тем, как отправиться в «Медиану» – убирать апартаменты обитателей гериатрического рая. Чтобы прокормить семью...

Так что не очень сладкая жизнь у сотрудников «Медианы» Не та нынче *dolce vita* (сладкая жизнь, безделье – итал.).

Хотя получить работу в «Медиане» считается здесь большой удачей. Непомерно толстая, симпатичная «ночная» сестра Ута сказала, что молила об этом Господа Бога, и он-де исполнил её просьбу – её приняли в штат «Медианы». С тех пор, сказала она, она прочнее уверовала в Создателя.

Аннабел (Annabel) – это она «умывальников начальник, всех мочалок командир». Т.е., если всерьёз, она начальница всех сотрудников... Не знаю лишь, всех ли сотрудников всей «Медианы» или только нашего отсека под названием «Biberstein» («Бобровый камень» в переводе). «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник» (Пушкин<sup>182</sup>)...

У Пушкина только воротник – бобровый. А тут целый камень.

Аннабел – 32-летняя, небольшого роста, хрупкого телосложения персона: начинена, однако, потрясающей энергией, ходит быстрым шагом, так что, пожалуй, ни один бегун её не догонит, – всё видит, всё замечает, спокойно, с неизменной улыбкой, отдаёт необходимые распоряжения. Так же спокойно, с той же доброй улыбкой, кормит старушек, уже не понимающих, что кормиться надо. У неё высшее образование, «Masters», кажется, так называется это международно признанное звание.

Она вполне привлекательная молодая женщина, хотя близорукий Мохнат, строгий ценитель женской красоты, её привлекательности не разглядел. Я тоже слабовидящая, но всё же разглядела.

---

<sup>182</sup> «Евгений Онегин». В.Ф.

Разглядел её явно и симпатичный испанец, её Freund (друг), к которому она ушла от мужа вместе с пятилетним сыном Феликсом.

Сегодня, 29-го декабря, испанец и Феликс должны были прийти в «Медиану», и Аннабел хотела нам их показать. «Meine Maenner kommen heute» («Мои мужчины сегодня придут»), – с гордостью объявила она. Визит, однако, она отклонила: “Zu kalt” («Слишком холодно»), – объяснила она.

Мохнат уже видел испанца несколько дней назад и разговаривал с ним по-испански.

А девичья фамилия Аннабел – Неупе. Да, да, как Генрих Гейне. Всё ясно?

Вечернее терапевтическое кормление протекало, несмотря на усилия персонала, в гнетущей атмосфере: бедную Розалию Гутман, то бишь, реинкарнацию моей бабушки, увезли в больницу (впрочем, м.б., она и улетела: тяжело больных обычно доставляет в больницу вертолёт, у которого есть имя – Кристоф). Сказали, что она снова упала и сильно расшибла лоб. Кроме того, в больнице будут оперировать опухоль на её ноге. Непонятно, почему опухоль обнаружили только сейчас и зачем оперировать человека в таком преклонном возрасте.

Бедная «реинкарнация»...

Впрочем, возможно, только мы с Мохнатом ощутили эту гнетущую атмосферу.

Реинкарнация моей бабушки, т.е. Frau Rosalia Gutmann, вернулась, слава Богу, из больницы на другой день. Ей только заклеили ранку на лбу, а ногу не оперировали, а лишь пунктировали опухоль. Как я понимаю, этот вариант лучше – легче для пациента.

Она опять сидит за столом в своем странном кресле (Rollstuhl – инвалидное кресло), и её опять уговаривают: “Iss doch, Rosa, Iss!” («Ну, Роза, ешь, кушай же!»).



5 января 2011 года.

Кажется, я научилась прогуливать не только терапевтический полдник, но и сеансы моего собственного терапевтического (добровольного) сочинительства. Сколько времени не писала...

Сейчас 4 часа дня. Я по обыкновению прогуляла терапевтический полдник. В отсутствие Мохната, аккуратно являющегося в столовую (как в пионерском лагере на линейку!), я благополучно задремала, и мне приснился короткий, но странный сон.

Наш дом на Аэропортовской. Напротив нашей квартиры (на первом этаже) – возникло кафе, и я сижу в нём за столиком и уплетаю пирожное.

Кафе расположено на газоне, там, где летом видны клумбы (а сейчас – в моём сне, значит, лето).

Я спрашиваю: как же это удалось устроить здесь кафе?

Мне объяснили: пришлось для этого ликвидировать (осушить)... уборную.

– Какую уборную? – недоумеваю я. – А ту, что была в подвальном этаже, где располагалось домоуправление и клубный зал со столом, покрытым красной скатертью и жёлтым латунным Лениным (т.е. его бюстом) на нём.

Странный сон... М.б., товарищ Фрейд мог бы его истолковать? Мне это не под силу<sup>183</sup>.

---

<sup>183</sup> Не знаю, как по Фрейду, но мне видится всё та же ностальгия и то же опасение: как там моя Москва без меня? В.Ф.

Маленькая «сказительница» с милым мягким лицом беспрерывно твердит своё грустное сказание: “Opa, mein Opa... Seine Kleider sind drecky, und ich habe keine Seife und kein Geld, um welche zu kaufen...” («Старик, мой старик... Его одежда грязная, а у меня нет мыла и нет денег, чтобы всё это купить...») – всё одна и та же жалобная песнь.

Она часто вскакивает со стула и быстро-быстро убегает, бежит взад и вперёд по коридорам, бежит быстро-быстро без всякого роллатора<sup>184</sup>, – маленькая, лёгкая, как перышко.

Персонал относится к этому совершенно спокойно, но всё же минут через 5-10 её обычно ловят и вновь усаживают за стол. А она вскоре снова убегает. Это она, встретив Мохната в коридоре, сказала ему: “Du bist schoen!” («А ты красив!»). Согласна. У «сказительницы» хороший вкус.

Я рассказала об этом одной симпатичной медсестре. Та очень удивилась:

– Как странно... Фрау Вагнер вообще терпеть не может мужчин, встретив в коридоре нашего Hausmeister господина Фогта, к примеру, или любого другого, обычно вдруг утрачивает свою кротость и начинает браниться!

Тем больше должен Мохнат гордиться.

Сейчас поздно. Мохнат говорит, что ночную вахту несёт Владимир – тот самый тонкий знаток русской литературы и филосемит. Но уже два часа ночи. Если он зайдёт проверить, не свалилась ли я с кровати, как положено ночным дежурным, я уже не смогу поддержать на должном уровне интересный разговор.

Спать хочется...



19 января 2011 года.

5-го января исполнилось 75 лет нашей дорогой Урсуле Венер. 8-го января к ней были приглашены Надёнок и Ленка с Олафом. Втроём они сначала на пять минут заехали к нам взять мохнатский Gemaelde («картину», как когда-то назвала его произведения Урсула) и моё (боюсь, на сей раз весьма слабое) стихотворное поздравление.

Олаф подошёл к окну (возле стеклянной стены) и сказал:

– Nein, so etwas haben wir leider in Hamburg nicht... («Увы, такого вида у нас в Гамбурге нет»).

Наверно он думал о своей почти незрячей маме. Все трое – Надёнок, Ленка и Олаф – были очень элегантные и красивые, и мне очень понравились...



Вчера мне, кажется, удалось уберечь «реинкарнацию» от очередного падения. Она неожиданно вырвалась из своего инвалидного кресла, где её обычно блокируют осторожности ради, – вырвалась и пошла. Я подбежала к ней и не дала ей шагать дальше. Она посмотрела на меня сердито. Но я позвала Хельгу, и та быстро расправилась с нашей скульптурной группой.

Пришёл Мохнат. Скоро терапевтический обед.

На веранде рядом со столовой живёт в клетке очаровательный (не игрушечный) кролик. Медсестра Барбара принесла его Мохнату, и Мох долго-долго ласково его гладил. Кролик поначалу испугался, но потом затих и явно был доволен общением с Мохнатом. Как некогда незабвенный Осенька<sup>185</sup>. Очень терапевтический кролик. Кстати, его зовут Rude (Руде), как нашего знаменитого адвоката Карраса.

<sup>184</sup> Роллатор – ходунки для инвалидов и пожилых. В.Ф.

<sup>185</sup> **Осенька** – котёнок, который в Москве был у Оли. В.Ф.

### Маленькое послесловие

Это были последние строки, которые успела написать Софья Аркадьевна Тарханова. 5 апреля 2013 года после тяжёлой болезни её не стало. До своего 90-летия она не дожила всего 2.5 месяца. Валентин Александрович Островский пережил её всего на 4 дня. Что ему было делать на Земле без любимой жены?

Не хочется заканчивать книгу на грустной ноте.

Выходят ещё книги с переводами Тархановой – это памятник ей на века. Дети читают «Волшебный мелок» – пусть даже они и не знают, кто это написал, кто перевёл, но это Островский и Тарханова посылают им свой привет.



СПб: Издательство Речь, 2015.

Перевод В. Островского и С. Тархановой

Александр Ширвиндт и Вера Васильева продолжают играть «Орнифль» – это салют Софье Тархановой.

Пусть и эта книга станет скромным памятником замечательному человеку. Она прожила яркую жизнь. Она продолжает жить в своих переводах. В своих воспоминаниях. В своих потомках. В сердцах тех, кто её знал. И в читателях, кто её читает.

**Виктор Файн**

## Содержание

|   |     |
|---|-----|
| Виктор Файн. Яркая жизнь замечательного человека.....       | 3   |
| Мэри Карловна.....  | 8   |
| Спасительница.....  | 8   |
| Она отучила меня ныть.....                                  | 11  |
| Весёлое детство.....  | 13  |
| Париж.....  | 16  |
| Уроки музыки.....   | 20  |
| Танцевальные радости и огорчения.....                       | 22  |
| «Ты даже не понимаешь, как тебе хорошо живётся».....        | 24  |
| О детских эмоциях и любовных письмах Марины Цветаевой....   | 28  |
| Пляж на Лазурном Берегу.....                                | 31  |
| Возвращение в СССР.....                                     | 34  |
| Послесловие.....  | 35  |
| Рассказы о родственниках.....                               | 37  |
| О Моисее Ефимовиче Гутмане.....                             | 37  |
| О дяде Абраше, тёте Жене, дяде Соломоне и других.....       | 42  |
| Зиночка.....  | 46  |
| О Розочке Берман.....                                       | 58  |
| О тёте Лине Сабсович, Жене Левинсон и некоторых других..... | 67  |
| О моём отце Аркадии Семёновиче Тарханове.....               | 74  |
| От Симона Ёсельсона до Аркадия Тарханова.....               | 74  |
| Туберкулёз как плата за героизм.....                        | 79  |
| Советский торгпред.....                                     | 86  |
| В Москве.....   | 88  |
| О чём мне напомнила папина открытка.....                    | 93  |
| Врачебная ошибка.....                                       | 94  |
| Пути, ведущие в ГУЛАГ.....                                  | 98  |
| В Норвегии.....   | 100 |
| «Спасибо курице».....                                       | 103 |
| Война.....  | 110 |
| Прощание.....   | 114 |
| Послесловие.....  | 119 |
| Записки младшего лейтенанта.....                            | 120 |
| Архивариус.....   | 120 |
| Калининский фронт.....                                      | 121 |
| «Узорчатая ограда».....                                     | 126 |
| Пропаганда.....   | 128 |
| Рупористы.....  | 131 |
| Донос.....  | 134 |
| Лицом к лицу с фашистом.....                                | 135 |
| Судьба оберлейтенанта фон Цулега.....                       | 137 |
| Мы учились в одной школе.....                               | 138 |
| Володя Шейнцвит.....  | 140 |
| Через минное поле.....                                      | 144 |
| За наступающими войсками.....                               | 145 |
| Как меня пытались учить технике перевода.....               | 147 |
| Капитан Руднев.....   | 150 |
| Майор Шлоссер.....  | 151 |
| Пленные немецкие мальчишки.....                             | 157 |
| Листовки и карты.....                                       | 158 |
| Несостоявшийся адъютант-переводчик генерала Бурцева.....    | 159 |
| Василий Мамонтов.....                                       | 161 |
| Ритуал пропагандистской передачи.....                       | 164 |
| О протоколах допросов и душевном разговоре о женщинах...    | 166 |
| Потери.....   | 169 |
| «Куриный семинар» Утевского.....                            | 171 |
| «Сионистские происки» Цехановского.....                     | 173 |



|  |     |
|--|-----|
| Демобилизация.....   | 174 |
| О моём вкладе в «незамутнённый» праздник Победы.....         | 176 |
| Об Иосифе и Хане Брагинских.....                             | 179 |
| Полковник извинился перед девчонкой.....                     | 179 |
| Немецкий отдел.....  | 180 |
| Прямолинейность и жестокость молодости.....                  | 184 |
| В доме на Садово-Кудринском.....                             | 185 |
| При трагических обстоятельствах.....                         | 187 |
| Я хотела вернуться на фронт.....                             | 188 |
| Дети.....  | 180 |
| Учёный-востоковед.....                                       | 191 |
| Рабочий кабинет в стенном шкафу.....                         | 193 |
| Ансамбль вёрстки и правки.....                               | 196 |
| Три «Ке».....  | 196 |
| «Демон».....   | 199 |
| «Открытие памятника идеальному герою».....                   | 201 |
| «В Союзе писателей».....                                     | 202 |
| «О, дорогая редколлегия».....                                | 203 |
| «Раскинулось море широко...».....                            | 204 |
| «Солдатушки, бравы ребятушки».....                           | 206 |
| «Экзамен в Литинституте».....                                | 207 |
| «Поездка в Ленинград».....                                   | 207 |
| О Валентине Островском.....                                  | 209 |
| Легенда о крокодиле.....                                     | 209 |
| «Психотропушка».....   | 210 |
| Моему дорогому мужу – Валентину Островскому.....             | 212 |
| О Лилиане Лунгиной.....                                      | 215 |
| Судьба.....  | 221 |
| Пропагандист России и русского языка и русской культуры..... | 227 |
| «Медиана».....   | 234 |
| Виктор Файн. Маленькое послесловие.....                      | 240 |



